This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

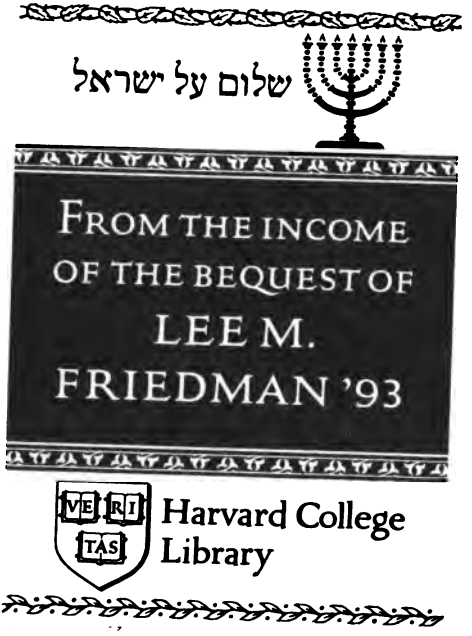
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4170.670 (1)



518

Первый

еврейскій сборникъ.

НОВЫЯ ВѢЯНІЯ.

ИЗДАНІЕ

С. СКИРМУНТА.

Δ
Slav 4170.670 (1)

Freidenberg, Fd.

Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К°. Пименов. ул., соб. домъ.

МОСКВА—1907.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Огромное русское освободительное движеніе объявлено лакеями стараго режима дѣломъ еврейскихъ рукъ. Власти и газетныя рептиліи разсчитываютъ этимъ путемъ дискредитировать движеніе въ темныхъ массахъ русскаго народа. Евреи де—враги Россіи, и если они требуютъ новыхъ порядковъ, то, слѣдовательно, это новое ничего, кромѣ вреда, русскому народу принести не можетъ. Напрасныя старанія!.. Революція приняла стихійный характеръ, и едва ли она прекратится раньше, чѣмъ въ пламени ея сожжена будетъ вся кривда стараго режима.

«Революцію въ Россіи совершаютъ евреи», такъ говорятъ антисемиты теперь. Но близко уже то время, когда они будутъ утверждать, что евреи въ русской революціи ни малѣйшаго участія не принимали.

Я не собираюсь полемизировать ни съ нынѣшними, ни съ будущими антисемитами; я отмѣчу лишь нѣкоторые безспорные факты. Покойный Плеве неоднократно утверждалъ, что евреи составляютъ 80—90% всѣхъ революціонеровъ въ Россіи. Никто не обязывается, конечно, довѣрять цифрамъ патріарха сословія сыщиковъ и гороховыхъ пальто, но что число евреевъ въ революціи (особенно во времена Плеве) было относительно очень велико, это едва ли можно оспаривать. Въ «Журналѣ министерства юстиціи» (апрѣль, 1906 г.)

приведены офиціальныя данныя по статистикѣ государственныхъ преступленій; по этимъ даннымъ евреи въ 1901—1903 гг. составляли 29,1% среди привлеченныхъ по политическимъ дѣламъ; въ особенности же высокъ % еврескъ,—ихъ было 45,8% среди привлеченныхъ женщинъ. Такъ какъ евреи составляютъ въ Россіи лишь 4% всего населенія, то необходимо, слѣдовательно, признать, что ихъ участіе въ самое трудное для революціи время было весьма значительно.

Я называю то время самымъ труднымъ не потому, чтобы Плеве болѣе жестоко расправлялся съ врагами самодержавія, чѣмъ Дурново и Столыпинъ. Ужасъ заключался въ томъ, что перспективъ тогда никакихъ не было. Дѣйствительность заставляла вѣрить во всемогущество урядника, царствію котораго не предвидѣлось конца. О соотношеніи силъ правительственныхъ и революціонныхъ нельзя было серьезно говорить, чтобы не казаться слишкомъ наивнымъ. Съ одной стороны—милліонная армія, богатая казна, стомилліонный народъ, такой вѣрующій, такой темный, такой надежный, а съ другой — маленькая кучка интеллигентовъ и рабочихъ, лишенная всякихъ матеріальныхъ средствъ. Какое ужъ тутъ соотношеніе силъ!

Примѣры Запада также не внушали увѣренности въ успѣхъ революціи. Когда французскіе граждане брали Бастилію, въ распоряженіи правительства не было еще ни телеграфовъ, ни телефоновъ, ни желѣзныхъ дорогъ, ни пулеметовъ, а главное—не было того огромнаго запаса опыта въ дѣлѣ борьбы съ собственными подданными, какимъ успѣло обезпечить себя русское правительство. Прогрессъ... цивилизація? Но гдѣ были гарантіи, что прогрессу не будетъ положенъ предѣлъ

что грубая сила не задушитъ нѣжнаго ростка свободы, что императорская Россія, развивъ огромныя матеріальныя силы, не подчинитъ весь цивилизованный міръ департаменту полиціи? И на Западѣ не мало вѣдь было элементовъ (и очень вліятельныхъ), съ завистью взиравшихъ на миръ и спокойствіе, которыми «наслаждалась» могущественная Россія.

Трудное было время, и требовалась несокрушимая вѣра въ человѣка, безпредѣльная любовь къ униженнымъ и оскорбленнымъ и пламенная ненависть къ насилію, чтобы не отчаиваться въ исходѣ этой неравной борьбы.

Среди этихъ героевъ вѣры, любви и ненависти было очень много евреевъ. Мы считаемъ необходимымъ указать на этотъ фактъ русскому обществу. О, конечно, не удовлетворенія ради мелкаго національнаго тщеславія! Слишкомъ велики наши страданія, чтобы находить утѣшеніе въ глупой похвальбѣ. Хотѣлось бы вѣрить, что революція освѣтитъ русскому обществу истинную физіономію еврея. Еврей всегда изображался такимъ трусливымъ, низкопоклоннымъ,—а революція ежедневно выдвигаетъ сотни дивныхъ героевъ изъ этой среды. Еврей—кто этого не знаетъ!—весь вѣкъ свой только вѣдь и помышляетъ о гешефтахъ и наживѣ. Но неужели заниматься революціей, да еще въ Россіи, да еще при Плеве,—такой выгодный гешефтъ?

Русскіе люди должны сказать себѣ: «мы не знали евреевъ».

* * *

Я не питаю горделивой надежды въ сухомъ публицистическомъ изложеніи раскрыть русскому обществу святая святыхъ еврейской души. Постараюсь только

дать отвѣтъ, хотя бы краткій, но опредѣленный, на интересующій многихъ русскихъ людей вопросъ, почему евреи принимаютъ такое усиленное участіе въ русскомъ освободительномъ движеніи.

Если вы хотите понять еврея, обратитесь прежде всего къ Библіи. Вы найдете тамъ между прочимъ слѣдующія слова:

«Горе вамъ, пріобрѣтающіе домъ къ дому, присоединяющіе поле къ полю, пока не будетъ мѣста другимъ, чтобы вамъ однимъ только жить на землѣ» (Исаія, V, 8). Я впервые задумался надъ этими словами тогда, когда голова моя была полна еще римскими юридическими формулами въ родѣ—jus strictum vigilantibus scriptum est («законы пишутся не для ротозѣевъ») или volenti non fit injuria («самъ изъявилъ согласіе, нечего, стало быть, жаловаться на обиду») и проч.

Я сопоставлялъ, сравнивалъ эти два противоположныхъ міросозерцанія, еврейское и римское, и формулы, которыя мой профессоръ называлъ желѣзными, въ которыхъ онъ видѣлъ проявленіе величайшаго практическаго генія, въ свѣтѣ исаіевскаго пламени показались мнѣ наглыми, разбойничьими. Человѣчество устроило свою жизнь на римскихъ началахъ. Вопли Исаіи патентованнымъ политико-экономамъ, созидателямъ трёстовъ, царямъ биржи и всѣмъ многочисленнымъ поклонникамъ золотого тельца представляются нелѣпыми, безумными. «Помилуйте,—восклицаютъ они,—развѣ не очевидно, что весь прогрессъ человѣческій только эгоизмомъ и питается; запретите прикупать «дома къ домамъ», «поля къ полямъ», уничтожьте стремленіе къ наживѣ—и конецъ прогрессу!..» Но какъ часто въ еврейской средѣ мнѣ слышатся и нынѣ отзвуки исаіевской проповѣди.

Теперь такихъ проповѣдниковъ называютъ соціалистами. Не знаю, расовая ли это черта у евреевъ или послѣдствіе трехтысячелѣтняго воспитанія на Библіи (и Библію-то вѣдь они создали!), но нигдѣ такой страстной, экзальтированной преданности идеѣ справедливости, широкой соціальной справедливости, какъ въ еврейской массѣ, не найти. Не случайно, конечно, именно еврейство выдвинуло творцовъ современнаго соціализма; не случайно и то, что евреи въ такомъ огромномъ относительно количествѣ участвуютъ въ соціалистическихъ партіяхъ вездѣ, гдѣ онѣ организуются.

Россія не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. Больше того. Русскіе евреи не только дѣятельно участвуютъ въ общерусскихъ соціалистическихъ организаціяхъ, но сумѣли создать свою еврейскую соціалъ-демократическую организацію (Бундъ), сыгравшую видную роль въ послѣднихъ событіяхъ.

Я думаю поэтому, что одной изъ причинъ еврейскаго увлеченія русской революціей слѣдуетъ признать еврейскую экзальтацію, экзальтацію идеей справедливости.

Другая отличительная особенность еврейской массы, о которой нельзя не упомянуть здѣсь,—это ея интеллектуальность. Первая религіозная обязанность еврея—дать своимъ дѣтямъ образованіе. Отцы синагоги видѣли въ просвѣщеніи средство укрѣпить свою паству въ знаніи и строгомъ выполненіи многочисленныхъ предписаній религіознаго закона (Торы). Они сдѣлали поэтому образованіе всеобщимъ и обязательнымъ за много вѣковъ раньше, чѣмъ додумались до этого западно-европейскія правительства. Величайшее неравенство соціальное въ старой еврейской общинѣ было не между богатымъ и бѣднымъ, а между ученымъ и «невѣждой»,

т.-е. недостаточно изощреннымъ въ знаніи Талмуда и раввинской письменности. Покойный проф. Лацарусъ въ своемъ автобіографическомъ очеркѣ «Изъ еврейской общины 50 лѣтъ назадъ» передаетъ, что въ мѣстечкѣ, гдѣ онъ родился, изъ 200 главъ семейства 40 имѣли ученые дипломы; остальные—бѣдные торговцы и ремесленники—также не довольствовались одной грамотностью и посвящали свои вечерніе досуги изученію Библіи и Талмуда. Правда, ученость эта была, на европейскій взглядъ, слишкомъ своеобразная, слишкомъ узкая, схоластическая, но умственнаго напряженія и труда она требовала никакъ не меньше, чѣмъ самая настоящая ученость. Еврей начиналъ изученіе своей науки съ 4—5-лѣтняго возраста и занимался ею до могилы,—занимался совершенно безкорыстно, изъ одной любви къ изучаемому предмету: никакихъ вѣдь земныхъ благъ еврейскій ученый дипломъ принести своему обладателю не могъ. Благоговѣніе передъ тѣмъ, что признается образованіемъ истинной наукой, постепенно вошло въ плоть и кровь еврейскаго народа.

Книга стала жизненной потребностью еврея. Знакомство съ западно-европейской цивилизаціей измѣнило кореннымъ образомъ представленія передовой части еврейства о томъ, что есть наука; но страсть къ наукѣ, потребность въ ней остались прежнія, а выработанная вѣками изученія Талмуда интеллектуальность весьма облегчила усвоеніе новыхъ знаній. Въ Россіи (какъ и повсюду) еврейство выдѣляетъ огромный процентъ интеллигенціи, несмотря на всѣ усилія правительства сократить этотъ ненавистный ему классъ. Отсюда—близость «жида» къ «интеллигенту» и «революціонеру», такъ усердно подчеркиваемая черносотенной пропа-

гандой. Крупные центры черты осѣдлости, какъ Вильна, Одесса, Варшава, переполнены еврейскою молодежью, мужской и женской, прибывающей изъ глухихъ мѣстечекъ съ одною цѣлью — учиться. Никакія лишенія не страшны этимъ юношамъ и дѣвушкамъ. Главная забота—найти учителя; конечно дарового, такъ какъ все это народъ неимущій, въ самомъ крайнемъ смыслѣ этого слова. Прочее все—пустяки: можно обѣдать и въ народныхъ столовыхъ, можно обойтись и безъ обѣда — сухаремъ, размоченнымъ въ водѣ; хорошо, если есть чѣмъ заплатить за уголъ на чердакѣ или въ подвалѣ, но если и на это не хватаетъ средствъ, то все же бѣда невелика. Какъ-нибудь «образуется». А ученіе тѣмъ временемъ дѣятельно подвигается впередъ. Съ особенною жадностью изучаетъ еврейская молодежь русскихъ классиковъ. Проникнутая искренностью и благородствомъ, неподдѣльной любовью къ униженнымъ и оскорбленнымъ, русская литература подчиняетъ своему благотворному вліянію эту чуткую молодежь, направляетъ ея политическія и соціальныя симпатіи.

Я далекъ однако отъ намѣренія объяснять революціонную дѣятельность евреевъ одними внутренними мотивами, психологіей еврейской. Революція есть прежде всего активная борьба, а боевого настроенія въ еврейской массѣ, еще лѣтъ 20—25 тому назадъ, не было и слѣда. Создало это настроеніе само правительство. Это оно вложило въ еврейскія руки браунинги и бомбы. Статистики всѣхъ странъ свидѣтельствуютъ, что убійства и насилія всякаго рода крайне рѣдко встрѣчаются среди евреевъ, гораздо рѣже, чѣмъ среди представителей другихъ національностей. Евреи въ теченіе многихъ вѣковъ не вели войнъ, не знали кулач-

ныхъ боевъ и дуэлей, не занимались охотой, не прикасались даже къ оружію. Вѣроятно поэтому всякое насиліе, а въ особенности связанное съ пролитіемъ человѣческой крови, такъ противно еврейскому характеру. Но русское правительство сумѣло «мечтателей гетто» сдѣлать не только революціонерами, но даже террористами. Когда оглядываешься назадъ, на эти 25 лѣтъ правительственныхъ мѣропріятій противъ евреевъ, — мѣропріятій, явно направленныхъ къ истребленію еврейскаго народа, то удивляешься не революціонной «наглости» евреевъ, а ихъ страшному долготерпѣнію.

Начаты были эти гоненія якобы въ защиту русскаго народа отъ еврейской эксплоатаціи. Благодѣтели, владѣющіе десятками тысячъ десятинъ земли, высасывающіе изъ народа сотни тысячъ и милліоны рублей въ видѣ арендной платы, въ видѣ окладовъ жалованья по своимъ должностямъ-синекурамъ, внезапно прониклись жалостью къ несчастному мужичку, котораго безбожно эксплоатируютъ еврей-портной, еврей-сапожникъ, еврей-торговецъ. Правительству, конечно, прекрасно было извѣстно, что 90% русскихъ евреевъ—чистѣйшіе пролетаріи. Объ этомъ писалось даже въ офиціальныхъ документахъ (паленская комиссія). При сколько-нибудь добросовѣстномъ отношеніи къ вопросу не могло, слѣдовательно, и рѣчи быть объ эксплоатаціи. Но въ томъ-то и несчастье всей русской жизни, что политика правительства никогда добросовѣстной не была.

Русской народной массѣ внушалось: «всѣ несчастья отъ жидовъ; когда мы ихъ уничтожимъ, вамъ легче станетъ». Волынскому, подольскому крестьянину (для примѣра говорю) указывалось на еврея-скупщика яицъ какъ на главное зло его жизни, въ надеждѣ, что не-

вѣжественный крестьянинъ повѣритъ баснѣ, а повѣривши, перестанетъ мечтать о раздѣлѣ латифундій графовъ Игнатьевыхъ и Потоцкихъ.

Былъ у правительства и другой расчетъ, болѣе тонкій, хотя едва ли болѣе нравственный. Преслѣдовать евреевъ значило вести національную, истинно-русскую политику,—ту политику, которая одна могла поддержать жизненностью своего звѣрства дряхлѣющій абсолютизмъ. Мотивъ этотъ получилъ наиполнѣйшее выраженіе въ послѣднее время; но болѣе проницательнымъ представителямъ бюрократіи уже четверть вѣка тому назадъ было ясно, что внесеніе въ русскій народный организмъ соотвѣтствующей дозы національной нетерпимости можетъ сослужить ихъ дѣлу недурную службу.

Не отрицаю вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ ненависти правительства къ евреямъ могли играть роль и предразсудки, и искреннее невѣжество.

Какъ бы тамъ ни было, противъ евреевъ объявленъ былъ походъ по всѣмъ канцеляріямъ всѣхъ вѣдомствъ. Началась какая-то вакханалія антисемитизма; люди, стоящіе у кормила, потеряли всякій стыдъ, всякое представленіе о нравственности и правѣ.

Припоминается мнѣ такой, напримѣръ, эпизодъ изъ исторіи изгнанія евреевъ-ремесленниковъ изъ Москвы. Нужно сказать, что евреи эти поселились въ Москвѣ на точномъ основаніи закона, прожили тутъ десятки лѣтъ, обзавелись семьями. Въ одинъ прекрасный день имъ объявили: «убирайтесь отсюда вонъ». Никакія мольбы, само собою разумѣется, не помогли; не помогло даже ходатайство за нихъ московскаго именитаго купечества. Евреевъ раздѣлили на группы, и каждой группѣ назначенъ былъ срокъ выѣзда. Одной изъ та-

кихъ группъ назначено было для выѣзда 14-ое января (1892 г.). Стояли тогда морозы такіе лютые, что администраціей пріостановлена была отправка изъ Москвы арестантовъ. Возбудили и евреи ходатайство предъ высшимъ московскимъ начальствомъ о разрѣшеніи имъ прожить нѣкоторое время въ Москвѣ, пока потеплѣетъ. Наступило 14-ое января (морозъ въ этотъ день доходилъ до 32°), отъ начальства отвѣта никакого,—и несчастныхъ выпроваживаютъ на вокзалъ вмѣстѣ съ крошечными ихъ дѣтишками. А спустя нѣкоторое время послѣ отъѣзда евреевъ, въ явную насмѣшку надъ ними, получается разрѣшеніе имъ оставаться въ Москвѣ до болѣе теплыхъ дней.

Припоминаются затѣмъ знаменитыя кіевскія ночныя облавы на евреевъ. Глубокой ночью полиція врывалась въ еврейскія квартиры, грубо расталкивала спящихъ, срывала съ нихъ одѣяла, не различая ни пола, ни возраста. Кто не оказывался въ состояніи тутъ же на мѣстѣ доказать свое право жительства въ Кіевѣ или дать выкупъ, того немедленно волокли въ участокъ.

Въ свое время газеты сообщили слѣдующій фактъ. На еврейскую квартиру нагрянула полиція. Въ ту ночь, по несчастной случайности, тамъ ночевало нѣсколько евреевъ изъ сосѣднихъ мѣстечекъ. Евреи пустились на хитрость. Облекли дѣвушку въ саванъ (въ благочестивомъ еврейскомъ домѣ всегда найдется саванъ), положили ее на столъ, обставили свѣчами, а сами съ молитвенниками въ рукахъ стали ее отчитывать какъ покойницу. Вошла полиція, но, наткнувшись на такую сцену, поспѣшила оставить квартиру. «Безпаспортные» ликовали, но это ликованіе вскорѣ замѣнилось отчаяніемъ. Дѣвушка болѣе не притворялась: она дѣйствительно была мертва.

Такими фактами можно было бы наполнить цѣлые томы. Между тѣмъ «евреевъ-бомбометателей» тогда еще не было, и самое участіе евреевъ въ революціонномъ движеніи далеко не было еще такъ интенсивно, какъ впослѣдствіи. Правительство только подготовляло еще евреевъ къ будущей ихъ исторической роли. Въ теченіе 80-хъ и 90-хъ годовъ изданъ былъ рядъ законовъ, которые сдѣлали жизнь евреямъ въ Россіи совершенно невозможной. Со всей имперіи евреевъ сгоняли въ города и мѣстечки черты осѣдлости. Антисемитскія рептиліи указываютъ обыкновенно на то, что черта осѣдлости больше иного европейскаго государства. Они забываютъ при этомъ добавить, что въ самой чертѣ осѣдлости евреи могутъ жить только въ городахъ и мѣстечкахъ, т.-е. на ничтожной части «черты», что даже въ этихъ городахъ евреи ограничены въ своихъ правахъ на добываніе средствъ къ жизни, такъ какъ не допускаются ни на государственную службу, ни на общественную, ни на желѣзнодорожную и пр. Во всей чертѣ осѣдлости вы не найдете ни одного городового-еврея, ни одного кондуктора, не говоря уже о болѣе высокихъ чинахъ. Еврей не имѣетъ права пріобрѣсти, даже арендовать клочокъ земли хотя бы подъ самымъ городомъ для разведенія на немъ огорода. Единственно, чѣмъ онъ можетъ заниматься, это ремесленнымъ трудомъ либо торговлей; въ результатѣ—десятки портныхъ на одного заказчика, десятки лавочекъ тамъ, гдѣ достаточно было бы одной. Нищета, господствующая въ чертѣ осѣдлости, не поддается никакому описанію. Американскіе комиссары Веберъ и Кэмпстеръ, командированные въ 90-хъ годахъ въ Россію для ознакомленія на мѣстѣ съ положеніемъ евреевъ, докладывали

по возвращеніи своемъ правительству: «Жизнь евреевъ въ Россіи—сплошной ужасъ. Ничего подобнаго мы никогда не видали и дастъ Богъ не увидимъ».

Жестокая и продажная администрація довершила дѣло законодателя. Взятка властвуетъ въ чертѣ осѣдлости, какъ нигдѣ на земномъ шарѣ; нищета не избавляетъ евреевъ отъ поборовъ самыхъ гнусныхъ, въ родѣ взятокъ исправникамъ и полицеймейстерамъ, «чтобы не было погрома». Взятка проникла въ такія сферы, гдѣ существованіе ея и подозрѣвать казалось невозможнымъ, — напримѣръ, въ учебныя. Когда я, лѣтъ черезъ пятнадцать по окончаніи гимназіи, о которой остались у меня наилучшія воспоминанія, попалъ въ еврейскій городокъ, я пораженъ былъ страшной перемѣной, которую испытало это просвѣтительное учрежденіе подъ вліяніемъ правительственныхъ мѣропріятій 80-хъ годовъ. Alma mater показалась мнѣ разбойничьимъ притономъ: директоръ, инспекторъ, учителя торговали еврейскими душами; педагогія превратилась въ мошенническій промыселъ.

Всему однако бываетъ предѣлъ; наступилъ конецъ и еврейскому долготерпѣнію.

Среди молодежи еврейской стали организовываться группы, которыя поставили себѣ цѣлью добиться, какою бы то ни было цѣной, свободы и равенства для себя и для всей Россіи.

Правительство не замедлило, конечно, отвѣтить терроромъ. Но ни нагайки, ни тюрьмы, ни ссылка въ отдаленнѣйшія мѣста Сибири, ни каторга, ни, наконецъ, сама смертная казнь не могли остановить этихъ героевъ. Число ихъ все росло.

Тогда приступлено было къ массовымъ избіеніямъ евреевъ и разграбленію ихъ при помощи казаковъ, дра-

гунъ и даже артиллеріи. «Выдайте намъ революціонеровъ, и погромъ прекратится», заявляло начальство евреямъ въ Сѣдлецѣ.

Не знаю, найдется ли во всей всемірной исторіи страница болѣе позорная для человѣчества, чѣмъ та, въ которую вписываютъ нынѣ свои подвиги бѣлостокскіе и сѣдлецкіе герои.

Недавно пришлось мнѣ выслушать разсказъ одного раввина о погромѣ, происходившемъ въ его городѣ. Вотъ маленькій отрывокъ изъ его разсказа.

«...Былъ третій день погрома. Ко мнѣ доходили отрывочныя вѣсти о замученныхъ старцахъ, о младенцахъ, которыхъ выбрасывали на мостовую изъ оконъ третьяго этажа. Надо попытаться еще разъ, рѣшилъ я; можетъ быть, видъ несчастныхъ жертвъ укротитъ ярость кровопійцы. Я велѣлъ привести къ себѣ двухъ евреевъ; у одного изъ нихъ зарѣзали стариковъ родителей, у другого замучили дѣтей.

«Я пошелъ съ ними къ генералу. Насъ впустили. Генерала окружалъ его штабъ.

«— А, г. раввинъ, вы опять пожаловали сюда!

«— Вотъ, ваше пр-ство, отецъ, у котораго убили дѣтей; вотъ сынъ, у котораго зарѣзали отца и мать.

«Онъ обернулся къ нимъ. Тѣ неожиданно для меня упали на колѣни. Это были совсѣмъ простые люди... Боже! какое счастье было бы провалиться куда-нибудь, хоть въ преисподнюю, лишь бы не видать этого позора. «Ваше пр-ство,—взмолились они,—пощадите, прикажите остановить кровопролитіе!» — «А,—крикнулъ генералъ,—теперь вы, жиды, на колѣняхъ! А давно ли съ красными флагами ходили, марсельезу распѣвали? Швабода! Всѣ вы революціонеры, мерзавцы!..» Евреи поднялись. «Ваше пр-ство,—

сказалъ одинъ изъ нихъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы негодованія,—если мы виноваты, казните насъ... Зачѣмъ же дѣтей убивать».—«Молчать!» заревѣлъ генералъ. Онъ размахнулся и... ударилъ еврея по лицу кулакомъ, затѣмъ другого...» . . . . . .

. . . . . .

Какія иныя чувства, кромѣ самой искренней, жгучей ненависти, такой режимъ можетъ вызывать въ еврейскомъ населеніи?

* * *

Евреи связали свою судьбу съ судьбою русскаго освободительнаго движенія. Сколько еще еврейской крови прольется, кто можетъ предсказать?.. Кровожаднымъ псамъ, растерзавшимъ мѣсяцъ тому назадъ сотни людей въ Бѣлостокѣ, понадобились уже сегодня еще сотни въ Сѣдлецѣ. Завтра, быть можетъ, они устроятъ погромъ въ Варшавѣ сразу «на десять тысячъ человѣкъ», выражаясь языкомъ «особаго отдѣла» департамента полиціи... Несомнѣнно только одно: евреи сейчасъ уже заплатили огромнымъ количествомъ жертвъ за тѣ лучшія условія жизни, которыя должны будутъ наступить въ Россіи. Мы вѣримъ въ наступленіе лучшихъ дней. Разсѣется кровавый кошмаръ, и великія свѣтлыя начала свободы и равенства осуществлены будутъ въ нашей странѣ полнѣе и честнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Отъ смраднаго застѣнка, именуемаго законодательствомъ о евреяхъ, не останется ни слѣда. Но... но сколько еще погромовъ придется пережить несчастному населенію черты осѣдлости?..

Старый режимъ, морально уничтоженный, продолжаетъ свирѣпо отстаивать свои позиціи. Источникъ его жизненной энергіи — реакціонные и шовинистическіе

элементы общества. Если эти элементы были недостаточно многочисленны и культурны (въ мизернѣйшемъ даже смыслѣ этого слова), чтобы создать для себя какое-нибудь представительство въ первой государственной думѣ, то ихъ вполнѣ хватаетъ, въ количественномъ и качественномъ отношеніи, для укомплектованія кадровъ различныхъ союзовъ, каморръ и усмирителей всякаго рода и вида. Духовнымъ стимуломъ всероссійскаго союза микроцефаловъ (беру лучшихъ его представителей, свободныхъ отъ влеченія къ еврейскимъ магазинамъ вообще и ювелирнымъ въ особенности) служатъ узкій націонализмъ и нераздѣльная съ нимъ крайняя нетерпимость къ «чужаку», «инородцу», въ особенности же къ еврею. На почвѣ еврейскихъ погромовъ и происходитъ единеніе администраціи, въ качествѣ офиціальной представительницы русской народности и православія, съ черносотенцами-добровольцами.

Я сказалъ, элементы эти вовсе не многочисленны въ русскомъ обществѣ. Это несомнѣнно. Но въ такое хаотическое время, какое мы переживаемъ теперь, агитація ихъ, поддерживаемая правительственными субсидіями и авторитетомъ власти, можетъ имѣть самыя прискорбныя послѣдствія и—не для однихъ только евреевъ.

Бороться противъ антисемитской политики правительства и антисемитской пропаганды черносотенныхъ организацій можно только путемъ укрѣпленія въ широкихъ слояхъ русскаго общества вѣрнаго представленія о евреяхъ. Когда русскіе люди ближе ознакомятся съ жизнью и идеалами евреевъ, тогда наступитъ конецъ черносотенной агитаціи.

Этой цѣли сближенія русскаго народа съ еврейскимъ и посвященъ настоящій сборникъ.

Два слова о сборникѣ. Онъ составленъ изъ произведеній исключительно еврейскихъ бытописателей не потому только, что еврейская среда имъ болѣе доступна и лучше извѣстна, чѣмъ писателямъ не-евреямъ, но еще и потому, что типичнѣйшіе представители всякой націи, по которымъ легче всего знакомиться съ нею, — это ея писатели-художники. На ряду съ оригинальными, написанными на русскомъ языкѣ, произведеніями читатели найдутъ въ сборникѣ также произведенія, переведенныя съ народнаго еврейскаго языка (жаргона), о литературѣ котораго не-еврейская публика ни малѣйшаго представленія пока не имѣетъ.

Шми.

Спб., 1-го сентября 1906 г.

Союзники.

I.

Послѣ восьмилѣтней работы подъ землей, въ черномъ рудникѣ, гдѣ сырость и темь исподволь точили тѣло; послѣ начавшагося затѣмъ мучительнаго томленія „на свободѣ“, въ мертвомъ поселкѣ полудикихъ якутовъ, черезъ топи мрачныхъ тундръ, черезъ дремучую чащу суровой тайги, угрожаемый звѣремъ, преслѣдуемый людьми, Бородинъ добрался наконецъ до чужой земли и, свободный, припалъ къ ней, и въ радости поцѣловалъ.

Теперь онъ снова могъ жить: онъ снова могъ бороться.

Петля коснулась его шеи. Но помилованіе, котораго онъ не просилъ, ее развязало, и потянулись черные годы страданія въ сумракѣ тѣсныхъ шахтъ. Духъ не угасалъ. Напротивъ, онъ закалялся и крѣпнулъ—и отъ нечеловѣческой жизни подъ землей, и отъ злыхъ вѣстей, которыя постоянно приходили вмѣстѣ съ новыми „помилованными“. Въ пламени гнѣва закалялся духъ. Но тѣло разрушалось. Безъ южнаго солнца, подъ которымъ онъ выросъ, безъ вѣтра родныхъ степей, безъ ясныхъ водъ милаго Буга, въ которыя хоть изрѣдка можно было бро-

ситься, Бородинъ увядалъ и хирѣлъ... И, можетъ быть, недалекъ ужъ былъ и конецъ. Но безумное напряженіе желѣзной воли—и свобода достигнута.

Снова свѣтлая лазурь надъ головой, снова грозная борьба впереди...

Для передышки Бородинъ третій мѣсяцъ оставался въ Парижѣ. Онъ бродилъ по шумнымъ улицамъ, по тихимъ паркамъ, и новая обстановка эта вливала въ него новую силу, новую свѣжесть... Сумракъ жизни преждевременно состарилъ этого человѣка. Въ сорокъ лѣтъ Иванъ Михайловичъ былъ совсѣмъ почти сѣдъ и сильно сутуловатъ, и въ рукахъ его замѣчалось постоянное дрожаніе. Голосъ его звучалъ слабо и какъ-то особенно печально, а темные впалые глаза смотрѣли съ тѣмъ выраженіемъ скорбной и какъ бы укоряющей усталости, которая встрѣчается почти исключительно въ глазахъ еврейской бѣдноты. Да и вообще Бородинъ, со своимъ выгнутымъ носомъ, съ клинообразной бородой, съ болѣзненно блѣднымъ, о тяжкихъ и долгихъ страданіяхъ говорившимъ лицомъ, очень походилъ на русскаго еврея.

Иванъ Михайловичъ жадно знакомился съ новою для него жизнью. Онъ ходилъ на народныя собранія, въ палату депутатовъ, въ музеи, на выставки и публичныя лекціи. Все занимало его, изумляло, захватывало. Но особенно сильныя ощущенія переживалъ онъ, когда находился среди русской молодежи. Она глубоко волновала его, онъ растроганно и съ умиленіемъ смотрѣлъ на милыя, славныя фигуры, набивавшіяся, какъ сельди въ бочкѣ, въ убогонькую студенческую кухмистерскую, и не было для него большей радости, чѣмъ эти бурныя собранія въ

разныхъ тавернахъ, гдѣ друзья и противники горячо и страстно схватывались въ обсужденіи научныхъ теорій и практическихъ программъ... Рѣчи нестройныя, сбивчивыя, нѣтъ порядка, нѣтъ послѣдовательности, порою наивныя вещи говорятся или давно уже извѣстныя; но какая мучительная жажда правды слышится въ каждомъ словѣ, но какая клокочущая страсть сжигаетъ эти юныя сердца, и сколько могучей вѣры въ нихъ, сколько высокаго героизма и грозной рѣшимости сломить врага,—если нужно, цѣною своей жизни, если можно—цѣною десяти своихъ жизней...

Окончились рѣчи, засѣданіе закрывается, съ эстрады сходятъ предсѣдатель и оппоненты. Молодежь, возбужденная, взволнованная, встаетъ, и громкимъ пѣніемъ оглашается залъ. Подъ чужимъ небомъ звенитъ оно, въ чужой странѣ, но грозные отзвуки его идутъ далеко, въ родную землю, и будятъ тамъ трепетъ смятенія у врага, силу и гнѣвъ у соратниковъ. Въ чужой странѣ звенитъ оно, но побѣдные раскаты его скоро загремятъ ужъ и дома, и дома...

И не старый, но сѣдой уже и сгорбленный, съ дрожащими руками человѣкъ забивается въ уголъ и, прислонившись къ стѣнѣ, незамѣтный, пропускаетъ мимо себя потокъ вдохновенной молодежи. Совершенно особенное, свѣтлое и бодрое, чувство охватываетъ его, благородною гордостью наливается сердце. Жизнь не безполезно прошла, страданія не даромъ выстраданы, и кровь, которая сочилась на рукахъ и ногахъ подъ желѣзомъ цѣпей, не на мертвые упала камни. Она брызнула далеко, въ чуткія молодыя сердца, и ихъ зажгла и гнѣвомъ и страстью. Доро-

гое дѣло въ надежныхъ рукахъ. И старый борецъ, на новыя битвы идущій, смотритъ радостно и гордо. Сердце трепещетъ и млѣетъ, и слезы умиленія, слезы свѣтлаго счастья дрожатъ на рѣсницахъ и быстро бѣгутъ по морщинамъ лица...

II.

Толкотня, сверканіе, переливчатый, пестрый гулъ большой парижской артеріи. Въ чуткомъ колыханіи прозрачнаго предвечерняго тумана легкими и какъ бы дрожащими кажутся громады домовъ. Видны только верхніе этажи, обшитые, какъ кружевомъ, узорчатыми рѣшетками черныхъ балконовъ,—мѣстами маленькихъ, для каждаго окна въ отдѣльности, мѣстами длинныхъ, во весь фасадъ зданія. Первые два или три этажа, ихъ витрины, ихъ зеркальныя стекла, ихъ вывѣски и выставки, замаскированы будками, людьми, стволами деревьевъ, прозрачнымъ переплетомъ вѣтвей. Сквозь все это они просвѣчиваютъ неопредѣленными, постоянно мѣняющимися пятнами. Ни одной формы, ни одной фигуры глазъ не ухватитъ цѣликомъ: все взаимно заставлено, закрыто, все перемѣщивается, движется и представляется какъ бы въ обломкахъ, въ обрывкахъ, въ быстрыхъ, постоянно перепутывающихся, неуловимыхъ мазкахъ. Среди чернаго потока людей мелькнетъ и цвѣтное пятно—красное, синее, желтое; вотъ блескъ велосипедныхъ спицъ, вотъ край какой-то корзины, бархатный беретъ, узелъ, дѣтская коляска, бѣлый верхъ монашеской камилавки. Но все раздроблено, все въ торопливо проносящихся обрывчатыхъ клочкахъ. Не ви-

дишь трамвайнаго вагона цѣликомъ,—только имперіалъ выдѣляется съ двумя рядами темныхъ фигуръ да верхніе края стеколъ; не всю лошадь охватитъ глазъ,—только голову ея, шею, а ноги, такъ же какъ и колеса экипажа, скрыты множествомъ другихъ предметовъ—телѣжками, тачками, корзинами, человѣческими фигурами... И все это въ движеніи, торопливомъ, бойкомъ, нервномъ, все мелькаетъ, колышется, катитъ, пестритъ въ яркой, искрящейся, изумительно разнообразной зрительной какофоніи. Людей много на тротуарахъ, много на мостовой. Звуки сверкаютъ, сталкиваются, обрываются, незаконченные и размельченные... Человѣческіе голоса, хлопанье бичей, грохотъ ломовыхъ телѣгъ, трепыханіе автомобилей, бычачій ревъ ихъ сигнальныхъ рожковъ, острые звонки трамваевъ, лязгъ чего-то упавшаго и разбившагося, чьи-то крики, чей-то смѣхъ... И ежеминутное прикосновеніе идущихъ съ боку, и толчки обгоняющихъ, и извиненія зацѣпившихся встрѣчныхъ. Кто-то на ходу бросилъ торопливую шутку,—вотъ оскаленные зубы, добродушная, насмѣшливая перебранка. Мигъ—и уже нѣтъ ни шутившаго, ни скалившаго зубы: оба бѣгутъ, куда имъ надо, и только мелькаютъ еще въ толпѣ клочки ихъ фигуръ—цилиндръ, бѣлый воротникъ на толстой шеѣ, синяя нанка блузы. Еще мгновеніе—и оба окончательно потонули въ густой сверкающей массѣ, и вмѣсто нихъ другія пятна колышутся и пестрятъ, и исчезаютъ, замѣняясь новыми, столь же мимолетными и столь же обрывистыми... И такъ безъ конца все движется, бурлитъ, стремится, волнуется, исчезаетъ...

На углу небольшого переулка столпилась группа

людей: много женщинъ, много ребятъ. Надъ ними, устроившись на возвышеніи, стоитъ какой-то господинъ въ цилиндрѣ и черномъ сюртукѣ. Съ жестами трагическаго актера, громкимъ и зычнымъ голосомъ господинъ этотъ ораторствуетъ:

— Это не для чистки сапогъ, это не для чистки кастрюль. Это средство не отъ клоповъ и не отъ частыхъ родовъ. Нѣтъ! Не чернильныя кляксы этимъ чистятъ и не совѣсть министровъ. Очистить совѣсть нашихъ правителей—вы это знаете всѣ, какъ и я—не во власти людей. Не будучи ни Богомъ, ни шарлатаномъ, я за это не берусь. Но зубы, но ваши зубы, ихъ я вычищу въ совершенствѣ, идеально, изумительно и навѣки! Ибо въ этомъ мой долгъ и для этого я рожденъ на свѣтъ. Да, mesdames и messieurs, я рожденъ на свѣтъ. И кто въ этомъ сомнѣвается, пусть подойдетъ и пощупаетъ меня. Вотъ мазь, и въ ней спасеніе вашихъ зубовъ. И у кого изъ васъ зубовъ ужъ нѣтъ, тотъ пусть только помажетъ десны этой мазью, и зубы вырастутъ вновь...

И долго несетъ онъ свою ахинею безъ запинки, безъ задержки. Голосъ внушительный, движенія плавныя, осанка полна благородства и величавости.

Изъ плотнаго кольца зѣвакъ выходитъ старуха и лѣзетъ на помостъ. Съ галантностью придворнаго ораторъ усаживаетъ женщину на кресло, раскрываетъ ей ротъ и начинаетъ чистить зубы. Толпа хохочетъ, сыплетъ остротами, скабрезными шутками. А краснорѣчивый человѣкъ, ни на мигъ не прерывая рекламной околесицы, граціозно прыгаетъ около своей кліэнтки и проворно, но почтительно ѣздитъ щеткой по ея зубамъ... Операція окончена, эффектъ

полученъ, и изъ толпы начинаютъ подходить соблазненные—одинъ, другой... десятый... пятнадцатый... и требуютъ чудодѣйственной мази... А вокругъ толкотня, грохотъ, крики, свистки, лязгъ... Темнѣетъ. Уже дрожатъ огни газовыхъ рожковъ и электричества, ослѣпительно сіяютъ языки ацетилена. Народу, движенія, кажется, стало еще больше. Вдоль узкой улички расположились телѣжки съ овощами—цвѣтной капустой, морковью, картофелемъ, салатомъ. И тутъ же живая рыба, и тутъ же виноградъ и груши, и тутъ же разный галантерейный товаръ и articles de Paris, и здѣсь же битая птица и разные сыры и выпотрошенные кролики съ ободранной шкурой... На террасахъ кафэ за мраморными и желѣзными столиками пьютъ абсентъ и красное вино. Кварталъ небогатый, и кафэ небогатые, и въ витринахъ магазиновъ товаръ недорогой. Но и на кафэ, и на дешевыхъ товарахъ, и на всѣхъ суетившихся и топтавшихся здѣсь людяхъ Бородинъ отличалъ печать какого-то простого и скромнаго изящества... Женщины хоть и изъ „простонародья“, но опрятно одѣты, всѣ въ корсетахъ, даже старухи. Красивыя, часто пышныя прически. Глаза смотрятъ открыто, весело, независимо; голоса звучатъ энергично, смѣло. Какъ много бойкости вездѣ, и какое повсюду разлито бодрое, радостное напряженіе жизни! Народу такъ много, что кажется, окончилось сейчасъ поблизости въ театрахъ веселое представленіе и публика оттуда высыпаетъ и направляется по домамъ... Но время идетъ; пять минутъ, десять, полчаса, и толпа нисколько не рѣдѣетъ, а попрежнему течетъ и течетъ, пестрая, живая, звучная и яркая—какъ молодость

Иванъ Михайловичъ стоялъ, прислонившись къ спинкѣ скамьи. Онъ чувствовалъ себя усталымъ, и у него крѣпко ныла лѣвая нога. Это мучительное несносное ощущеніе тупой и какъ бы далекой боли появлялось у него обыкновенно послѣ какихъ-нибудь сильныхъ волненій и, разъ появившись, держалось непрерывно часовъ десять, пятнадцать.

— Eh bien, стало быть, monsieur усталъ?—запищалъ вдругъ около Бородина мальчишка лѣтъ двѣнадцати. Онъ весь завернутъ былъ въ длинный, до земли, бѣлый передникъ съ нагрудникомъ, а на головѣ его колыхалась плетенка съ торчавшей кверху, неприкрытой бараньей ногой.—Monsieur прислонился къ скамейкѣ, monsieur, стало быть, хватилъ абсенту?

Сказалъ, и понесся дальше, уже не оглядываясь.

Иванъ Михайловичъ съ добродушной усмѣшкой посмотрѣлъ мальчугану вслѣдъ, на ногу, виднѣвшуюся изъ корзинки, и, отдѣлившись отъ скамьи, пошелъ, слегка прихрамывая, впередъ... Выраженіе тихой, но отчетливой грусти лежало у него на лицѣ. Эта всюду царившая живость, эта стремительность и яркая энергія вызывали въ его воображеніи другія картины. Вспоминалось тупое молчаніе русскихъ городовъ, тяжелая неуклюжесть обывателя, его бѣдность, его дикость, его мрачная спячка. Рисовались угасшіе взоры крестьянъ, подавленныхъ голодомъ, и мертвыя лица замученныхъ насиліемъ борцовъ, и наглыя фигуры насильниковъ... И такъ властно тянуло туда, туда—подъ родное печальное небо, къ горькой родной дѣйствительности.

III.

Бородинъ разыскивалъ помѣщеніе „еврейскаго народнаго университета“. Ему говорили, что тамъ собираются выходцы изъ Россіи, преимущественно рабочіе. Онъ слыхалъ еще на каторгѣ о видной роли, которую играютъ евреи-рабочіе въ революціонномъ движеніи, съ нѣкоторыми изъ нихъ онъ тамъ же познакомился, и теперь ему очень хотѣлось присмотрѣться къ рабочимъ-евреямъ поближе и, если окажется возможнымъ, сойтись съ ними.

Иванъ Михайловичъ вытащилъ изъ кармана планъ Парижа и принялся разыскивать нужную улицу. Оказалось, что надо пройти еще порядочное разстояніе. Между тѣмъ уже совсѣмъ стемнѣло, и Бородинъ боялся опоздать. Хотя это было ему нелегко, онъ прибавилъ шагу.

Передъ нимъ змѣилась кривая улица, грязная и безлюдная. Торговыхъ учрежденій почти не было, и освѣщеніе было здѣсь скудное. Съ лѣвой стороны тянулась высокая гладкая стѣна тюрьмы. Должно быть, тюрьма разсчитана была на большое количество людей: стѣна тянулась долго, очень долго... И тамъ, гдѣ она кончалась, лежала запутанная сѣть маленькихъ изломанныхъ переулковъ и тупиковъ. Дома были небольшіе и невысокіе, очень старые, очень грязные, какіе-то насупившіеся, черные и гнойные. Нѣкоторые одряхлѣли до того, что окна стояли уже не вертикально, а косо, и широкія трещины залегли поперекъ фасада, отъ крыши до мостовой. Одинъ домъ умеръ уже давно, въ немъ никто не жилъ и окна не были освѣщены. Среди другихъ построекъ

онъ былъ какъ катафалкъ межъ больными стариками, пришедшими на костыляхъ для послѣдняго поклона отстрадавшему товарищу. Дворы были маленькіе, застроенные какими-то низенькими сарайчиками. Въ нѣкоторыхъ однако темнѣли высокіе двухъэтажные амбары—то были склады ветоши и тряпья для бумажныхъ фабрикъ. Фабрики же расположены были нѣсколько дальше, по другую сторону узкой и мелкой рѣчонки, и высокія трубы ихъ чернѣли какъ злыя видѣнія. Отъ гнилой рѣчки, отъ огромныхъ массъ тряпья и главнымъ образомъ отъ близости кожевенныхъ заводовъ здѣсь стоялъ удушливый смрадъ,—такой ѣдкій и терпкій, что у человѣка непривычнаго спирало дыханіе и начинала кружиться голова. Люди, которые жили здѣсь, къ смраду привыкли и не жаловались. Они не жаловались; но ядовитыя испаренія и тучи міазмовъ дѣло свое дѣлали неуклонно: они проходили въ легкія, отравляли кровь, разрушали ткани и уводили въ могилу. Кварталъ этотъ былъ тою именно частью Парижа, гдѣ процентъ смертности былъ наивысшій. Мрачный и скорбный кварталъ... Но для евреевъ, но для русскихъ евреевъ эти смрадныя улички съ берлогами, покрытыми коростой, были обѣтованной землей. Здѣсь не терзало безправіе. Здѣсь не сверкалъ топоръ громилъ. Обѣтованная земля... изгнанія земля. Печальная земля чужбины, гдѣ вздохи рождались, гдѣ скорбь томила, гдѣ тайно и тихо мечтали о другой землѣ,—объ ужасной, о залитой кровью землѣ родной, насильникомъ отнятой, насильникомъ опозоренной...

Еще два поворота—и Бородинъ нашелъ помѣщеніе „университета“. Маленькая, узенькая дверца, и за

ней длинный тѣсный проходъ, живо напомнившій Ивану Михайловичу подземныя галлереи рудниковъ. На противоположномъ концѣ прохода, не качаясь, виситъ на бечевкѣ одинокій фонарь. Дальше—дворъ, очень длинный и треугольный, изуродованный огромнымъ горбомъ, весь заставленный крытыми фургонами. Нижніе этажи имѣвшихся во дворѣ построекъ представляли собой ряды подкатныхъ сараевъ и конюшенъ, которые отдавались внаймы отдѣльно отъ квартиръ. Ихъ было много, и оттого воздухъ во дворѣ былъ густо насыщенъ запахомъ навоза и тѣмъ еще особеннымъ запахомъ, прѣлымъ, кисловатымъ, который исходитъ отъ сильно вспотѣвшихъ лошадей. Надъ конюшнями были квартиры, въ ихъ окнахъ горѣлъ свѣтъ, и кое-откуда доносились глухіе голоса... Лавируя межъ фургоновъ, которые угрожающе замахнулись своими черными оглоблями, Бородинъ прошелъ на противоположный конецъ двора. Здѣсь, ущемленный двумя стѣнами, стоялъ одноэтажный треугольный флигелекъ съ широкой двустворчатой дверью, по обѣ стороны которой легли длинныя окна со множествомъ небольшихъ стеколъ. Изнутри стекла замазаны были известью, а мѣстами заклеены газетной бумагой. Надписи или вывѣски не было, но по описанію, которое Бородину сдѣлали раньше, онъ узналъ во флигелькѣ „университетъ“.

— Но почему же темно? — спросилъ себя Иванъ Михайловичъ, озадаченный. — Я опоздалъ, а здѣсь, кажется, никого еще нѣтъ.

Онъ тихонько постучалъ. Отвѣта не было. Онъ постучалъ громче,—и теперь за дверью послышался гулкій стукъ чего-то упавшаго и потомъ торопли-

вое шарканье ногъ. Должно быть, кто-то поспѣшно всталъ и при этомъ опрокинулъ стулъ. Иванъ Михайловичъ пріоткрылъ дверь и просунулъ въ нее голову.

— C'est ici?.. est ici... demeure ici?..

По-французски онъ говорилъ плохо, а фраза, которая была приготовлена еще дома и нѣсколько разъ повторена по дорогѣ, теперь сразу вылетѣла изъ головы.

— Еврейскій университетъ здѣсь? — спросилъ Бородинъ по-русски.

— Здѣсь, здѣсь, ну конечно,—донеслось изъ неосвѣщенной черной глубины.—Только извините: если вы на лекцію, то сегодня лекціи не будетъ.

— Вотъ тебѣ разъ! — мысленно протянулъ Бородинъ, огорченный отсутствіемъ лекціи и обрадованный тѣмъ, что можно объясниться по-русски. — Отчего не будетъ?

— Оттого, знаете, что завтра université переѣзжаетъ на другую квартиру и сегодня тутъ складывается мебель и все... Войдите пожалуйста, вы запишете новый адресъ... Я сейчасъ зажгу.

Кто-то невидимый засуетился впотьмахъ, стуча ногами, и по-старчески закашлялъ.

— Tout de suite, сей моментъ... je vais allumer... пожалуйте...

Черкнули спичкой, желтоватый огонекъ ея описалъ дугу и коснулся фитилька крохотной лампочки. И тотчасъ же изъ мрака вырисовались тщедушная согбенная фигурка стараго еврея и позади него какіе-то шкафы, нагроможденные другъ на друга парты, узлы и ящики. Старикъ приблизился къ Бородину и, внимательно его оглядывая, спросилъ:

— Значитъ, вы у насъ еще не были?.. Вы, можетъ быть, недавно пріѣхали?

Правой рукой онъ почтительно приподнималъ надъ головой измятую шоколаднаго цвѣта шляпу, въ лѣвой держалъ на отлетѣ лампочку. Лампочка была маленькая, жестяная, безъ стекла, съ круглымъ дымившимся фитилькомъ, и свѣтъ отъ нея былъ такой скудный, что комната, довольно впрочемъ обширная, вся тонула въ густомъ и плотномъ сумракѣ.

— Должно быть, что вы недавно пріѣхали,—повторилъ старикъ, но уже скорѣе тономъ утверждающимъ, чѣмъ тономъ вопроса.

— Да, я недавно...

— Université у насъ очень хорошій, — убѣжденно сказалъ старикъ, потрясая головой.—Вы не смотрите пожалуйста на безпорядокъ и на это помѣщеніе... Это таки сарай, паскудство, таки чортъ знаетъ что... Бьенъ дегутанъ... Но уже есть другая квартира. Сдѣлали, знаете, литературный concert и обезпечили себя замѣчательной квартирой... Вотъ будете приходить, такъ увидите...

IV.

Старичокъ былъ маленькій, тощенькій, сморщенный и сутуловатый; на немъ было длинное пальто коричнево-зеленаго цвѣта съ огромными отвислыми карманами. Сѣдая раздвоенная борода, желтоватая около рта, искрящейся пѣной набѣгала на впалую грудь и, освѣщенная трепетнымъ свѣтомъ лампочки, посылала тихіе отблески на безкровное, блѣдное лицо. И отъ отблесковъ этихъ лицо старика дѣлалось какимъ-то серебристымъ, почти свѣтящимся.

— Ого-го, еще какое будетъ помѣщеніе,—рѣдкость!.. И читать будутъ уже настоящіе профессора... одинъ такъ даже изъ Сорбонны... Теперь у насъ тоже очень ученые люди—доктора, инженеры, писатели, а ужъ тамъ..! Вотъ увидите сами!.. Не угодно ли присѣсть? S'il vous plaît.

Иванъ Михайловичъ съ сожалѣніемъ и досадой думалъ о своей неудачѣ. Плуталъ полтора часа, сдѣлалъ верстъ семь, а лекціи нѣтъ и публики нѣтъ. Можно бы, правда, чтобы не терять вечера, поспѣшить на митингъ забастовавшихъ столяровъ,—онъ, кажется, гдѣ-то не очень далеко, въ этомъ же кварталѣ,—но какъ отважиться на новое плутаніе, когда такъ велика усталость и не переставая мучитъ ноющая боль въ ногѣ... Во всякомъ случаѣ необходимо передохнуть.

Иванъ Михайловичъ поблагодарилъ старичка за любезное приглашеніе и присѣлъ на скамью.

— Да, теперь université у насъ будетъ совсѣмъ уже замѣчательный...—Старикъ отошелъ въ сторону и поставилъ лампочку на ящикъ.—Во всемъ Парижѣ нѣтъ такого, чтобы то-есть для рабочихъ такой былъ.

— А какіе тутъ читаются предметы?

— Предметы? Всякіе читаются... Я вамъ сейчасъ дамъ расписаніе... Печатное расписаніе! А то какъ же? У насъ все печатное... Предметы у насъ—физика, химика, исторія, изъ чего состоитъ земля. Но главное дѣло интересуются, когда читаютъ про socialisme.

Тихая улыбка появилась на лицѣ Бородина. Его какъ-то трогали и забавляли и внѣшній видъ ста-

ричка, и его странная рѣчь, пестрѣвшая французскими словами, и его тонъ, полный дружелюбія и сдержанной горделивости.

— Про сосіалисмъ? — переспросилъ онъ, невольно произнося это слово, какъ и старикъ, по-французски.— Больше имъ интересуются, чѣмъ физикой?

— Ого! Я думаю!.. Самая же первая наука!—Лицо у еврея сдѣлалось серьезное, важное. — И знаете,— старикъ поднялъ кверху брови и на минуту замолчалъ,—она таки наша! Евреи ее выдумали!

— Почему же вы думаете, что она самая первая?

— Самая для человѣка необходимая!—убѣжденно сказалъ старикъ. И вдругъ, пріосанившись, онъ медленно, отчетливо и какъ-то особенно торжественно произнесъ:—На Божьемъ небѣ одно солнце, на человѣческомъ—два: Карлъ Марксъ и Лассаль. И оба— наши!

Бородинъ съ любопытствомъ смотрѣлъ на старенькаго еврея. Онъ часто видывалъ такихъ,—за стойкой въ шинкахъ, на толкучкѣ, гдѣ они торгуютъ смраднымъ тряпьемъ, въ заѣзжихъ домахъ и корчмахъ, гдѣ они, съ собачьею угодливостью, кучками суетятся около „пана“, предлагая наперебой свои нужныя и ненужныя услуги. Имъ говорятъ „ты“, ихъ хватаютъ за бороду, ихъ бьютъ по затылку и по лицу— и они при этомъ горько улыбаются, умоляюще лопочутъ „пане, пане“, жалкой шуткой силятся развеселить оскорбителя и всячески стараются вызвать въ немъ болѣе благодушное настроеніе...

— Если я вамъ не мѣшаю... простите, можно узнать, какъ васъ зовутъ?—перебилъ самого себя Иванъ Михайловичъ.

— Меня? А положимъ, что меня зовутъ Бернштейнъ, Моисей Бернштейнъ.

— Если я вамъ не мѣшаю, господинъ Бернштейнъ, я минутку передохну здѣсь. Я много ходилъ и усталъ...

Бородинъ осторожно вытянулъ больную ногу и при этомъ почувствовалъ такую сильную ломоту, что невольно застоналъ.

— Въ Парижѣ концы—ого, мое почтеніе!—сочувственно сказалъ Бернштейнъ.—Устать можно здорово.

— А вы въ Парижѣ давно?

— Въ Парижѣ? Ничего себѣ... Въ первый разъ, если вамъ сказать, я въ Парижъ пріѣхалъ съ семействомъ въ восемьдесятъ второмъ году. Какъ только начались, знаете, въ Россіи погромы...—Бернштейнъ помолчалъ.—Это уже сказка старая: разнесли мнѣ въ щепки будку, ограбили весь мой товаръ,—у меня была галантерейная лавочка на старомъ базарѣ,—ну, и все... Я тогда и уѣхалъ... А! извѣстныя дѣла...

Старикъ махнулъ рукой. Въ голосѣ его зазвучали глухія печальныя ноты, и темные глаза смотрѣли не на Бородина, а черезъ его плечи, куда-то далеко вверхъ.

— Семейство было... Ну, а теперь я одинъ... На всемъ свѣтѣ одинъ... Tout seul... Есть одна унука въ Филадельфіи—дай ей Богъ долгой жизни!—она замужемъ и хорошо себѣ устроена, имѣетъ четверо дѣтей... Ну, у ней немножко характеръ... такой себѣ, знаете, характеръ... трудный... И мнѣ въ Филадельфіи не понравилось... Ну, я себѣ одинъ.

— Значитъ, вы не все время жили въ Парижѣ?

— Въ Парижѣ? Все время?—Бернштейнъ добро-

душно разсмѣялся.—Ну-ну, хорошее „въ Парижѣ“!.. Полсвѣта я объѣхалъ, вездѣ жилъ... и таки вездѣ мучился... Натерпѣлся, я вамъ скажу, такъ, что сто человѣкъ въ дисциплинарномъ батальонѣ столько не выстрадаютъ... И все перепробовалъ, разныя занятія... Въ Филадельфіи я съ однимъ компаньономъ открылъ мастерскую палокъ. Очень даже хорошо пошло дѣло. Палки разныя были,—набалдашникъ роговой, металлическій, изъ слоновой кости... Чудесное было дѣло! Ну, компаньонъ мой меня обобралъ. Американскій жуликъ, знаете, съ электричествомъ... Что,—когда языка не знаешь, закона не знаешь, грабительствовать не умѣешь, а когти отовсюду, со всѣхъ сторонъ... Ну такъ-таки обобрали!.. Остался опять на улицѣ, какъ послѣ погрома въ Мелкой Пристани... Absolument!.. Хорошо, что я успѣлъ научиться варить мыло для чистки пятенъ. Ѣлъ себѣ съ этого хлѣбъ... У-ухъ, замѣчательное мыло! Хоть отъ смолы, хоть отъ сала, хоть отъ краски, хоть отъ чего угодно пятно—потрешь этимъ мыломъ, и чистенько!.. Бархатъ, сукно—какъ золото! Какъ будто никогда ничего и не было!.. Ничего, жилъ себѣ... Потихоньку себѣ жилъ...

— Почему же вы опять въ Европу переѣхали?

Бернштейнъ медленно поднялъ голову и какъ-то странно посмотрѣлъ на Бородина. Что-то тревожное появилось вдругъ на его лицѣ. Казалось, какое-то недоброе подозрѣніе внезапно зародилось въ душѣ старика... Онъ собралъ въ горсть свою бѣлую бороду, слегка отвернулся къ стѣнѣ и сталъ что-то недружелюбно бормотать. Стѣна молчала, угрюмая и темная, и отъ нея вѣяло влажнымъ холодомъ.

— „Зачѣмъ переѣхалъ, зачѣмъ переѣхалъ“... Можетъ быть, я такъ хотѣлъ... Можетъ быть, у меня фантазія... Нельзя имѣть фантазію? Каждый человѣкъ можетъ себѣ имѣть фантазію.

V.

Онъ умолкъ. Молчалъ и Бородинъ. Со двора, изъ какой-то квартиры доносились мучительные вопли ребенка,—должно быть, его били,—а за стѣной дробно и глухо стучалъ несильный моторъ. Раньше этихъ звуковъ не было, и Бородинъ, удивленный, какъ-то невольно обернулся и сталъ слушать.

— Прачечная,—сумрачно пояснилъ Бернштейнъ.— Механическая прачечная... Теперь же вездѣ механика...

Помолчавъ еще нѣкоторое время, онъ заговорилъ опять:

— Только въ Европѣ я былъ? Я въ Африку тоже ѣздилъ... И былъ въ Іерусалимѣ. Ну такъ что?

Онъ произнесъ это страннымъ тономъ: сердитымъ и въ то же время какъ бы просительнымъ. Будто проболтался старикъ, что-то лишнее сказалъ, выдалъ себя, а потомъ спохватился и сталъ подметать слѣды и отводить вниманіе къ другому.

— Въ Алжиръ ѣздилъ, въ Александрію... мыло свое туда возилъ... Но тамъ дѣло не пошло... Тамъ такой товаръ итти не можетъ... Вездѣ одинъ товаръ?.. Одесса торгуетъ пшеницей, Манчестеръ—сталью, въ Кременчугѣ требуется лѣсъ. Не можетъ во всѣхъ мѣстахъ быть одинъ и тотъ же предметъ.

— Но почему же не можетъ мыло итти въ Алжирѣ?—спросилъ Бородинъ.

— Потому... Очень просто... Когда жъ тамъ жара, какъ въ пеклѣ, и всѣ ходятъ въ парусинкѣ и въ полотнѣ. Запачкалась одежда—отдашь прачкѣ, и выстираютъ, все равно какъ носовой платокъ... Сукна не носятъ,—изъ чего же вынимать пятна?.. Только потратился здорово и опять безъ ничего остался.

— Что жъ вы тогда сдѣлали?

— Мучился. Пробрался потомъ въ Миланъ—это такой городъ въ Италіи—и завелъ новую коммерцію—книжечками; тамъ такія записныя книжечки дѣлаются, хорошенькія, замѣчательно! И продаются на фунтъ... Ну, потомъ опять во Францію... Знаете, въ деревняхъ тутъ праздники бываютъ, — по-русски это называется престольные. И когда праздникъ, то наѣзжаютъ цирки разные, комедянчики, chevaux de bois,—ну и разныя лакомства... Я себѣ завелъ торговлю нугой и кокосовыми орѣхами. Бананы тоже. Изъ деревни въ деревню, изъ села въ село. Если далеко—поѣздомъ, а когда ближе, такъ я пѣшкомъ, и товаръ на себѣ тащу... Сколько я километровъ прошелъ! Сколько я на себѣ пудовъ перетаскалъ! Ой-ой-ой-ой!.. Вотъ эти плечи спросите,—Бернштейнъ ударилъ себя по плечамъ,—они все знаютъ, они вамъ многое разскажутъ... Сосчитать и сложить, такъ я, можетъ быть, весь Монбланъ съ мѣста на мѣсто перенесъ... Думаете, отчего у меня выворочена спина?.. Только что..? Ничего!.. И тутъ тоже бѣдствовалъ...

Старикъ снова повернулся лицомъ къ Ивану Михайловичу, и теперь лицо это свѣтилось кроткой, спокойной улыбкой. Точно не о себѣ говорилъ Бернштейнъ, а о комъ-то другомъ, далекомъ, малоизвѣстномъ, о комъ-то чуждомъ, кому только мимоходомъ

и немножко можно удѣлить сочувственнаго вниманія.

— До торговли — я вамъ такъ скажу, — какъ до скрипки, надо имѣть талантъ, — вдругъ дѣлая серьезное лицо, сказалъ Бернштейнъ.—У меня его нѣтъ... И таки никогда не было... И въ Россіи тоже не было... Торговалъ, потому что... а что мнѣ было дѣлать? До чего кинуться?.. Вотъ увпослѣдствіи, когда было дѣло Дрейфуса, я сталъ торговать картинками. Чѣмъ старую одежду, напримѣръ, или обувь, лучше я буду продавать открытки, портреты разные — Эмиля Золя, Клемансо, Лабори, полковника Пикара, видъ Чортова острова и другое разное. Заработать можно... Накуплю разныхъ этихъ открытокъ и повезу, думаю себѣ, въ Лондонъ. Ну?.. Повезъ... Таки повезъ... И таки привезъ назадъ... Ого!.. Вотъ посмотрите!

Старикъ бросился вдругъ въ уголъ, къ скамьямъ, и изъ темноты вытащилъ большой сѣрый чемоданъ. Онъ обхватилъ его обѣими руками, прижалъ къ животу и, напрягаясь, откидываясь, какъ беременная женщина, верхнею частью тѣла назадъ, принесъ чемоданъ къ столу.

— Вотъ, видите?..

Онъ раскрылъ чемоданъ, и на Бородина, какъ изъ погреба, пахнуло вдругъ плѣсенью и кисловатой затхлостью сырой, подгнившей бумаги.

— Всѣ тутъ есть, всѣ,—говорилъ старикъ, выкидывая на столъ пачки иллюстрированныхъ открытокъ, изображавшихъ разные моменты дрейфусовской эпопеи.—Вотъ засѣданіе военнаго суда въ Реннѣ, вотъ начальникъ état major, а это, посмотрите сюда, Дрейфусъ въ штатскомъ, а тутъ вотъ они шпагу надъ

нимъ ломаютъ... Какъ же! Все у меня есть... Ну, возилъ я въ Лондонъ... Но обсчитался, закупилъ слишкомъ много товару, и вотъ осталось нераспроданнымъ... Теперь ходу ему нѣтъ. Не знаю, куда все это дѣть. Видите, гніетъ... А вотъ переѣзжаю, такъ тащи съ собой... Бросить все-таки жалко,—тутъ же вотъ можетъ больше, чѣмъ на сто или полтораста франковъ товару; а таскать—на чорта оно?.. Возьмите вотъ себѣ, пожалуйста! Нате вамъ,—нехай Жоресъ, и Эмиля возьмите... Вы не безпокойтесь, берите, берите!.. Все равно же выкинуть надо, никакой цѣны не имѣетъ...

Надѣливъ гостя полудюжиной избранныхъ открытокъ, Бернштейнъ отодвинулъ въ сторону чемоданъ и, вздохнувъ, продолжалъ:

— Не имѣю до торговли таланта!.. Вотъ тутъ я выбралъ себѣ кокосъ. Зачѣмъ мнѣ нуженъ былъ кокосъ, я васъ спрошу? Кокосъ тяжелый, и весь заработокъ уходитъ на перевозку... Я какъ-то и не видѣлъ этого, не могъ сообразить... И дѣло шло плохо... Ну, къ тому же и разговору у меня такого нѣтъ, какъ у хорошаго лавочника. Я человѣкъ старомодницкій... Совсѣмъ не шла торговля, а семейство однако было порядочное, дѣти, кормить надо... Я и поступилъ тогда на chevaux de bois... Кажется, карусель это по-русски?.. Уй-уй-уй, какая это работа!—вдругъ оживляясь, вскрикнулъ Бернштейнъ,—хуже каторжной!.. Насядутъ, понимаете, на деревянные коняки сорокъ человѣкъ, пятьдесятъ человѣкъ... я знаю?.. сядутъ, а ты верти. Ну, извѣстно, навалишься грудемъ, руками тоже, ноги отставишь назадъ, упрешься... весь кровь сейчасъ тебѣ въ голову, въ

глаза, и кажется, что вотъ сейчасъ брызнетъ кровь изъ глазъ, какъ вода изъ поливальника... Въ икрахъ иголки, сердце распухнетъ, — стукъ-стукъ! стукъ-стукъ!.. разрывается. Ну прямо невозможно! И самое невозможное—это пока карусель тронется!.. Уже потомъ, уже когда вертится,—какъ будто ничего, легче. Но пока сдвинется съ мѣста,—я вамъ по совѣсти скажу,—это таки ужасно!.

Старикъ поднялъ кверху брови и вытаращилъ глаза. Видно было, что одно воспоминаніе о пережитомъ страданіи наполняетъ его страхомъ и болью.

— Это таки настоящій ужасъ!—прошепталъ онъ.— Это работа для коня, а дѣлаетъ человѣкъ. Мнѣ, правда, помогалъ негръ одинъ. Но онъ почти всегда былъ пьянъ—вѣдь негръ!.. И все падало на меня одного... Наляжешь вотъ такъ вотъ на столбъ, и сейчасъ все тебѣ въ середкѣ и затрясется... Потъ льетъ такъ, что все тѣло и голова... ну какъ будто вотъ сейчасъ изъ ванны вылѣзъ... Задыхаешься, а въ горло тебѣ все равно что толкачъ всунули и толкутъ, какъ въ ступѣ. Музыка,—знаете, органъ себѣ такой тамъ былъ,—та-ра-ра, та-ра-рамъ-бамъ-бамъ, та-ра-ра... Марсельеза, польки, вальсы, разные марши... Люди, которые катаются, веселы, шуткуютъ, смѣются,—извѣстно, они жъ для удовольствія... Они смѣются, а я себѣ за занавѣской... пихаю свой столбъ... Я пихаю, а изъ меня жизнь выпихаетъ... Негръ пьяный, валяется въ кутку и ругается по-англійски, по-негрски, а я бѣгаю по кругу, извините, въ однихъ сподникахъ и чувствую, что смерть—вотъ она! Передъ глазами стоитъ! Уходитъ душа изъ тѣла, и кончено!.. Умираю, и кончено!.. Ну, бѣгалъ я, бѣгалъ,

а потомъ, извѣстно, разорвалъ себѣ внутренность. Кровь на эту самую карусель изо рта какъ хлюпнетъ—ого! мое почтеніе! И пьянаго негра захлюпала... Онъ сердится, кричитъ мнѣ: „колюбачхара!“ „колюбачхара!“... А по-негрски это все равно, что chameau по-французски, или по-русски, какъ бы сказать, „ахъ ты сукинъ сынъ“!.. Когда жъ онъ пьяный! Какъ стелька же! Ну что?..

Грустная и какъ бы о чемъ-то просящая улыбка появилась на лицѣ Бернштейна.

— Что вамъ сказать, мой дорогой другъ,—нараспѣвъ протянулъ онъ, подсаживаясь къ Ивану Михайловичу и осторожно трогая его за рукавъ.—Зачѣмъ я вамъ буду описывать свои страданія?.. Про нихъ можно столько книгъ написать, сколько есть въ Талмудѣ. Только что? Для чего? Что я у Бога за цаца такая, чтобъ именно про меня разговаривать?.. Я мучился? Каждый еврей мучается! Вотъ смотрю на васъ и вижу, что и вы тоже не всегда рыбу съ хрѣномъ ѣли, а таки доставался вамъ большею частью одинъ только хрѣнъ.

„Эге! принимаетъ меня за еврея,—подумалъ Бородинъ, едва сдерживая улыбку.—Ну хорошо... это очень хорошо... не будетъ чуждаться“.

У него было доброе, теплое чувство къ Бернштейну, являлся большой интересъ къ нему, и теперь онъ ужъ былъ доволенъ, что нѣтъ сегодня лекціи, что вмѣсто нея довелось слушать разсказы и признанія этого довѣрчиваго страннаго старичка.

Маленькая лампочка, на которой не было стекла, скудно освѣщала просторное треугольное помѣщеніе, больше походившее на чуланъ, чѣмъ на ком-

нату. Грязные, мокрые клочья обоевъ на темныхъ, дурно пахнувшихъ стѣнахъ свѣшивались внизъ, и это напоминало огромные пластыри, наполовину содранные съ гнойныхъ, кровоточащихъ ранъ. Поближе къ лампочкѣ виденъ былъ полъ, асфальтовый, изборожденный трещинами, вздувшійся кверху круглыми буграми. Въ лѣвомъ углу, подлѣ водопроводнаго крана, стояла черная классная доска съ полустертыми мѣловыми чертежами и цифрами. Пачки книгъ, перевязанныя бечевками, и длинные свертки географическихъ картъ лежали на подоконникѣ и на полу, а въ глубинѣ комнаты изъ густого безмолвнаго мрака смутной массой выдѣлялась гора наваленныхъ одна на другую скамеекъ. Не сразу можно было понять, что это скамьи: видны были неопредѣленныя спутанныя очертанія, а ножки, чернѣвшія подъ самымъ потолкомъ, казались судорожно протянутыми человѣческими руками; и приходило въ голову, что тамъ, впотьмахъ, какіе-то невѣдомые люди, страдающіе и обиженные, уже умершими голосами молятъ о спасеніи... „Народный университетъ“!.. Въ этотъ угрюмый и затхлый сарай люди бѣдные, люди темные, люди усталые и изможденные, урывая часъ у недолгаго отдыха, приходили въ алканіи свѣта, въ жаждѣ познаній, и получали скудныя крохи, печальные, несвязные обрывки. И уносили обрывки съ собой—на фабрики, въ мастерскія, въ свои смрадныя лавчонки, и тамъ, подъ грохотъ вертящихся колесъ, подъ докучливое выторговываніе покупателя, неопредѣленно грезили объ услышанномъ, и тихимъ лучомъ сіяло оно имъ, и ароматомъ весны обвѣвало ихъ скорбную, горькую жизнь.

VI.

Опять со двора донеслись вопли ребенка, котораго били, и съ ними вмѣстѣ чьи-то изступленныя проклятія. Глухо и дробно стучалъ за стѣной моторъ.

— Главная обида моя не въ томъ, что я много страдалъ и что были разныя обстоятельства,—заговорилъ Бернштейнъ, поднимаясь:—досадно мнѣ то, что вотъ столько лѣтъ я прожилъ, а настоящей себѣ цѣли не понималъ... Человѣку не видно! Человѣкъ живетъ, какъ въ сундукѣ запертый... Считалъ я, что надо деньги заработать, семейство прокормить... Ну, конечно, что говорить! Это таки надо. Не ѣвши развѣ возможно? Но гдѣ лежитъ самое настоящее гдѣ находится самый твердый пунктъ,—это я узналъ только теперь, когда добился до этого université... Вотъ посмотрите: мнѣ шестьдесятъ три года, жена и дѣти мои всѣ вымерли; въ Марсели, въ Могилевѣ, въ Филадельфіи,—вездѣ у меня есть родныя могилы... Какая бы теперь была моя жизнь?.. Безъ всякаго пункта. А я ничего, я доволенъ. Я имѣю себѣ свое мѣсто... Я тутъ прибираю, мою полъ, окошки, печку топлю, разношу повѣстки, объявленія,—мало хлопотъ? Вотъ вы пришли, я даю справку и все... Я цѣлый день занятъ, до одиннадцати часовъ ночи... Извѣстно, будь я помоложе, я бы справлялся раньше, ну, а когда силы ужъ мало, то я себѣ тупъ-тупъ, тупъ-тупъ, по-стариковски...

— Гдѣ же вы собственно живете?

— А вотъ тутъ же, вотъ! Въ кутку! На скамейкѣ и сплю себѣ. Тутъ есть одна скамейка поширче, очень хорошая скамейка .. А вотъ есть печка, тутъ

я себѣ варю обѣдъ. Замѣчательный супъ могу сдѣлать... Я тутъ полный хозяинъ. И когда лекція, я смотрю за порядкомъ,—кому карандашъ, кому программу, кому что... Разумѣется, я могъ бы чище содержать, но надо же все-таки на хлѣбъ. Ну, такъ приходится еще часокъ для еврейскаго театра работать, афишки расклеивать.

— Но вѣдь... я не понимаю: вѣдь вамъ немного нужно. Неужели университетъ не даетъ вамъ достаточно, чтобы вы могли прожить?

Бернштейнъ строго и съ оттѣнкомъ пренебреженія посмотрѣлъ на Ивана Михайловича.

— Вы спрашиваете, какъ дитя. Что это, Сорбонна? Université для бѣдныхъ, и самъ бѣдный. Онъ не можетъ платить жалованья. Тутъ другой разъ и вытопить нечѣмъ... Люди приходятъ учиться, а холодъ такой, что у-ва! Ну такъ что же? Такъ, можетъ быть, вы скажете, что не надо покупать угля? Ну, если есть въ карманѣ свои десять су, такъ побѣжишь въ лавочку и таки принесешь... Десять су нетрудно заработать: расклеишь полсотни афишъ или тамъ одинъ вечеръ билеты будешь отбирать при театрѣ—и готово... Ничего, живешь и работаешь. И таки каждый день я радуюсь, что Господь Богъ мнѣ даритъ жизнь и что я еще могу здѣсь служить. Да... А вотъ когда уже сдѣлается такъ, что такой université можно будетъ открыть въ Россіи, тогда ужъ и совсѣмъ будетъ хорошо.

— Зачѣмъ же вамъ это?

— Какъ! Мнѣ зачѣмъ?—Бернштейнъ удивленно посмотрѣлъ на Бородина.—Ну-ну! Вотъ тебѣ и вопросъ!

Онъ заложилъ руки за спину и, глухо стуча тя-

желою обувью по асфальту, прошелся между ящикомъ, гдѣ стояла лампочка, и классной доской. Подойдя затѣмъ къ Ивану Михайловичу, онъ тихо и какъ-то особенно внушительно проговорилъ:

— Какъ только окажется возможнымъ открытіе такихъ université въ Россіи, я сейчасъ же туда уѣду, сейчасъ же!..

Старикъ сгребъ въ правую руку свою бороду, лѣвою ухватился за локоть правой и строгими глазами впился въ Бородина. А Иванъ Михайловичъ смотрѣлъ на стараго еврея съ все возрастающимъ любопытствомъ. До этой минуты Бернштейнъ представлялся ему мягкимъ, кроткимъ, тихимъ существомъ. Теперь же въ немъ сверкнуло что-то новое, что-то рѣзкое и упрямое... Бородину захотѣлось испытать старика, заставить его высказаться полнѣе. Иванъ Михайловичъ вспомнилъ, что старый сторожъ принимаетъ его за еврея, и вздумалъ воспользоваться выгодой, которую представляло это положеніе.

— Не понимаю,—сказалъ онъ.—Вернуться въ Россію, гдѣ насъ мучатъ и преслѣдуютъ... Ни за что я бы туда не поѣхалъ.

На лицѣ Бернштейна появилась нетерпѣливая, почти брезгливая гримаса, и онъ вздернулъ плечами.

— Ну да, знаю... извѣстное уже разсужденіе. Но вѣдь если правительство насъ мучитъ и преслѣдуетъ, то вѣдь это для Россіи все равно что какой-нибудь болѣзнь, какъ чахотка!—внезапно воспламеняясь, вскрикнулъ онъ.—И что же по-вашему выходитъ? По-вашему, значитъ, выходитъ, что если у меня есть мать и ее точитъ чахотка, то я долженъ мою мать возненавидѣть и убѣжать отъ нея?

— Вы такъ и сдѣлали, — сказалъ Бородинъ. — И сдѣлали очень хорошо. Потому что, если надъ вашей головой постоянно поднятъ кулакъ...

— То я долженъ этотъ кулакъ разжать,—поспѣшно перебилъ Бернштейнъ.

— А если разжать нельзя?

— То я долженъ этотъ кулакъ разбить!

— Не разобьете!

— Разобьемъ! Разобьемъ!.. Если не разобьемъ, то зачѣмъ и на свѣтѣ жить, скажите мнѣ? Для чего?.. Вы посмотрите: двѣ тысячи лѣтъ мы скитаемся по землѣ, двѣ тысячи лѣтъ насъ гонятъ, преслѣдуютъ, рвутъ на части, сжигаютъ живыми. Зачѣмъ всѣ эти страданія? Отчего другіе старые народы всѣ погибли и уже имена ихъ забыты, а мы существуемъ!. Почему это такъ, почему?

Старикъ надвигался на Бородина, и голосъ его все повышался.

— Это даромъ, вы думаете, что мы сохраняемся на землѣ? Ни одинъ народъ такъ не преслѣдовали, не терзали, не мучили, какъ насъ, а мы живемъ! Зачѣмъ столько страданій? Это такъ себѣ, вы думаете? Въ этомъ нѣтъ смысла, вы думаете?..Ого! Въ этомъ великій смыслъ, въ этомъ великій и высокій смыслъ!.. Въ этомъ великій секретъ всей жизни!

Головой и плечами Бернштейнъ подался впередъ, руки отвелъ далеко отъ тѣла въ обѣ стороны и пальцы раздвинулъ. Похоже было, что онъ разворачиваетъ широкія невидимыя крылья и собирается ими взмахнуть.

— Какой же секретъ?

— Какой?!—Бернштейнъ оглянулся направо, потомъ

налѣво, и блѣдное старческое лицо его приняло выраженіе гордое, торжественное.

— Ветхій завѣтъ принесъ еврей!—звучнымъ, какъ бы внезапно помолодѣвшимъ голосомъ отчеканилъ онъ.—Новый завѣтъ далъ еврей! И то, что людямъ теперь нужно, самый новѣйшій новый завѣтъ—socialisme, это тоже отъ евреевъ!

Старикъ умолкъ.

— Карлъ Марксъ! Лассаль!—вскрикнулъ онъ потомъ.—И то, что теперь дѣлаютъ евреи въ Россіи,—вы же знаете? Вы же знаете, сколько тамъ падаетъ еврейскихъ головъ!.. И что? И вы думаете, это случайность?.. Оттого что такъ захотѣлъ околоточникъ? Ого, какъ разъ!.. Я вамъ такъ скажу: когда страданія наши сдѣлаются уже совсѣмъ невыносимыми, голова будетъ уже черезчуръ придавлена и кулакъ черезчуръ сильно будетъ бить по головѣ,—мы тогда разобьемъ кулакъ и возьмемъ свободу. И вмѣстѣ съ другими будемъ устанавливать, что сказано въ нашемъ, самомъ послѣднемъ новомъ завѣтѣ. Вотъ!..

Старикъ пріосанился, насколько позволяло ему это его согбенное, дряхлое тѣло. Лѣвую руку онъ опустилъ книзу, правую поднялъ прямо вверхъ. Тѣнь отъ нея, прямая, черная, падала на стѣну и похожа была на огромный незажженный факелъ.

— Вы спросили, отчего я изъ Америки вернулся въ Европу, — началъ опять Бернштейнъ минуту спустя.—Ну что жъ, могу отвѣтить! Прежде не хотѣлъ вамъ сказать, а теперь не стыжусь... Можете себѣ смѣяться... Я не стыжусь... Нисколько!.. Таки оттого вернулся, что хотѣлъ назадъ въ Россію... Тамъ—мое!.. Все мое—тамъ! Тамъ всѣ мои корни.

Мало мы нашей крови, мало мы нашихъ слезъ и пота пролили, чтобы устраивать ее?!. И хоть въ Америкѣ сто разъ хорошо, а у себя, на моей землѣ, мнѣ лучше... Показалось одно время, что затихло въ Россіи насчетъ евреевъ, вѣтерочекъ другой какъ будто подулъ,—ну я и пустился домой... Таки смѣялись надо мной, если вамъ сказать, отговаривали и дуракомъ меня называли, а я пустился... Не успѣлъ пріѣхать въ Гавръ—новые погромы! И какъ разъ же въ Мелкой Пристани, въ моемъ городкѣ... Ну, я остался... Конечно! Если бы я добился вотъ до такого université, когда былъ помоложе, и все понималъ бы, какъ теперь понимаю, я бы не оставался здѣсь!.. Хорошо я себѣ уѣхалъ изъ Россіи, но весь народъ уѣхать же не можетъ. Значитъ, надо тамъ на мѣстѣ народъ вызволять... Прямо какъ на войнѣ воевать надо. Мое—отдай! отдай!.. Права мои—отдай, свободу—отдай, домъ мой—отдай!.. Освободи, Гаманъ, народъ и землю!.. Прямо пошелъ бы, какъ на войну,—вотъ какъ теперь наша молодежь воюетъ... Воевалъ бы, какъ Маккавей; пока не поймали бы, воевалъ! А поймали бы—ну, вѣшай! вѣшай!.. Только раньше, Гаманъ, я, можетъ быть, еще тебя на девять локтей въ землю зарою!.. Еще посмотримъ!..—Теперь что...—Бернштейнъ развелъ руками.—Шестьдесятъ три года, плохо вижу, кашляю... кашляю... Какъ порвалъ себѣ тогда на chevaux de bois внутренность, все кашляю... Теперь не гожусь,—а разумъ приходитъ послѣ жизни... На настоящее теперь уже не гожусь... Ну, а что умѣю, то и буду себѣ дѣлать... Самое подходящее дѣло для меня—это таки вотъ такой народный université... Но только чтобы не здѣсь, а тамъ, въ Россіи,

у меня дома... Ну, Богъ дастъ еще доживу: теперь скоро!..

Иванъ Михайловичъ задумчиво уставился на стараго еврея.

Какъ и въ узкомъ залѣ таверны на Avenue de Choisy, гдѣ сходилась русская революціонная молодежь, онъ испытывалъ особенное свѣтлое, бодрящее чувство. Жизнь не безполезно прошла, страданія не даромъ выстраданы, и кровь, которая сочилась на рукахъ и ногахъ подъ желѣзомъ цѣпей, не на мертвые упала камни. Она брызнула далеко, въ чуткія сердца, молодыя и старыя, и ихъ зажгла гнѣвомъ и страстью... И старый борецъ, рвавшійся къ новымъ битвамъ, съ тихой улыбкой смотрѣлъ на Моисея Бернштейна, и сердце его дрожало отъ свѣтлаго, чистаго счастья...

И старикъ, и Бородинъ молчали.

Маленькая лампочка, на которой не было стекла, слабо освѣщала блѣдныя, изможденныя лица двухъ союзниковъ, и легкій дымокъ отъ нея, какъ отъ угодной Богу жертвы, тонкой струйкой подымался прямо вверхъ...

Давидъ Айзманъ.

Въ сторонѣ.

Какъ надоѣла мнѣ эта станція! Сколько разъ возвращался я на нее послѣ тщетныхъ поисковъ своего мѣста въ жизни... Всего какихъ-нибудь сто верстъ до родного Верейска, а поѣзда иногда приходится ждать цѣлыя сутки. Стараешься не смотрѣть въ окно: веселаго ничего не увидишь. Рѣдкіе повырубленные лѣса да ржавыя, покрытыя какими-то жирными пятнами, вóды.

Тяжело проводить здѣсь ночь.

Тушатся огни. Только въ багажномъ отдѣленіи мутно свѣтитъ желтый газовый полумѣсяцъ. На лавкахъ, на стойкѣ опустѣвшаго буфета спятъ люди; безпокойно мечутся они на грязномъ полу, вздыхаютъ, плюютъ; нѣкоторые бредятъ.

У окна стоитъ береза безъ листьевъ и все стучитъ, все стучитъ своими тонкими голыми вѣтвями, будто проситъ пріюта отъ ночи...

Выйдешь на платформу. Пусто. Отъ шаговъ по инею въ два ряда ложатся слѣды. Гдѣ-то близко дымится болото...

* * *

Въ двухъ верстахъ отъ станціи лежитъ мѣстечко Зеленка—котловина, застроенная сѣрыми домиками.

Какъ слѣпыя, глядятъ на Божій свѣтъ квадратныя оконца; отливаютъ темно-зеленой водой. Поздно вечеромъ, когда гаснутъ на небѣ тлѣющіе края облаковъ и какъ бы густо покрываются пепломъ, стекла въ Зеленкѣ на мигъ блеснутъ нестерпимо знойно и ярко, словно надеждой зажгутся, бѣшеной страстью, порывомъ, а кругомъ ужъ такъ мрачно, тоскливо... Откуда этотъ свѣтъ?

Каждый дворъ обнесенъ рѣдкой изгородью. Въ облачные дни на ея верхней погнувшейся жерди помѣщается вся домашняя птица. Сидитъ, нахохлившись, по цѣлымъ часамъ и, прищуривъ красные глаза, думаетъ свои куриныя думы. Иногда молодой пѣтушокъ, почувствовавъ въ себѣ какое-то смутное влеченіе, вдругъ звонко ударитъ короткими крыльями и, потерявъ равновѣсіе, съ крикомъ слетаетъ на землю.

Грязныя, оборванныя дѣти, съ блѣдными кроткими личиками, играютъ на старомъ крыльцѣ, но такъ тихо, будто боятся кого-то разбудить. Цѣлый день они почти не сходятъ съ крыльца, наблюдаютъ, думаютъ.

Всѣ неподвижные предметы дѣти называютъ „холодными“.

Въ цвѣтахъ, по ихъ мнѣнію, несравненно болѣе жизни и даже движенія, чѣмъ, напримѣръ, въ кошкѣ; а въ камнѣ, внутри, въ сердцевинѣ, непремѣнно желтая вода...

Но поздно. Солнце склоняетъ усталую голову. Грустными стали елочки...

— Есть ли у нихъ мама? Родныя ли онѣ между собой? Какъ говорятъ? Корнями?

Задымилась роса.

Несъ медвѣдь изъ лѣсу
два ведра съ водою,
встрѣтилъ дѣвицу,
пролилъ водицу...

Пора спать. Въ темной комнатѣ ужъ постланы дѣтямъ какъ паутина мягкія и безцвѣтныя тряпки.

— Постоимъ еще немного...

Дѣти держатся за руки.

На туманное небо выплываетъ луна.

— Смотри: пуговица, большая, перламутровая... пришита къ небу.

Свистокъ. Совсѣмъ близко пролетѣлъ поѣздъ въ искрахъ, въ клубахъ дыма...

Весело, хотя немного жутко. У красныхъ оконъ вагоновъ мелькнули тѣни, чьи-то лица...

Пути не видать. Путь давно уже скрытъ бѣлымъ облакомъ, вставшимъ съ болота. Поѣздъ смѣло несется по воздуху; какъ змѣя извивается онъ; но дѣти не видятъ въ этомъ ничего страннаго.

— Слышь: стучитъ по желѣзному мостику...

Подъ мостомъ протекаетъ чистый ручеекъ, а на днѣ его при яркомъ дневномъ свѣтѣ дрожатъ и прыгаютъ маленькіе круглые камешки. Каждый изъ нихъ у всѣхъ на глазахъ описываетъ длинную волнообразную линію и въ то же время не трогается съ мѣста.

Хитрые камешки! Когда ходишь по нимъ босикомъ, они вдругъ становятся ребрышками, колютъ ногу и залѣзаютъ между пальцами...

Впрочемъ, дѣти рѣдко бываютъ у ручья: ихъ никуда не тянетъ со стараго крыльца, можетъ быть,

потому, что передъ глазами нѣтъ дали, а вѣдь только она воспитываетъ въ человѣкѣ бродягу; нѣтъ тропинки, которая бы терялась за синей горой.

Дѣтей не покидаетъ тихое раздумье.

Какъ открыть темную душу предметовъ?

Непреодолимая трудность познанія заключается въ томъ, что явленія не повторяются, даже всплески воды не похожи одинъ на другой. Взять хотя бы этотъ самый ручей. Иной разъ волна, далеко забѣгая на берегъ, горько жалуется на что-то, а то вдругъ неожиданно засмѣется и, только замѣтивъ, что на берегу стоятъ дѣти, становится опять серьезной и хмурой... Скрытная она!..

Но поздно.

Давно потонулъ уже поѣздъ.

Погасла послѣдняя искра—упала въ поле и сразу исчезла, будто провалилась сквозь землю. Тихо кругомъ. Спятъ люди, голодные, робкіе. Спитъ и ветхая синагога на краю мѣстечка, и кладбище спитъ. Прижались къ землѣ бѣлые камни. На дѣтскихъ могилахъ стоятъ пустыя сѣрыя зыбки—трогательный памятникъ любви и бѣдности! Пусть сторожатъ сонъ малютокъ...

* * *

Каждую субботу послѣ обѣда все мѣстечко отправляется на станцію. Въ ожиданіи поѣзда мужчины степенно разгуливаютъ на платформѣ, заложивъ руки за спину. Въ тысячный разъ осматриваютъ они стоящій подъ навѣсомъ пожарный обозъ и вслухъ по складамъ читаютъ знакомое объявленіе: „вы-ходъ до звон-ка вос-пре-ща-ет-ся“. Женщины ходятъ отдѣльными группами; иногда чему-то смѣются.

Вотъ ужъ и Игнатъ пріѣхалъ—старикъ-почтальонъ. Сбоку у него привѣшена большая неуклюжая сабля. Она мѣшаетъ ему ходить—все попадаетъ подъ ноги. Вмѣстѣ съ ямщикомъ Игнатъ снимаетъ съ телѣжки кожаный порыжѣвшій мѣшокъ, на которомъ, какъ цѣпи колодника, безпокойно звенятъ желѣзныя кольца.

Звонокъ.

Это поѣздъ вышелъ съ ближайшей станціи. Зеленовцы насторожились; нѣкоторые даже волнуются, поминутно смотрятъ въ ту сторону, откуда онъ долженъ прибыть. Ждать-то собственно никого не ждутъ—кто заѣдетъ въ такую глушь? — никого и не провожаютъ. Такъ, вообще...

— Пусть незнакомые, все же люди... Право, бываютъ симпатичныя лица...

Во время прихода поѣзда толкотня стоитъ страшная; нашихъ зеленовцевъ мѣсятъ прямо какъ тѣсто, но они, конечно, не обижаются. Кажется зеленовцамъ, что и они вовлечены въ какое-то общее и нужное дѣло. Тоже суетятся, бѣгаютъ...

— Смотри: цѣлый вагонъ учениковъ... Какой однако смѣхъ задорный!..

Смѣются и зеленовцы.

Въ окна видно, какъ народъ расположился удобно. На поднятыхъ верхнихъ скамейкахъ лежатъ бѣлыя подушки, мягкія цвѣтныя одѣяла.

Ровная пріятная теплота проникаетъ въ сердце зеленовца, точно рюмку пейсаховки выпилъ. Онъ тоже понѣжиться не прочь — поваляться на подушкахъ этихъ да на диванахъ...

Но поѣздъ скоро уносится. Платформа сразу пу-

стѣетъ. Сиротливо стоитъ только одинъ мужичокъ съ мѣшкомъ на плечѣ. Безбилетный онъ, вотъ и высадили... Разводитъ руками.

Гуськомъ потянулись зеленовцы во-свояси. Почти не говорятъ межъ собой и головы низко опустили.

Бродитъ какая-то мысль смутная, бродитъ кругомъ— и въ темнѣющихъ поляхъ, и на тускломъ небѣ; вырастаетъ какъ тѣнь безформенная, пересѣкаетъ дорогу и опять расплывается.

А Зеленка спряталась въ котловину; не видать ея въ туманѣ. На горизонтѣ темнѣетъ странное дерево съ короткими и толстыми вѣтвями, словно распростертая рука съ подрубленными пальцами.

* * *

Поѣзда приходятъ и уходятъ. Гдѣ-то, видно, жизнь настоящая, но къ берегамъ Зеленки почти не докатываются ея волны,—такъ только тихіе всплески, будто рыба ночная изъ кустовъ въ воду бросилась... И круговъ никакихъ не видать...

Откуда-то война нахлынула. Изъ мѣстечка угнали двухъ семейныхъ евреевъ. Вся Зеленка провожала своихъ. Исчезли. Даже извѣстій нѣтъ. Пришло письмо одно, да и то странное очень и чужой рукой написано, про непорядки какіе-то, про горе общее,—а Зеленка развѣ можетъ помочь чѣмъ-нибудь?

Потомъ ящикъ обратно пришелъ, деревянный, крашеный, съ небольшимъ мѣднымъ замочкомъ. Въ немъ тряпки старыя, сапоги безъ подошвъ, перочинный ножичекъ. Померъ, должно быть, солдатъ... Мать думала похоронить ящикъ на кладбищѣ, но вѣдь это

все-таки не человѣкъ, а его рубаха, его портки... Молчатъ они, сколько ни спрашивай...

— Гдѣ же самъ Янкель? Какъ онъ насчетъ семьи полагаетъ?..

И стоитъ ящикъ среди пустой комнаты. Вокругъ него, на полу, играютъ дѣти Янкеля, стучатъ въ крышку...

Странное творится теперь въ этомъ домѣ...

Среди ночи встаютъ женщины,—кажется, жена и мать несчастнаго.

На запотѣвшемъ окнѣ показывается нѣжно-голубое пятно отъ зажженнаго огарка, будто въ теплый зимній день оттаиваетъ льдистое стекло...

* * *

Вдругъ перестали ходить поѣзда. Ни одного... Станція погрузилась въ молчаніе, но это не спокойно-торжественная тишина, какая бываетъ въ очень свѣтлыхъ и убранныхъ комнатахъ въ ожиданіи уѣхавшей къ вѣнцу невѣсты...

Говорятъ: „забастовка“!

Зеленовцы стали безпокоиться. Каждый день отправляются они на вокзалъ. Пусто. И служащихъ не видно...

Но самое необычайное—это, конечно, паровозъ на пути, холодный, безъ огней. Онъ кажется огромнымъ трупомъ невиданнаго чудовища. Всѣ части его потускнѣли. Зеленовцы рѣшили изслѣдовать механизмъ колесъ; сначала коснулись только кончиками пальцевъ и отбѣжали въ сторону—на всякій случай. Но паровозъ не подавалъ признаковъ жизни, и зеленовцы стали смѣлѣе...

Очевидно произошла страшная катастрофа: всѣ поѣзда съ вагонами и людьми ушли въ глубь взволнованной стихіи, одинъ только здѣсь остался, какъ мертвая рыба, выброшенная моремъ на берегъ.

Постоятъ-постоятъ зеленовцы, и тоскливо побредутъ въ свое мѣстечко.

По ночамъ не горитъ на мосту красный фонарь... Странно!..

Что-то большое и загадочное ходитъ совсѣмъ близко; вотъ, думается, завернетъ и въ Зеленку. Но шаги терялись за болотомъ, за зелеными елями...

Раньше ложатся они спать, а дѣти, играя, говорятъ еще тише...

Разъ ночью пронесся поѣздъ съ солдатами. Какъ тяжелые камни, вылетали изъ открытыхъ оконъ пьяная ругань, а хохотъ и пѣсни дико звенѣли въ поляхъ, въ лѣсу...

Паровозъ кому-то угрожающе свистнулъ: „Ну-ну!“

— Что бы это значило?..

* * *

Пришло извѣстіе: сынъ единственнаго мѣстнаго богача убитъ въ большомъ городѣ, и не одинъ онъ...

Отецъ за два дня посѣдѣлъ, сгорбился.

Разсказывали: прочелъ письмо это, бросилъ его почему-то на полъ и ногами капризно затопалъ:

— Не хочу! Не хочу!

А сына всѣ знали въ Зеленкѣ: простой, добрый... учился гдѣ-то... Онъ встаетъ теперь въ памяти зеленовцевъ совсѣмъ маленькимъ, въ темно-коричне-

вой бархатной курткѣ, съ широкимъ бѣлымъ отложнымъ воротникомъ. Какая потѣшная шейка — длинная да тонкая.

— Графское дитя, деликатное...

И, можетъ быть, именно по этой тонкой шейкѣ...

Гибкій былъ мальчикъ, словно зеленый тростникъ на болотѣ!

Все будто къ чему-то прислушивался: не позовутъ ли?.. Вотъ и позвали... въ городъ... на смерть...

— За счастье всего народа!..

А! Кто сказалъ это?

Вѣтеръ донесъ изъ большого города?

Нѣтъ, тихо кругомъ...

Кажется, такъ говорила старая газета, случайно попавшая въ мѣстечко—кто-то бросилъ ее изъ окна вагона.

— За народъ... за насъ значитъ... И вдругъ смерть?..

Зеленовцы вспомнили поѣздъ съ солдатами...

Недѣлю тому назадъ они слышали еще заглушенные разстояніемъ выстрѣлы, будто пузыри гдѣ-то лопались. Это на сосѣднемъ заводѣ. Бунтъ, что ли...

— Убиваютъ...

Странно въ этомъ мірѣ, и одиноко, и жутко! Гдѣ-то льется кровь, люди зовутъ на помощь, изъ мертвой ночи машутъ слабѣющей рукой: можетъ быть, близкіе люди, дѣти мѣстечка... Тяжелыя предчувствія окутываютъ душу зеленовца особенно ночью, когда съ болота подымается сизая пелена и закрываетъ и лѣсъ, и станцію, и узкую дорогу, обнесенную березками.

Круглая площадь мѣстечка кажется заброшеннымъ островомъ. Безшумно струится бѣлая влага, и чувствуетъ сердце, что близко-близко отъ берега проходятъ корабли; на нихъ тоскуетъ кто-то родной, уходящій навѣки въ эту бѣлую тьму,—да, да, бѣлую! Здѣсь тьма стала бѣлой, какъ снѣгъ, и небо бѣлое спустилось здѣсь почти до кустовъ... Слышно, какъ дышитъ оно...

К. Бархинъ.

Повѣрилъ.

I.

Суббота. Сумерки.

Въ длинномъ полутемномъ притворѣ стараго Бейсъ-Амедриша [1] степенная суета: прихожане собираются на бесѣду. Обычно публика молитвеннаго дома пускается въ пространные разговоры въ промежутокъ между Минхэ и Мааривъ, ранней и поздней вечерней молитвой, когда евреи вообще склонны къ обстоятельному разговору.

Въ этотъ именно часъ человѣку дома не сидится: послѣднюю, третью трапезу священнаго дня, благодареніе Всевышнему, благополучно справили; читать что-нибудь, Талмудъ тамъ или Псалтирь, невозможно: уже сумеречно, а возжечь огонь еще воспрещено,— не пришла еще ночь, не ушла, значитъ, суббота. И спѣшатъ евреи въ синагогу покалякать.

И вотъ притворъ биткомъ набитъ народомъ. Въ широкой рамѣ открытыхъ дверей смотритъ разрисованный пышными красками заката горизонтъ, а надъ нимъ разорванные клочки маленькихъ перламутровыхъ тучекъ.

---

[1] Бейсъ-Амедришъ—молитвенный домъ.

Какъ всегда, засѣданіе открываетъ завзятый политикъ города, торговецъ краснымъ товаромъ, Исрулъ-Эршъ Ханцесъ, кряжистый великанъ съ густою просѣдью въ рыжеватыхъ пейсахъ.

— Шшша-а!

— Пусть ужъ будетъ довольно! Гогочутъ, какъ гуси!

— Тихо! Пусть ужъ будетъ тихо!

Это почитатели Ханцеса стараются унять безпорядочный гомонъ, водворить надлежащій порядокъ и тишину.

— Евреи, садитесь! не шаркайте ногами! не шумите!.. Вотъ онъ сейчасъ начнетъ!..

Народъ со взволнованной торопливостью занимаетъ мѣста на длинныхъ скамьяхъ. Садятся, гдѣ кто успѣлъ: это же коридоръ, а не внутренность храма—мѣста здѣсь вольныя; мѣста тутъ не купленныя, не принадлежатъ опредѣленному прихожанину.

Разсѣлись, примолкли, съ любопытствомъ выжидаютъ. На широкомъ дворѣ теперь ни души, всѣ здѣсь, въ притворѣ. Только служка Бейсъ-Амедриша, ребъ Авреймелъ, тщедушнѣйшій старичокъ въ длинномъ атласномъ сюртукѣ, разсѣянно стоитъ на порогѣ.

Ребъ Авреймелъ любопытенъ, какъ женщина. Правымъ ухомъ онъ старательно ловитъ, прислушивается къ тому, что говоритъ торговецъ краснымъ товаромъ, а глазами недовольно наблюдаетъ потухшіе своды темнѣющей тверди. Служка томительно высматриваетъ, когда на пустынныхъ небесахъ покажется первая звѣзда—достовѣрнѣйшее свидѣтельство, что наступилъ канунъ перваго дня недѣли и начались будни.

Въ публикѣ настороженное движеніе: Исрулъ-Эршъ началъ. Торговецъ краснымъ товаромъ—прозванье ему Зибеле, то-есть семимѣсячный, рожденный на восьмомъ мѣсяцѣ беременности—неторопливо и солидно излагаетъ протекшія за недѣлю событія политической жизни Россіи.

Разговоръ у него идетъ о самомъ крупномъ фактѣ послѣднихъ дней—о проектѣ Булыгинской думы.

Ханцесъ хотя и состоитъ предсѣдателемъ въ одномъ изъ сіонистскихъ кружковъ, тѣмъ не менѣе большой оптимистъ (кромѣ древне-еврейской „Гацефиры", онъ аккуратно читаетъ и „Биржевыя Вѣдомости"). Мѣрно покачиваясь всѣмъ корпусомъ, какъ на молитвѣ, жестикулируя въ тактъ руками и головой, онъ пѣвуче излагаетъ:

— Ѳоня! [1] То-есть, что значитъ Ѳоня?! Вы же его хорошо знаете! Ну, такъ онъ, корова этакая, думаетъ своими нелѣпыми штуками провести, обмануть свѣтъ!

— А-а? Ну? Красивая вещь! Какъ онъ вамъ нравится?

Ораторъ дѣлаетъ насмѣшливый жестъ по направленію къ дверямъ, какъ будто за ними стоитъ тотъ самый „Ѳоня", кого онъ такъ обличительно раздѣлываетъ.

Въ публикѣ слышатся сочувственныя междометія и реплики. Исрулъ-Эршъ видимо польщенъ, онъ самодовольно продолжаетъ:

— И этотъ Булыгинъ!.. Ну, такъ это же мозглякъ!

---

[1] Ѳоня—сокращенное имя Аѳанасія, Аѳоня. Такъ евреи называютъ великоруссовъ, правительство.

Головной человѣкъ! Чтобы, спаси Богъ, его не сглазить! У него же столько ума, сколько у сѣраго козла.

— Да. Но бросимъ уже этого мудреца! Вы должны знать одно: они тамъ всѣ... эти... несмотря на всѣ ихъ хитрости,—такъ они должны будутъ скоро, совсѣмъ, весьма скоро бросить свои воровскія увертки. Ѳоня вынужденъ будетъ перемѣнить курсъ (слово „курсъ“ торговецъ краснымъ товаромъ, какъ заправскій дипломатъ, старается произнести съ нѣмецкимъ акцентомъ). Я говорю такъ: онъ будетъ вынужденъ... Таки его заставятъ!.. Есть такіе, которые могутъ это...

Ханцесъ конспиративно приподымаетъ брови и многозначительно смотритъ на частнаго учителя Хаимъ-Лейба Шойхета.

— Онъ пойдетъ на большія, на значительныя уступки. И дастъ онъ царству самыя первыя права...

— И тогда, если мы съ Божьей помощью доживемъ, вы скажете: Исрулъ-Эршъ таки предвидѣлъ! Исрулъ-Эршъ же предсказалъ!

— И случится оно, повѣрьте мнѣ, гораздо раньше, чѣмъ наступитъ пришествіе Мессіи...

Довольный своей остротой, торговецъ краснымъ товаромъ испускаетъ тонкій, перекатистый смѣшокъ и важно разглаживаетъ свои густые пейсы.

Его почитатели отъ глубокаго наслажденія умильно чмокаютъ губами, а прогорѣвшій экспортеръ, нынѣ преподаватель Талмуда, ребъ Зися Ликварникъ гнѣвно горячится:

— Не тронь Мессію! ты... апикойресъ! [1]

---

[1] Эпикуреецъ—еретикъ.

Бывшій экспортеръ негодующе трясетъ клинообразной бородкой и завитыми въ длинные локоны пейсами.

— Раньше ротъ паскудный пополощи! Вымой, говорю, свою помойницу, а потомъ произнеси священное имя! Это тебѣ первое. Теперь будемъ разбирать второе: рѣчи твои, твою политику, мудрость твою великую...

— Говоришь ты гладко, сладко... Что значитъ? Изъ твоихъ—евреи, да проститъ меня ваша честь!— изъ твоихъ поганыхъ устъ да въ уши Божьи! Хорошо. Пусть ужъ сегодня будетъ такъ. Одно спрошу тебя. Повѣдай мнѣ прямо и открыто: для насъ, я думаю, для евреевъ, что-нибудь будетъ?

— Для дѣтей еврейскихъ, спрашиваю: нѣчто... хоть вотъ эстолько...—Меламедъ прерываетъ себя и толстымъ пальцемъ правой руки возбужденно и быстро отмѣриваетъ половину толстаго пальца лѣвой руки.— Хоть такой кусочекъ удѣлятъ?

Смолкъ, запыхавшись, и выжидательно уставился на Исрулъ-Эрша.

— Что же ты, Зибеле, не отвѣчаешь?

— Смотрите, евреи, прошу васъ! Бисмаркъ-то нашъ притихъ! Онѣмѣлъ, какъ песъ египетскій! А-а? Что вы про него скажете?

И преподаватель Талмуда съ торжествующей злобой вновь уставился на торговца краснымъ товаромъ. Тотъ невозмутимо повелъ затылкомъ и съ афишированнымъ равнодушіемъ набилъ солидной понюшкой широкія ноздри толстаго носа. Затѣмъ дѣловито чихнулъ.

Послѣднимъ пріемомъ Ханцесъ желаетъ показать,

что ему, Исрулъ-Эршу, признанному авторитету въ дипломатіи, ему совершенно не подобаетъ вступать въ споръ съ такимъ грубымъ невѣждой въ области политики, какимъ себя сейчасъ проявилъ прогорѣвшій экспортеръ Зися Ликварникъ.

Среди прихожанъ полное безмолвіе. Евреи явно настроены въ пользу „политика", и преподаватель Талмуда немного обезкураженъ. Онъ отлично понимаетъ, что величавое спокойствіе противника не что иное, какъ тактическій пріемъ; но міръ, люди—они же всегда преклоняются предъ болтливымъ глупцомъ, какъ писали мудрецы наши... Огорченный меламедъ сконфуженно ёрзаетъ на своемъ сидѣньи. Его глаза безпокойно бѣгаютъ по лицамъ прихожанъ: неужели между всѣми этими ослами не найдется ни одного человѣка съ головой?

— А! Частный учитель Шойхетъ! — У ребъ Зиси Ликварника радостно застучало въ сердцѣ.

— Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ—это же человѣкъ съ мыслями... съ пониманіемъ... съ настоящимъ пониманіемъ... Онъ хотя немного того... сошелъ со стези истины, но голова... свѣтлая голова!..

Преподаватель Талмуда порывисто обращается къ частному учителю:

— Господинъ Шойхетъ! Васъ по справедливости считаютъ настоящимъ „маскилемъ" [1]. Конечно. Вы же изъ тѣхъ... изъ демократовъ... Въ газетахъ вы же во сто разъ больше разбираетесь, чѣмъ, извините, какой-нибудь Ханцесъ. Это же мы всѣ превосходно понимаемъ! Ну, такъ скажите же намъ тутъ всѣмъ:

---

[1] Маскилъ—просвѣщенный интеллигентъ.

правду онъ тутъ наболталъ? Изъ всѣхъ его розсказней сбудется ли хоть десятая доля? А? Какъ вы полагаете? — Ребъ Зися Ликварникъ заискивающе смотритъ на частнаго учителя.

Учитель Шойхетъ смущенно снялъ пенснэ, раздумчиво потеръ стекла, надѣлъ ихъ снова. На его тонкихъ губахъ показалась и дрогнула ироническая улыбка. Согнутыми локтями обѣихъ рукъ онъ сдѣлалъ безнадежный жестъ и саркастически проронилъ:

— Какъ я полагаю? Когда я его увижу, я ему скажу! [1]

II.

Частный учитель Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ, атеистъ и легочный больной, посѣщалъ Бейсъ-Амедришъ по привычкѣ. Сталъ онъ ходить сюда съ тѣхъ поръ, когда мѣстные соціалисты признали молитвенный домъ самымъ подходящимъ пунктомъ для агитаціи среди еврейской массы. Частнаго учителя туда и отрядили для пропаганды.

Тогда, за четыре года до этого, юный Шойхетъ глубоко вѣрилъ во всемірное братство работниковъ. Вражды народовъ, племенной розни онъ не признавалъ за существующій фактъ. Все это злобныя выдумки „буржуевъ“. Есть только классовая борьба... Все зависитъ отъ формъ производства... Восемнадцатилѣтній Хаимъ-Лейбъ тогда былъ задорный юноша, мечтательный и пылкій.

Сомнѣнія его одолѣли послѣ неудачнаго хожденія въ народъ. Душевный переломъ произошелъ такъ.

---

[1] Этой фразой жаргонъ выражаетъ полную несбыточность ожидаемаго.

Въ областномъ комитетѣ партіи признали своевременнымъ начать агитацію въ деревнѣ среди сельскохозяйственныхъ батраковъ. Стали подыскивать подходящаго человѣка, и выборъ палъ на Шойхета. На немъ остановились отчасти потому, что какъ разъ въ эту пору здоровье его совершенно расшаталось. Всецѣло поглощенный партійными дѣлами, учитель растерялъ свои уроки, часто голодалъ, плохо одѣвался, простудился, сталъ прихварывать.

Товарищи и полагали: въ деревнѣ, на вольномъ воздухѣ, больной поправитъ свой надорванный организмъ. Въ то же время у него будетъ удобный случай познакомиться съ сельскимъ укладомъ, присмотрѣться къ крестьянскому житью-бытью, изучить условія среды. А потомъ, по выздоровленіи, онъ со свѣжими силами возьмется за работу. Такъ и рѣшили.

Назначили день отъѣзда. Наканунѣ вечеромъ учителя снабдили цѣлымъ мѣшкомъ литературы: летучими листками, брошюрками, прокламаціями. Дали „фальшивку“. На путевые расходы отпустили два рубля двадцать копеекъ,—ровно столько, сколько нужно было уплатить за проѣздъ на пароходѣ. Тамъ еще оставалось верстъ шестнадцать сухопутья, но Хаимъ-Лейбъ взялъ у организаціи только на проѣздъ по рѣкѣ, такъ какъ въ той деревнѣ, куда ему предстояла „командировка“, проживалъ родственникъ жены его дяди,—арендовалъ тамъ графскій лѣсъ. А сынъ этого арендатора, гимназистъ старшихъ классовъ, въ организаціи считался своимъ, былъ извѣстенъ какъ „сочувствующій“. Шойхетъ съ нимъ и списался. И было у нихъ условлено, что въ опредѣ-

ленный день и часъ гимназистъ съ лошадьми будетъ у пристани.

Утромъ въ день отъѣзда Хаимъ-Лейбъ со всѣмъ своимъ багажомъ, то-есть съ двумя перемѣнами бѣлья и литературой, направился къ пассажирской кассѣ за билетомъ. Подошелъ было и опасливо остановился: недалеко отъ кассы, почти у самой сходни, торчала какая-то таинственная фигура. Незамѣтно окинувъ ее съ ногъ до головы, агитаторъ узналъ въ ней переодѣтаго пристава Стеценко. Шойхету даже показалось, что „шпикъ“ его очень внимательно осматриваетъ. Зародилось опасеніе: не узнала ли полиція о предпріятіи, не началась ли слѣжка?

Чтобы провѣрить закравшееся подозрѣніе, учитель рѣшилъ перемѣнить часъ отъѣзда, отложить его на вечеръ до слѣдующаго рейса.

На этотъ разъ все обошлось какъ нельзя лучше; но когда, на другія сутки, пропагандистъ сошелъ съ парохода, у пристани не оказалось ни лошадей, ни гимназиста. Тотъ ждалъ, ждалъ, предположилъ, что съ агитаторомъ случилось неладное, и уѣхалъ.

У Хаимъ-Лейба въ карманѣ не было ни гроша, нанять подводу было не на что, и, взваливъ багажъ на плечо, онъ отправился пѣшкомъ.

Стоялъ пасмурный полдень. Сѣрое небо сѣяло дождемъ. Проселокъ, разбитый, ухабистый, темнѣлъ влажной тропой. Ея края окаймлялись живой оторочкой высокихъ травъ. Сиреневые гибкіе стебли, желтыя усатыя верхушки...

Частный учитель Шойхетъ, сынъ фабричнаго города черты еврейской осѣдлости, впервые очутился на большомъ просторѣ душистой степи. До сего-

дняшняго дня онъ не видѣлъ, какъ въ полѣ зрѣетъ колосъ, не слышалъ, какъ шелестятъ шелковымъ шелестомъ взволнованныя нивы.

Ребенкомъ онъ никогда не рѣшался уходить за городъ: онъ боялся таинственной степи,—тамъ начинались невѣдомые, страшные предѣлы жестокаго гоя. Тамъ гой ловилъ дѣтей еврейскихъ, мучилъ ихъ, заставлялъ креститься, кланяться нелѣпымъ идоламъ...

Только два раза въ годъ—въ Легъ-Боймеръ [1] да въ девятый день мѣсяца аба, въ скорбную годовщину разрушенія Іерусалима,—только тогда его и товарищей водили на полянку у еврейскаго кладбища. Только въ тѣ дни онъ могъ побѣгать, поваляться въ мягкой настилкѣ высокихъ травъ...

Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ безпомощно смотритъ, не знаетъ, какъ ему итти: предъ нимъ разбитая дорога и заросшія поля. Задумался. Рѣшилъ: по травѣ ходить удобнѣй,—тамъ грязи нѣтъ, и пошелъ хлѣбами.

Идетъ. Сверху, изъ невидимаго колодца неба, задернутаго густой завѣсой облаковъ, надоѣдливо-однообразно срываются песочныя нити дождя. Плотно, липкими тряпками обвиваются онѣ вкругъ истощеннаго тѣла. Снизу, у земли, по ногамъ хлещутъ набухшіе отъ воды, сырые стебли, а мѣшокъ съ литературой намокъ, отяжелѣлъ, грузно отвисъ и больно давитъ исхудалое плечо.

Усталъ. Скинулъ грузъ, усѣлся на немъ—немного бы отдохнуть,—подперъ голову руками...

---

[1] Легъ-Боймеръ—праздникъ сжатаго снопа, тридцать третій день, считая со второго дня пасхи.

... Изъ ближней балки вынырнуло нѣсколько арбъ съ сѣномъ. На самомъ верху длинныхъ фуръ, на зеленыхъ копнахъ возсѣдаютъ мужики. У пропагандиста блеснуло радостное соображеніе: мужики—его будущіе ученики... Надо у нихъ спросить, не туда ли ѣдутъ, въ ту самую деревню. Быть можетъ, подвезутъ? По дорогѣ можно попытаться... завяжется знакомство, а потомъ...

... Крестьяне замѣтили человѣка, сидящаго среди пашни, и слѣзли съ возовъ. Подошли ближе, увидѣли потоптанный хлѣбъ, молодого еврея—и вознегодовали.

И между апостоломъ рабочаго класса и его будущими послѣдователями завязывается такой разговоръ:

— Чого ты, матерь твоя сука, своими погаными ногами Божій даръ топчешь? Га-а?

— Какъ это? Что такое?—Юноша въ недоумѣніи поднялся съ своего сидѣнья.

— Ка-акъ е-это? Што тако-е? Поштокался!—Крестьяне гнѣвно передразнили Хаимъ-Лейба.

— Колько тамъ хлѣба попортилъ, и ще спрашиваетъ, пархъ мериканьскій!

— Чего вы отъ меня хотите? Зачѣмъ пристали? Чего вамъ отъ меня нужно? Чего лаетесь?

Учитель возмутился отъ незаслуженнаго оскорбленія. Онъ заикался, задыхался, возбужденно махалъ руками.

— Собака лаетъ, шельма ты некрещеная!

— Гляди, зробилъ людямъ во каку шкоду и, значится, ты не смій ему слова сказать!

— Кричитъ ще, якъ панъ какой-небудь!..

Мужики угрожающе взялись за кнуты.

— Я не нарочно!.. Я не зналъ!.. Первый разъ въ жизни вижу это самое... Колосья... хлѣбъ... Увѣряю васъ!..

Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ сообразилъ, куда попалъ и что надѣлалъ, и искренно огорчился.

— Не видѣлъ, говоришь?—Крестьяне недовѣрчиво повели плечами.

— Увѣряю васъ!.. Увѣряю васъ!.. Я совершенно не такой, чтобы рабочимъ людямъ принести вредъ... портить... Я за народъ!.. Рабочіе всего міра—братья!.. Я...

— Да обожди! Не мазюкай! Отъ залопоталъ, все равно якъ индюкъ. Ты зубы намъ не заговаривай! .

— Ты пойми одно дѣло: якъ же можно, чтобъ чоловікъ, примѣромъ, хліба не видѣлъ?

— Отъ будемъ говорить такъ: ты хлібъ же кушаешь?

— Ну-да!—учитель сконфуженно согласился.

— Отъ жидовска віра! Что жъ ты брешешь, что никогда хліба не видѣлъ?

— Да вре-оть! прямо брешетъ, какъ сукинъ сынъ!

— Дай-ка тамъ ему, Гараська... тімъ батогомъ... чтобъ помнилъ . . . . . .

. . . . . .

III.

Пропагандистъ вошелъ въ село избитый, въ разорванномъ пиджакѣ, въ измокшихъ брюкахъ. Не зналъ, куда итти, какъ разыскать „явку“. Еле плелся. Тошнило, ныли колѣни и тупо кололо въ лѣвомъ боку. А на душѣ было скверно, скверно.

Не такимъ представлялся ему его первый выходъ къ русскому народу.

Въ безсонныя ночи, когда длительный кашель уставалъ рвать больную грудь и въ маленькой комнаткѣ водворялось молчаніе, къ нему, усталому и измученному, приходилъ покой и свѣтлыя, нѣжныя думы. Юноша тогда весь уходилъ въ радужныя мечты, грезилъ о будущей дѣятельности. И въ воображеніи вставала далекая заброшенная деревушка, убогая, робкая. Избы безъ крышъ,—солому скормили голодной скотинѣ,—снѣгъ, пустынныя улички...

Замѣчательная подробность: никогда деревня не приходила къ нему въ свѣтломъ уборѣ весны—съ зелеными садами, радостнымъ пѣніемъ птицъ, съ ворчливой рѣчкой... Нѣтъ. Она всегда являлась бѣдная, въ суровомъ одѣяніи зимы. Лютая стужа... Бѣлые хлопья вьюги... Голодъ. Рѣка въ цѣпкихъ объятіяхъ крѣпкаго льда...

Онъ является туда какъ посолъ города, посолъ пролетаріата. Обездоленнымъ братьямъ онъ принесъ спасительный безцѣнный даръ — великую, благую вѣсть новаго ученія:

Освобожденіе рабочаго класса
должно стать дѣломъ самихъ рабочихъ!

Они, крестьяне, не совсѣмъ его понимаютъ. Но это не важно. Онъ останется у нихъ надолго, чтобы вспахать и засѣять сѣмена классоваго сознанія. Онъ—только пахарь.

Жнецъ придетъ, когда поспѣетъ жатва.

Труденъ этотъ путь. Хаимъ-Лейбъ не тѣшитъ себя иллюзіями. Ждутъ его преслѣдованія властей, гоненія, но они, трудящіеся, пойдутъ за нимъ...

Такъ мечталъ онъ въ ночи безсонныя... И вотъ встрѣча въ хлѣбахъ...

Юноша угрюмо прислонился къ какому-то плетню, стоитъ понуро, горько раздумываетъ.

Между тѣмъ дождь пересталъ. Сѣрая завѣса облаковъ прорвалась въ одномъ мѣстѣ, въ другомъ... И, ныряя въ синихъ прорѣхахъ тучъ, въ ореолѣ золотыхъ лучей выглянуло солнце.

Изъ хатъ шумно выскочили ребятишки и зашлепали босыми ножками по свѣжимъ дождевымъ лужамъ. Бѣгаютъ, барахтаются въ теплой водѣ... вдругъ остановились: наткнулись на чужого человѣка, осмотрѣли его и сразу распознали „жида“. Съ боязливымъ любопытствомъ они осторожно подбираются къ плетню. Подобрались, снова стали, пугливо и плутовато выжидаютъ...

Вотъ какой-то семилѣтній смѣльчакъ состроилъ уморительную гримасу. За нимъ двое другихъ малышей, безъ штановъ, въ однѣхъ рубашонкахъ, сдѣлали изъ подоловъ своихъ сорочекъ свиныя уши. Кто-то погрозилъ сжатымъ кулачкомъ, кто-то показалъ фигу, и черезъ мгновеніе вся ватага малышей шумно издѣвалась надъ евреемъ.

Дѣти дергали его за разорванныя полы пиджака, кидали мокрыми комьями грязи, прыгали и радостно визжали. Сначала прыгали врозь, потомъ ручонками сцѣпились въ широкій живой кругъ. И, быстро кружась въ веселомъ хороводѣ, звонко запѣли дѣтскими, тоненькими голосами:

— Жжжи-идъ, жжидъ!
Като-олы-ыкъ!
Загубы-ы-ывъ
чере-эвы-ыкъ.
А я-а ше-о-олъ

и на-аше-олъ,
да нас..лъ,
да па-аше-олъ.
А жидъ ше-олъ
и на-ше-олъ
и-и съ-ѣ-элъ
и па-аше-олъ.
Жидъ пархатый!
На... распятый!..

Какъ злые чертенята бурно кружились они, высовывая свои маленькіе языки, улюлюкали, плевали.

Пропагандистъ неподвижно застылъ, блѣдный, потрясенный. Ныли колѣни, болѣла голова, слабымъ ударомъ замирало сердце, и въ расширенныхъ зрачкахъ было растерянное недоумѣніе.

Гимназистъ набрелъ на него случайно. Сыну арендатора захотѣлось прогуляться послѣ дождя. Взялъ тросточку, вышелъ, идетъ улицей. Шумное пѣніе дѣтей привлекло его вниманіе. Пошелъ на голоса... Дѣти увидѣли „паныча“ и быстро разсыпались. Гимназистъ повелъ Хаимъ-Лейба домой, къ себѣ. Шли молча. Давила ихъ скорбь, злила обида, и было неловко смотрѣть другъ другу въ глаза.

Гимназистъ считалъ себя виновнымъ: обожди онъ на пристани у парохода нѣсколько лишнихъ часовъ, и этого бы не случилось. Онъ шелъ и все раздумывалъ, какъ замять, чѣмъ исправить то, что сейчасъ произошло. Ему мучительно хочется какъ-нибудь выразить оскорбленному товарищу свое сочувствіе, сказать что-нибудь такое—хорошее, теплое, не банальное... Но въ головѣ сумбуръ и не находится нужное слово.

Онъ отчаялся найти это слово: ужъ лучше ничего не сказать, молчать.

Почему-то вспомнился входъ Іисуса въ Іерусалимъ, и совершенно непроизвольно, какъ бы продолжая думать вслухъ, онъ произнесъ:

— Н-да... Осанна сыну Давида... Помните, какъ дѣти еврейскія Христа встрѣтили?—Сказалъ и тотчасъ же спохватился, неловко оборвалъ, замолкъ.

Хаимъ-Лейбъ круто остановился, болѣзненно посмотрѣлъ на своего спутника и умоляюще зашепталъ:

— Не надо! Ради всего свѣтлаго... ради дѣла нашего... не надо объ этомъ!..

* * *

Пропагандисту не повезло въ деревнѣ. Пытался завязать знакомство съ батраками и малоземельными, войти съ ними въ тѣсныя сношенія, но ничего не выходило. Агитаторъ пробовалъ раза два изложить крестьянамъ аграрную программу партіи. Тщетно. Мужики узнали, что Хаимъ-Лейбъ—тотъ самый „жидъ", который потопталъ у нихъ въ полѣ хлѣбъ, и сторонились его, относились къ нему глухо-враждебно.

Не ладилось дѣло съ пропагандой. И Шойхетъ рѣшилъ уѣхать. Оставаться тутъ только для лѣченія учитель не могъ и не хотѣлъ,—считалъ нечестнымъ. Кромѣ того юноша смутно почуялъ, что въ его неокрѣпшемъ міровоззрѣніи что-то стало неяснымъ, спуталось. Необходимо было разобраться въ этомъ новомъ настроеніи: частный учитель Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ былъ глубоко честная натура—ни предъ другими, ни предъ самимъ собой онъ никогда не кривилъ душой.

Послѣ двухнедѣльныхъ колебаній онъ оставилъ деревню и вернулся обратно въ городъ. Теперь онъ уединился, сосредоточился, думалъ. И явились сомнѣнія.

Они пришли къ нему робко, застѣнчивыя, но съ каждымъ приходомъ становились смѣлѣе, назойливѣе, безцеремонно рылись въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ души. Высмотрѣли, перерыли, все подвергли суровому сужденію... А силы все больше и больше падали.

Пришлось лечь въ больницу. И здѣсь въ долгія ночи, больныя, одинокія, юношѣ все вспоминалось столкновеніе съ мужиками въ хлѣбахъ, дикая пляска дѣтей у плетня... И въ опустошенномъ сомнѣніями сознаніи зарождались и вырастали темныя мысли, и стало казаться, что вражда народовъ вѣчна, что и новое ученіе соціализма не въ силахъ разрушить высокую стѣну племенной ненависти...

Въ больницѣ онъ пролежалъ четыре мѣсяца, а когда вышелъ, совершенно замкнулся, никуда не показывался, не избѣгалъ, но и не искалъ встрѣчъ съ товарищами. А любовь его къ еврею, ко всему еврейскому все возрастала и стала болѣзненно-острой.

По субботамъ онъ аккуратно посѣщалъ Бейсъ-Амедришъ. Приходилъ въ сумерки, въ промежутокъ между ранней и поздней вечерней, усаживался, слушалъ и молчалъ. И только когда торговецъ краснымъ товаромъ, Исрулъ-Эршъ Ханцесъ, оканчивая свои политическіе обзоры, оптимистически резюмировалъ: „Евреи, все идетъ къ лучшему!“, тогда на тонкихъ губахъ учителя ложилась и передергивалась блѣдная, ироническая улыбка.

IV.

Въ срединѣ октября въ городѣ бастовали конфетныя фабрики (другихъ тамъ не было), ремесленники мастерскихъ, приказчики конторъ и ученики городскихъ школъ.

Восемнадцатаго утромъ (въ день, когда обнародовали указъ о свободахъ) въ городѣ еще ничего не знали. По улицамъ и у конфетныхъ фабрикъ зловѣще гарцовали отряды драгунъ и конныхъ стражниковъ, злобно разгоняли небольшія кучки стачечниковъ и дѣтей-школяровъ.

Стрѣляли залпами, избивали прикладами, топтали лошадьми. Усмиряли.

До двѣнадцати часовъ длилась расправа, а потомъ съ полудня солдатъ не стало.

Видѣли, какъ драгуны во весь опоръ поскакали къ казармамъ и тамъ скрылись. И улицы стояли въ тяжеломъ недоумѣніи: отчего исчезли солдаты? не является ли это отступленіе притворнымъ, военной хитростью? не поѣхали ли за подкрѣпленіями?

Еще вчера, поздно вечеромъ, прошелъ темный слухъ, упорный и зловѣщій: изъ Петербурга военнымъ властямъ по телеграфу приказано принять самыя крутыя мѣры, раздавить движеніе въ прахъ, пустить въ ходъ пушки.

И жители пугливо стали скрываться въ дома. Наглухо заперли окна, двери. Городъ обезлюдѣлъ, опустѣлъ. Лишь кое-гдѣ у полуприкрытыхъ воротъ боязливо высовываются пугливые люди, тревожно высматриваютъ...

... Вдругъ съ пристани, по большому шоссе, гул-

ко пронесся громкій, растерянный возгласъ: „свобода!“

И тотчасъ же на дорогѣ показались извозчичьи дрожки, запряженныя парой. Ѣхали быстро-быстро. На дрожкахъ два молодыхъ еврея, въ пенснэ, въ малиновыхъ галстукахъ, возбужденные, съ сіяющими лицами. Ихъ узнали.

То были извѣстные въ городѣ либералы, служащіе торговаго дома „братья Розенфельдъ и К°“: бухгалтеръ Зильберманъ и кассиръ Гимельфарбъ. Въ рукахъ у либераловъ по длинному печатному листку газетной телеграммы. Черныя громадныя буквы... Зильберманъ и Гимельфарбъ отчаянно машутъ листками и неистово кричатъ:

— Ойлемъ! [1] Слушайте!.. Мазелъ-Товъ!.. Мазелъ-Товъ!.. [2]

Мигомъ ихъ окружили. Настежь распахнулись ворота, окна, двери. Откуда только люди взялись? Тьмы, тысячныя толпы! Молодые и старые, древнія старухи и крошечныя дѣтки. Будто со всѣхъ концовъ земли сбѣжались сюда, чтобы выслушать великую вѣсть освобожденія.

Остановили лошадей. Заставили прочесть вслухъ телеграмму. Нѣсколько разъ заставили читать. Потому что хотѣли, чтобы всѣ знали. Чтобы всѣ повѣрили и убѣдились.

И площади, и улицы, и закоулки, центръ и окраины бурно ликовали:

— Свобода!

---

[1] Ойлемъ—народъ.

[2] Мазелъ-Товъ—хорошее счастье, обычное поздравленіе у евреевъ.

— Свобода!

Городъ весь преобразился. Отъ рабочей слободки и до площади, гдѣ дума, живой свѣтлой гурьбой тянулось радостное шествіе. У синагоги остановились. Служка ребъ Авреймелъ и преподаватель Талмуда ребъ Зися Ликварникъ вошли въ храмъ, торжественно открыли священный ковчегъ, вынули свитки Тойры въ атласныхъ хитонахъ съ шелковыми опоясками, на возглавіяхъ серебряныя короны Божественнаго Знанія и Мудрости нетлѣнной,—взяли драгоцѣнную святыню и двинулись дальше.

Рядомъ съ меламедомъ мирно шествовалъ его противникъ, торговецъ краснымъ товаромъ Исрулъ-Эршъ Ханцесъ. Они шли обнявшись. Во главѣ демонстраціи были дѣти,—много, сотни дѣтей. Празднично разодѣтая, какъ на пасхѣ, съ румянцемъ восторга на маленькихъ щечкахъ, шла эта чудная рать дѣтей, словно сонмъ ангеловъ, шла и серебряными голосами пѣла.

Словъ невозможно было разобрать, да можетъ быть словъ и не было, но мелодія была дивно чарующая, восхитительно прекрасная. Быть можетъ оттого, что ее распѣвали восторженныя дѣти. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось учителю Шойхету. Онъ шагалъ вмѣстѣ съ малютками, плавно махалъ руками, какъ дирижеръ.

На главной улицѣ демонстрація столкнулась съ приставомъ Стеценко. Передніе ряды толпы смѣшались, слегка дрогнули. Но Стеценко доброжелательно улыбался, и толпа оправилась, ободрилась и потекла дальше. У зданія полицейскаго правленія немного задержались. Нѣсколько молодыхъ приказчи-

ковъ и школяровъ кинулись во дворъ участка, захватили тамъ трехцвѣтный флагъ и выволокли его къ народу. Со смѣхомъ оборвали синюю и бѣлую полосы, и во мгновеніе въ прозрачномъ воздухѣ чистаго какъ зеркало дня затрепыхало, зарѣяло красное знамя.

— Ура! Ура! Ура!

Люди шумно аплодировали, обнажили головы... И двѣ дѣвушки, въ бѣлыхъ платьяхъ, съ яркими розами на груди, принесли настоящее знамя, изъ алаго бархата. На пунцовомъ фонѣ въ свѣтлой рамѣ изъ четырехъ серебряныхъ полосъ сверкало золотомъ буквъ:

Р. С.-Д. Р. П.
Пролетаріи всѣхъ странъ,
соединяйтесь!

А подъ этимъ лозунгомъ:

Да здравствуетъ свободная Россія!
Слава павшимъ бойцамъ!

И снова бурное ликованіе, и снова перекатистые, восторженные клики.

На площади у думы открыли митингъ—первое собраніе освобожденныхъ рабовъ подъ открытымъ небомъ.

У Хаимъ-Лейба Шойхета раскрылась душа. Онъ взгромоздился на фонарный столбъ, возбужденно замахалъ руками. Его обступила молодая толпа. И, задыхаясь отъ счастья, съ широкимъ румянцемъ на чахоточныхъ щекахъ, учитель Шойхетъ говорилъ юношамъ и дѣвушкамъ о сомнѣніяхъ и вѣрѣ. Чуткой молодежи онъ взволнованно разсказалъ о тяжкихъ мукахъ черныхъ сомнѣній...

— Они грѣшны и тлетворны. И онъ, бывшій агитаторъ и пропагандистъ, грѣшенъ: онъ весь отдался имъ!..

— Молодую душу колебанія разъѣдаютъ, какъ ржавчина желѣзо... Работать нужно, вѣря, упорно, долго, съ свѣтлымъ упованіемъ на неизбѣжную побѣду добра, на побѣду правды! И какія бы ни случились испытанія, нужно вѣрить! Вѣра нетлѣнна!

— Вѣра—величайшее благо человѣчества! Слава, вѣчная слава вѣрѣ святой!..—Учитель говорилъ, а изъ синяго лона небесъ ласково смотрѣлъ голубоглазый день, улыбалось и трепетало золотыми рѣсницами лучей ликующее солнце . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

* * *

Какъ все это произошло, какъ онъ очутился на перевязочномъ пунктѣ, Хаимъ-Лейбъ ясно не помнитъ: онъ былъ оглушенъ увѣсистымъ камнемъ. Изъ хаоса ужаса и паники у него въ сознаніи ярко запечатлѣлась картина избіенія. Помнитъ хорошо, отчетливо помнитъ, какъ раскрылись ворота церковной ограды (фонарный столбъ, откуда онъ говорилъ, былъ какъ разъ противъ церкви), какъ оттуда выѣхали казаки. Ѣхали степенно, медленнымъ шагомъ, какъ будто не обращали никакого вниманія на митингъ.

Подъѣхали, скромно остановились, вслушиваются въ его слова. Неторопливо спѣшились. Постояли. И внезапно гикнули... ринулись на толпу... Мелькаютъ черные жгуты нагаекъ... Навалились на знамено-

носца... Трещитъ древко... никнетъ великій лозунгъ труда и мірового единенія... Тяжелымъ сапогомъ солдатъ топчетъ нѣжный бархатъ краснаго знамени... Тогда его ударили, и все смѣшалось... Предъ глазами странно кувыркаются черныя птицы. Хаимъ-Лейбъ Шойхетъ растерянно мечется на больничной койкѣ. Сзади него, въ слѣдующемъ ряду лежатъ безъ сознанія тяжело раненые Исрулъ-Эршъ Ханцесъ и ребъ Зися Ликварникъ. Учитель боится обернуться. Ему кажется, что у преподавателя Талмуда глаза открыты, что онъ укоризненно смотритъ и на Исрулъ-Эрша, и на него, что вотъ-вотъ онъ заговоритъ, спроситъ:

— Ну, вы, политики! что вы скажете? Для насъ, для евреевъ, выйдетъ ли изъ этой свадьбы хоть что-нибудь... хоть эстолько..?

И учителю Шойхету жутко-жутко... и нестерпимо жарко. Все его лицо, лобъ и шея горятъ острымъ, колючимъ стыдомъ: онъ, онъ повѣрилъ..!

Н. Осиповичъ.

Мустамяки (Финляндія), 20 марта 1906 г.

Охота.

(съ натуры.)

I.

...Утро проснулось хмурымъ. Было такъ сумрачно, какъ будто ночь не ушла, а стояла гдѣ-то тутъ вблизи, притаившись. И городъ насторожился. Онъ съежился, примолкъ въ пугливомъ ожиданіи. И съ каждымъ часомъ боязнь крѣпла, и съ десяти утра она выросла въ нѣмой страхъ. И пустыя улицы зашумѣли темнымъ шумомъ: появились „сотни“ буйнаго сброда.

Среди нихъ торопливо суетились хищныя фигуры сыщиковъ, подчаски въ длинныхъ шинеляхъ, жандармы.

...Лія ясно помнитъ, какъ это произошло. Сначала заблаговѣстили въ соборѣ, потомъ въ Покровской церкви, въ третьей... въ пятой. Вездѣ въ храмахъ мѣдный бой колоколовъ кричалъ набатомъ. И по мостовымъ встревоженныхъ улицъ потянулись процессіи „патріотовъ“: полицейскіе, подростки окраинъ, шпіоны и чернь. Портреты, иконы, флаги. Трехцвѣтныя полосы вызывающе колыхались въ сѣрой атмосферѣ испуганнаго дня, издѣвались надъ нимъ, драз-

нили. Рѣзкій шорохъ полотна нестройно вплетался въ жужжащій гулъ свирѣпыхъ ватагъ. И пьяное пѣніе молитвъ гремѣло дико, кощунственно.

Процессія остановилась. Мгновеніе недоумѣннаго ожиданія—и со всѣхъ сторонъ раздался скрипучій лязгъ и острый, рѣжущій визгъ. Чудилось, что городъ превратился въ гигантскую бойню и въ ней несмѣтныя толпы мясниковъ острятъ тысячи ножей, топоровъ... Смолкло. Оцѣпенѣлая тишина,—и вновь отовсюду заревѣло, заголосило. Дребезжащій грохотъ—ружейные выстрѣлы, множество, тьма выстрѣловъ. Скрипучій свистъ пуль походилъ на зубовный скрежетъ, словно самъ геній погрома, огромный и красный, скрежеталъ своими отвратительными челюстями... И пули сыпались, сыпались.

II.

Дома застонали разбитыми окнами, проломанными крышами... И тротуары покрылись группами бѣгущихъ. Люди убѣгали молча, съ широкими пятнами страха на бѣлыхъ, бѣлыхъ лицахъ. За убѣгающими неотступно шелъ погромъ съ чернымъ протяжнымъ хохотомъ и обрубленнымъ гоготаньемъ, долгимъ, дикимъ. И ему вторилъ ружейный трескъ, перекатистое буханье, тягучіе, рыдающіе крики, острые крики сознанной гибели, отчаянія...

* * *

Лія торопилась мелкими, бѣгающими шажками робкимъ бѣгомъ испуганной дѣвушки.

Поверхъ драповой кофточки длинный балахонъ „сестры“, на рукавѣ повязка Краснаго Креста. Изъ

подъ шапочки выбились и упрямо лѣзли на высокій лобъ черные локоны курчавыхъ волосъ, пенснэ запотѣло, и голубые глаза затуманились. Не останавливаясь, сняла очки, проворно вытерла стекла и побѣжала дальше.

Гулко перестукивались сердечные тона и надоѣдливо зудѣло въ лѣвомъ ухѣ. Ей было жутко, но она настигла раненыхъ, и робость спряталась, конфузливо ушла на самое дно сознанія.

Старика и его двухлѣтнюю внучку, крошечную дѣвочку съ сморщеннымъ личикомъ и пухлыми губками, нашла въ подвалѣ. Дитя жалобно всплакнуло и отвернулось: не хотѣло къ ней на руки.

Перевязала имъ головы, позвала санитаровъ и вынесли „раненыхъ“. Въ больничную карету усѣлись спѣшно. Развернули знамя отряда—бѣлое поле, посрединѣ красный крестъ.

Двинулись. Медленно двинулись: торопливость можетъ возбудить подозрѣніе.

Неистовый шумъ. Ихъ окружили. Лошадей схватили подъ уздцы, остановили.

— С-с-сто-ой! С-сто-ой!

— А ну-у! Хто тамъ у тебя?

— Это... это раненые... совсѣмъ больные... Старикъ... малютка... крошечка...

Старается говорить спокойно, но въ голосѣ прорывается тоскливая мольба. Мольба трепещетъ и дрожитъ.

— Отпустите... ихъ... добрые люди!—поперхнулась и закашлялась сухимъ, чахоточнымъ кашлемъ.

Толпа подозрительно безмолвствуетъ, злобно смотритъ, вонзилась и сверлитъ ее глазами.

— Пустить? чи што?—Паренекъ, держащій лошадей, черноглазый и въ новомъ пиджакѣ, конфузливо повернулъ русую голову съ мягкими, льняными волосами. Онъ тотчасъ же умолкъ, неловко замолчалъ.

— Ммал-чи, козья дыра! Какая-нибудь вошь и тоже чхаетъ! Ишь двокатъ какой!

— Юхи-имъ, ну-ка тамъ!.. Не!.. стой!.. Отъ я самъ поскублю. Самъ зроблю ревизію.—И метнулъ подслѣповатыми бѣлками, мутными, выпуклыми.

Лія безсознательно зажмурила дрогнувшія вѣки, ея губы судорожно раскрылись и болѣзненно передернулись.

— Не трогайте-э!

Выпрямилась, развернула бѣлое знамя милосердія, покрыла имъ евреевъ. Потомъ вскочила на подставку, загородила собой входъ.

— Вы не должны... Вы христіане!.. Ихъ защищаетъ крестъ!.. Даже турки!..

Ее прервали:

— Кишшш! Пшла къ... шкура жидовская!

— Ето хрестъ жидовскій!

— Што жидовъ? Да ихъ завсегда бить надо. И начальство говоритъ: дозволено.

— Ге-эть, подлюга! — и швырнулъ сжатымъ кулакомъ въ лицо.

— Ггг-гго! Да вонъ жидюга, здоровый! Вонъ, побей мене Богъ, жирный, якъ кабанъ! И байстря... Байстря тоже здоровая!

— Вона, сволочь, фершалка, вона, шельма, вре-оть!

— Давай, давай. Да кидай! Ну-у?

— Хопъ сюды!

— Стой, братцы! Обождить! Спервоначала убьемъ жиденя!

— Да чого зъ имъ хороводиться? Отъ ще мода! Объ колесо—и шабашъ!

... Лія оцѣпенѣла. Мозгъ застылъ въ сѣромъ безразличіи—ни безпокойства, ни надежды. Обрывки мыслей спутанно ползли; почему-то вспомнила, что не одѣла калошъ. Потомъ все замерло. И вдругъ сознаніе лихорадочно пробудилось, заработало, и ужасъ, смертельный, безконечный ужасъ, стегнулъ всю душу.

Отъ висковъ шумнымъ потокомъ отхлынула кровь прямо къ сердцу.

— Что вы дѣлаете-э? Что дѣлаете?

— Изверги!.. Людоѣды!

— Не мазюкай! ш-ш-ша!—Ударъ въ голову сбросилъ ее съ подставки экипажа.

— Убейте меня!.. Убейте меня!.. Раньше меня!..

— Поспѣешь!

Старикъ заметался, рвалъ на себѣ одежду, волосы. Вдругъ онъ увидѣлъ окровавленный трупикъ внучки и судорожно остановился. Изъ его ссохшихся губъ вырвался хриплый пискъ, безпомощный, растерянный, какъ пискъ цыпленка подъ ножомъ. Ротъ остался раскрытымъ, глаза расширились и въ окаменѣлыхъ зрачкахъ мутнымъ стекломъ застрялъ ужасъ безумія . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

III.

— Нну-у, ты, ты, якъ тебе тамъ: сестрица, чи што? Ты убирайсь! Живо-о!

Очнулась и побѣжала. Трррахххъ!..

Рвануло за локоть, обожгло подбородокъ; бѣлую повязку на правой рукѣ залило густыми липкими струйками. Лія остановилась, боится обернуться, и холодѣютъ кончики пальцевъ. Ей зябко, очень зябко. Тоскливо осматривается... Вотъ полуоткрылась калитка насупротивъ. Тревожно заволновалась, метнулась туда, вскочила на лѣстницу, скрылась.

Погоня. Ищутъ. Идутъ обратно. Остановились на площадкѣ.

— Эй! чуешь? Выходи! Не тронемъ. Лучше выходи добромъ. А то спалимъ. Живой сгоришь. Всѣхъ спалимъ изъ-за тебя!

Ее остро кольнуло въ грудь, сжалось сердце... Смерти, быстрой, немедленной смерти... Умереть здѣсь сейчасъ... Только не отъ рукъ этихъ...

И передъ Ліей замелькали изгибающіеся языки, красные, съ чернымъ, дымнымъ остреемъ... Пламя!.. Запахъ... ѣдкій, ужасный запахъ горящихъ людей... изъ-за нея?..

Вышла. Потащили на улицу.

— Чого насъ боишься? Хиба мы хто?

— Мы ето шуткуемъ зъ тобой: потому говори правду... чтобъ не обманывала.

— Чуешь? Ну хорошо. Отъ и ступай!

— Зачѣмъ вы со мной такъ... лучше сразу убейте...

— Ступай... ступай! говорятъ: не тронемъ. Знай нашу доброcть.

—Ну, поцѣлуй менэ... отъ сюды...

Какой-то рослый варваръ въ полицейской формѣ грубо обнялъ ее, сорвалъ кофточку, лифъ, оголилъ грудь... Вырвалась и побѣжала.

— Микита, а ну, попадешь ей сюды...

Паренекъ съ мягкими, льняными волосами похлопалъ себя ниже крестца.

— Ось попробую.

— И я!

— И я!

Прицѣлились. Дѣвушка упала съ перебитой ногой, съ двумя пулями въ плечѣ.

Побѣжали. Стянули юбки и чулки.

— Теперь шабашъ! Поучили и годи. Богъ зъ тобой.

Отошли. Ужасъ изсякъ. Онъ смѣнился страннымъ забытьемъ, и только колѣно тупо ныло. Недолго полежала—и заковыляла по землѣ ползкомъ. Опять залпъ, опять они устремились къ ней... Изъ-за угла показался офицеръ. Увидѣла его, подползла. Обливаясь кровью, обняла его ноги, проситъ:

— Спасите, отъ позора спасите!

— Про-очь, жидовка! Сапоги мнѣ запачкаешь!—И ткнулъ носкомъ въ губы.

Только къ вечеру Лію убили. Надъ мертвой глумились. И надъ грудой труповъ возсѣдалъ погромъ и хохоталъ чернымъ хохотомъ. А въ слѣпыхъ подвалахъ прятались обезумѣвшіе отъ страха взрослые мужчины, женщины и дѣти, маленькія дѣти. Они лежали на землѣ, прижавшись другъ къ дружкѣ, шептали молитвы. Люди молили небо о спасеніи. А надъ небомъ лежала ночь, черная-черная... И небо молчало, какъ будто тамъ былъ не Богъ, а Дьяволъ!

Одесса, тюрьма. **Н. Осиповичъ.**

Фейгелэ.

(ЛЕГЕНДА.)

И раскаялся Господь, что создалъ человѣка. *Бытіе, VI,* 6.

Синагогальный проповѣдникъ рабби Лейзеръ Іоффе, важный старикъ, съ лицомъ ветхозавѣтнаго патріарха, задумчиво перебираетъ густыя космы сѣдой бороды. На старцѣ холщевый балахонъ, бѣлый и длинный, сшитый саваномъ. Въ торжественнѣйшіе моменты жизни—въ день Іомъ-Кипура, при вѣнчаніи, въ пасхальный вечеръ—еврей особенно долженъ помнить о смерти.

Рабби Лейзеръ, какъ и подобаетъ свободному гражданину, умѣстился на высокихъ подушкахъ полулежа: въ годовщину избавленія отъ позорнаго плѣна не должно сидѣть—сіе свойственно рабу,—должно возлежать.

Старикъ лежитъ и разсказываетъ домочадцамъ о великихъ чудесахъ, явленныхъ Всевышнимъ своему избранному народу и въ странѣ фараона, и у берега Чермнаго моря.

— Да-а! въ эту ночь избавленія еврей не долженъ спать, ибо нынче, въ великую ночь исхода, неустанно надлежитъ повѣствовать о дѣяніяхъ Бога нашего,

Бога Авраама, Исаака и Іакова, и славословить имя Его святое... Какъ написано: „и разскажи дѣтямъ своимъ, какъ Господь мощной рукой вывелъ тебя изъ земли Египетской“...

Старый Іоффе дѣлаетъ небольшую паузу, поправляетъ широкій воротъ балахона и солидной понюшкой угощаетъ носъ. Съ острымъ наслажденіемъ заправскаго знатока втягиваетъ въ тонкія ноздри черную щепоть душистаго порошка.

Табакъ проясняетъ сознаніе: понюхаешь, и въ глазахъ твоихъ посвѣтлѣетъ.

У проповѣдника Лейзера, какъ и у всякаго богобоязненнаго и ученаго еврея, заведенъ такой обычай. По окончаніи пасхальной трапезы онъ разсказываетъ маленькимъ внукамъ и внучкамъ (ихъ у него, не сглазить, цѣлыя полторы дюжины) легенду изъ мидраша или устное сказаніе.

И вотъ теперь, когда всѣ праздничные псалмы пропѣты, когда уже прочли и Пѣснь Пѣсней и взрослые удалились со стола, дѣдъ старательно перебираетъ, возится въ старой памяти. Надо найти и интересное и назидательное, ибо дѣтскій умъ свѣжему воску подобенъ: тиснешь — и останется глубокая борозда.

Проповѣдникъ Іоффе провелъ высохшей ладонью по морщинистому лбу, высокому и крутому, медленно и нѣжно положилъ правую руку на головку самаго младшаго внука, закрылъ глаза, беззвучно что-то пролепеталъ и назидательно протянулъ:

— Разскажу вамъ про Фейгелэ.

Дѣдъ началъ скорбнымъ полушопотомъ. Открылъ глаза:

— Фей-гелэ... такъ ее звали, и имѣла она отъ роду—вамъ на долгія лѣта—два года.

— Была она такая пухленькая, бѣленькая, какъ снѣгъ на вершинахъ Хермона. Помните, изъ Химеша—Ливанскія горы?

— Да-а! И ямочки на розовенькихъ щечкахъ... Славное было дитя. Живое, постоянно веселое и протягивало свои маленькія ручки не только всякому еврею, но даже доброму гою.

— Радостная была дѣвочка, живое утѣшеніе. Именно радостная. И шло ей имя ея. Таки какъ настоящая птичка, свѣтлая райская птичка... изъ тѣхъ, кто поютъ передъ Богомъ въ раю...

— И вся она сіяла какъ утренняя звѣзда, и была Фейгелэ короной родителямъ своимъ: Сендеру и Ханѣ.

— Одна она была у нихъ.

Дѣдъ остановился, недовольно прервалъ себя, осмотрѣлъ полусонныхъ внуковъ и сентенціозно внушилъ:

— Не спите! Слушайте хорошо! Каждое еврейское дитя должно запомнить сказаніе про Фейгелэ... Потому что судьба ея—это судьба племени нашего. И то, что Всевышній—да будетъ благословенно имя Его—наказалъ тѣхъ, кто ее замучилъ, должно и насъ преисполнить надеждой. Онъ и насъ не оставитъ, и насъ Онъ посѣтитъ милосердіемъ Своимъ...

Старецъ степенно поправилъ свои большія очки, погладилъ смятые локоны на вискахъ, снова понюхалъ табаку и заговорилъ громко:

— И была пасха. Вторые дни нашего праздника совпали съ ихнимъ „Кейсехоимъ“. И произошло это несчастье.

— Еще задолго до бѣды въ городѣ говорили, что

„готовятся“. Совѣтовали уѣхать, увезти дѣтей. Ну, а гдѣ еврей можетъ укрыться? Его же вездѣ очень любятъ! И остались, не уѣзжали. Боялись, дрожали и все думали: надѣялись евреи на живого Бога... Но... мы же грѣшны—и разразился погромъ...

— Мерзкіе подстрекатели подговорили пьяную толпу, и та стала разбивать жилища дѣтей еврейскихъ, расхищать ихъ добро.

— Домъ, гдѣ обитали родители Фейгелэ, былъ большой, каменный, съ крѣпкими затворами.

Злодѣи—цѣлая орда ихъ была—подступили къ нему, обложили его со всѣхъ сторонъ, но внутрь проникнуть не могли: осажденные крѣпко оборонялись...

Хозяева—люди молодые, гордые, и было имъ и жалко и обидно отдать свое кровное добро пьянымъ грабителямъ.

— И когда бушующіе варвары стали выбивать дверь желѣзными ломами, Сендеръ не сдержался. Онъ выстрѣлилъ изъ окна...

— Не надо было дѣлать этого; написано: не убій,— это первое. Второе—этимъ онъ привелъ пьяную ватагу въ бѣшенство... Ну, да молодая кровь бурлитъ, не разсуждаетъ... Изверги и разсвирѣпѣли.

— Сжечь... Сже-ечь жидовъ!

Озвѣрѣлые люди обложили домъ сухимъ деревомъ, соломой, полили керосиномъ и съ громкими возгласами и дикимъ хохотомъ бросили въ эту кучу горящія головни...

Старый Лейзеръ на мгновеніе замолкъ, густо испустилъ обрубленное „ой!“ и, уронивъ сѣдую голову на согнутыя руки, смеживъ мокрыя вѣки, взволнованно заспѣшилъ:

— Строеніе занялось. Покорно вспыхнуло... Вотъ пламенные змѣи поползли враждебно по карнизу крыши... Вотъ они добрались до выступа рамъ... Красные языки уже лижутъ косяки дверей. И отъ прыгающаго огня окна заблестѣли, какъ вычищенная мѣдь... Рдѣющія стекла трескались съ шипящимъ гудѣньемъ.

— Распахнулись пылающія окна, и у зіяющихъ огненныхъ дыръ молча столпились погибающіе. Страхъ смерти красными блестками прыгалъ на побѣлѣвшихъ, какъ известь, лицахъ. Люди онѣмѣли отъ паническаго ужаса.

— И вдругъ въ огненный вой пожарища влетѣлъ и вонзился острый вопль матери.

Хана крикнула:—Бо-оже! Мой милосердый, дорогой Богъ!—И двѣ нѣжныя руки, опушенныя огненной бахромой горящихъ рукавовъ, двѣ тонкія руки подняли надъ клубами бушующаго пламени ребенка и кинули на улицу — въ толпу — плачущаго малютку...

— Думала Хана: пощадятъ грудное дитя...

— Ой-ой-ой!

Проповѣдникъ Іоффе заломилъ руки... Изъ-подъ морщинистыхъ вѣкъ дробно забѣгали маленькія, кругленькія слезы, и, рыдая, онъ прерывисто ронялъ:

— Фей-ге-лэ... рас-тер-за-ли-и на кус-ки. Люди, какъ бѣшеные псы, остервенѣло рвали трупикъ малютки.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

— Черный день кончился кровавой зарей. Потомъ спустились угрюмыя сумерки. И когда взошелъ

мѣсяцъ, ликъ его былъ блѣденъ отъ жуткаго испуга. Безглазая тьма накинула на второе свѣтило неба свое траурное одѣяніе, и оно затмилось, и безпомощно повисло оно въ міровомъ пространствѣ. И къ потускнѣвшей лунѣ въ страхѣ жались встревоженныя звѣзды, блѣдныя, холодныя.

— Въ эту ночь убійства земля не могла пропѣть вечерняго гимна. Творцу. Залитая кровью дѣтей своихъ, она не смѣла молиться. Окровавленные призраки убіенныхъ молча смотрѣли на нее стеклянным, мертвымъ взоромъ. И, преисполненная прегрѣшеніями, земля глухо стонала. И ея тяжелые вздохи грузно подымались и лохматыми клочьями висѣли подъ небомъ. Ибо геній земли, ангелъ, кому Господь ввѣрилъ людское горе, не могъ поднять и унести вверхъ, къ подножію Престола, этой тяжелой ноши.

— И скорбное стенанье смолкло и смѣнилось зловѣщимъ молчаніемъ...

— И стало тихо во всей вселенной.

— И только въ глубочайшихъ пучинахъ преисподней, тамъ, гдѣ, закованный въ цѣпи, обитаетъ Владыка Лжи, изъ вѣка проклятый Сатана,—оттуда, изъ смрадной бездны ада, доносился мерзкій хохотъ. Недобрый радовался злодѣяніямъ человѣка. Онъ изрыгалъ хулу на святое имя . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

— Во полунощи, когда души спящихъ обитателей земли унеслись на тотъ свѣтъ, тамъ состоялся судъ. Акодешъ Борухъ-Ги [1]) сидѣлъ на Престолѣ Славы, и

---

[1]) Благословенное имя—Богъ.

Его окружили небесное воинство, сонмы праведниковъ и Верховный Синедріонъ. Шестикрылые серафимы раскрыли книгу Памяти, а дружины херувимовъ приводили толпы тѣней.

— И предъ Верховнымъ Судомъ вселенной предстали убіенные мученики, и улыбнулся имъ Господь, и осѣнила ихъ его Святая Шхина, и лица ихъ засіяли какъ радуга.

— И поползли на четвереньках испуганныя тѣни убійцъ, а за ними черные призраки душегубовъ-подстрекателей. Эти были окутаны облакомъ смрада,— не смѣли они взглянуть на свѣтлый ликъ Справедливаго.

— И пришли свидѣтели: блѣдный день, затемненное солнце, ущербленный мѣсяцъ и тусклыя звѣзды... Всѣ испачканные, въ красныхъ пятнахъ...

— И небо побагровѣло, залилось чѣмъ-то краснымъ, густымъ какъ смола. И стали съ него падать большіе горючіе сгустки. А въ зенитѣ показались и стали гигантскія, какъ столбы, буквы: к-р-о-в-ь!

— И увлажнились очи Милосердаго, и наполнились они слезами. И, взирая на безуміе сыновъ человѣческихъ, Всевышній заплакалъ: „И раскаялся Господь, что создалъ человѣка на землѣ“...

— И рой ангеловъ принесъ маленькій гробикъ. Надъ чернымъ покрываломъ порхалъ бѣленькій-бѣленькій голубокъ, порхалъ и жалобно стеналъ. То была душа Фейгелэ.

— И когда крылатые Божьи слуги раскрыли маленькій гробикъ и Предвѣчный увидѣлъ растерзанное тѣльце малютки, Его глазъ, око Господа Саваоѳа загорѣлось великимъ гнѣвомъ возмездія! И затре-

петали сферы небесныя, шумно поднялись и грозно закружились огненные вихри; бездонный куполъ небесъ и высокіе своды покрылись густой мглой, стали черными - черными... Загрохотало. Пламенные языки избороздили трясущіеся міры.

— И всталъ Іегова во всей Своей мощи... Со страшнымъ трескомъ разверзлась пылающая твердь, и надъ застывшей отъ ужаса землей громомъ пронесся приговоръ Бога:

„Будетъ великое мщенье!“

„За кровь... за кровь дитяти—Мое мщенье!“

Н. Осиповичъ.

Одесса.
29 марта 1905 г.

Борисъ Беккеръ.

(съ натуры.)

... На этотъ разъ его не долго продержали. Не томили безконечными допросами, умышленно запутанными, утонченно-коварными.

Привели, бросили въ каменный ящикъ, замкнули крѣпкимъ замкомъ и расправились... покончили навсегда.

За полгода до этого—въ октябрѣ, когда власти осквернили первый праздникъ свободы злодѣяніемъ погрома—онъ тоже томился здѣсь, въ тюремной одиночкѣ.

Тогда, во дни великой провокаціи, дотла сожгли домъ его родныхъ, и вся ихъ семья—старики отецъ и мать и девятилѣтняя сестренка — укрылась отъ убійствъ полицейскихъ въ слѣпой пещерѣ глубокой каменоломни.

Черезъ два дня объявили амнистію, и его, Бориса Беккера, выпустили. Онъ весь ушелъ въ свою любимую химію. Со всѣмъ пыломъ своей молодости онъ сталъ готовиться къ будущему служенію. Впереди въ свѣтломъ ореолѣ свободы ярко сіяло грядущее, чарующее ароматомъ жертвы, самоотверженія...

И ему, семнадцатилѣтнему юношѣ, уже грезились

освобожденная родина и по ея вольному простору величавое шествіе рабочихъ массъ, сознательныхъ, тѣсно сплоченныхъ въ братскомъ единеніи—всѣ за одного и одинъ за всѣхъ.

... Воплощаются великіе идеалы учителей соціализма, истинныхъ вождей человѣчества...

... И опять оборвали золотую нить радужныхъ надеждъ. Оборвали нагло, святотатственно.

* * *

Его убили въ одесскомъ острогѣ солдаты военнаго караула. Они напали всей полуротой—шестьдесятъ сильныхъ, вооруженныхъ людей на одного безоружнаго, запертаго.

Солдаты застрѣлили Бориса Беккера безъ злобы, такъ себѣ, потому что имъ приказалъ начальникъ караула, капитанъ Тарасовъ.

Это было весной. Стояла отрадная теплота, и ясный день, ликуя, улыбался свѣтлымъ силамъ природы.

За тюрьмой, за нѣмыми стѣнами ея ограды, бодрый шумъ жизни гулко плескался въ сверкающихъ брызгахъ воли. Въ синихъ высотахъ неба величаво покоилось солнце, благословляя молодые всходы давняго сѣва, а тутъ, въ каменной коробкѣ, у рѣшетчатаго окна сумрачно стоялъ онъ—высокій голубоглазый юноша, стройный, какъ стволъ молодой сосенки.

Онъ стоялъ, ухватившись тонкими пальцами за толстыя полосы желѣзнаго переплета, молча смотрѣлъ на широкій дворъ тюрьмы, на полукруглыя дорожки, протоптанныя арестантскими шагами, на бѣлые цвѣты одинокой вишни у высокой стѣны забора.

По двору сѣрыми группами брели солдаты военной охраны, ея начальникъ, капитанъ Тарасовъ, низенькій сутуловатый брюнетъ съ густою просѣдью у висковъ.

— Странный... очень странный субъектъ...

Юноша раздумчиво повелъ голубыми глазами.

Утромъ, когда ихъ вывели на обычную прогулку, офицеръ этотъ подошелъ къ нимъ и, неловко переступая ногами, заговорилъ. При этомъ онъ почему-то волновался.

— Я вижу... по лицамъ вашимъ вижу... и тоже по костюмамъ... такъ я думаю, вы не настоящіе...— Онъ немного помолчалъ, потомъ добавилъ:—политическіе.

Никто изъ товарищей ему не возразилъ, и онъ снова заговорилъ:

— Нѣтъ. Вы посторонніе этой смутѣ. Потому что настоящіе соціалисты и революціонеры, также анархисты, то-есть, я хочу сказать, тѣ господа, которые всѣхъ подстрекали,—такъ эти ловкачи не здѣсь. Они остались на свободѣ. Они хитры, эти негодяи!

Онъ сдѣлалъ злобный жестъ и нервно ущипнулъ свою небольшую эспаньолку.

Они его рѣзко остановили:

— Что вамъ собственно отъ насъ нужно? Чего къ намъ пристаете? ругаетесь?

Капитанъ Тарасовъ немного смутился.

Онъ не ругается. И не думалъ. Зачѣмъ такъ говорить? И ему ничего не надо...

Но ему ихъ жаль... По человѣчеству жаль. Онъ, собственно, желаетъ имъ добра. Потому что убѣжденъ, что они страдаютъ невинно. И ихъ скоро

освободятъ. Непремѣнно. Только и они должны помочь властямъ разобраться, то-есть назвать тѣхъ, подстрекателей. Да, и онъ вотъ и предлагаетъ: выдайте мерзавцевъ. Что это имъ стоитъ?

Они его негодующе прервали:

— Оставьте насъ!

— Носите офицерскій мундиръ и не понимаете такой элементарной вещи...

— Не понимаете, что быть предателемъ—величайшій позоръ!

Капитанъ Тарасовъ отошелъ отъ нихъ будто сконфуженный, а спустя нѣсколько минутъ одинъ изъ прогулки случайно услышалъ, какъ онъ нервнымъ полушопотомъ приказывалъ командѣ:

— Въ случаѣ... если кто-нибудь изъ этихъ... подойдетъ къ вамъ, приблизится на двадцать шаговъ, пали въ него—безъ разговоровъ. Я отвѣчаю!

Хорошо, что узнали вò-время, а то не миновать бы бойни, такъ какъ до сихъ поръ заключеннымъ никогда не воспрещалось подходить къ солдатамъ.

Въ камеры они всѣ вернулись встревоженными,—смутно чуяли бѣду. Вспомнились прежнія опасенія. Такъ, еще въ концѣ декабря, сейчасъ же послѣ разстрѣла Москвы, тутъ по рукамъ среди уголовныхъ ходила прокламація „союза“. Уголовныхъ приглашали постоять за царя, за православную вѣру и... перебить „жидовъ-политическихъ“. Изъ-за нихъ, изъ-за этихъ внутреннихъ враговъ, начальство было вынуждено объявить тюрьму на военномъ положеніи—вынуждено стѣснить свободу арестантовъ...

Прокламаціи не подѣйствовали: воры и мошенники отказались напасть на безоружныхъ.

Послѣ этого появилась легенда о казакахъ.

Кто ее пустилъ, осталось неизвѣстнымъ, но въ срединѣ марта, незадолго до пасхи, по коридорамъ упорно говорили, что въ одну изъ ближайшихъ ночей въ тюрьму будутъ введены казаки, и они перебьютъ, вырѣжутъ всѣхъ политическихъ-евреевъ.

Ни одного не оставятъ въ живыхъ. Будутъ ходить изъ камеры въ камеру и рѣзать.

Потомъ, когда это свершится, событіе это будетъ представлено въ такомъ видѣ:

Народъ, въ справедливомъ негодованіи на враговъ отечества, ворвался, возмущенный и гнѣвный, въ тюрьму и собственноручно расправился съ крамольниками-жидами.

Начальство ничего не могло сдѣлать: оно было безсильно.

Да и какъ пойдешь противъ воли народной?

Эти жуткіе слухи, сначала неясные и безформенные, переходя отъ одного къ другому, становились все опредѣленнѣе, получили ясныя очертанія. Установили точное количество казаковъ—двѣ сотни, двѣсти, ни больше, ни меньше. Опредѣлили также и время—канунъ Христова Воскресенія, какъ только заблаговѣстятъ къ пасхальной службѣ.

И настала роковая ночь. Въ жуткомъ ожиданіи застыла тюрьма. Не вѣрили, легенду считали нелѣпой, но все же тревожились: ибо у насъ все можетъ случиться...

... Ночь. Въ камерахъ не спятъ. Настороженно притаились, ждутъ. И сердца, замирая, неровно стучатъ мелкимъ, рванымъ стукомъ... Тихо-тихо...

И вдругъ глухой вздохъ всколыхнулъ пугливую

тишину. Встрепенулись. Казалось, что смерть уже разинула свой мертвый зѣвъ—она собирается глотать...

Опять вздохъ. Потомъ протяжный стонъ. Онъ тяжело плыветъ въ разорванномъ молчаніи... Придушенный плачъ... Кто-то заголосилъ, зарыдалъ...

... Тюрьма заметалась, взволнованно закричала. И дребезжащимъ лязгомъ затрещали стекла оконъ, шумнымъ грохотомъ зашатались запертыя двери...

Еле успокоили. Оказалось, что это пятнадцатилѣтній Каганъ плакалъ въ кошмарномъ снѣ. Ему померещилось, что рѣзня началась...

Прошло двѣ недѣли, протекли мирно, спокойно, и вотъ сегодня на прогулкѣ опять.

— Это провокаціонная агитація начальника караула!

— Что-то будетъ?.. что-то будетъ?..

* * *

Въ коридорахъ, тамъ, гдѣ камеры политическихъ, тяжелое безмолвіе. Борисъ Беккеръ не отходитъ отъ окна, стоитъ и понуро смотритъ.

На дворѣ солдаты разбираютъ ружья; разобрали, выстроились.

— Смирр-но!

Начальникъ караула неторопливо прошелся по фронту, пытливо осмотрѣлъ команду.

— На пра-во!

— Ряды вздвой!

— Въ казарму шагомъ маршъ!

Гулко затопали сапоги солдатъ. Пошли къ выходу—къ воротамъ.

Тюрьма ожила, у рѣшетокъ весело заговорили!

— Ушелъ наконецъ!

— Слава Богу!

— Ну и субъектецъ!

У Бориса тоскливая озабоченность свалилась съ сердца. Облегченно вздохнулъ.

— Долой самодержа-авіе!

Въ корпусѣ уголовныхъ кто-то изъ арестантовъ безшабашно заоралъ, захлопалъ въ ладоши.

Капитанъ Тарасовъ рѣзко остановилъ свой отрядъ:

— Полурота, сс-той!

И зловѣще выстроилъ ее противъ оконъ политическаго отдѣленія.

— Кто это? Какой негодяй осмѣлился крикнуть?

Молчаніе.

— Если ты честный, ты долженъ назвать себя!

Молчаніе.

Капитанъ Тарасовъ угрожающе забѣгалъ вдоль стѣны и остановился противъ окна Бориса Беккера. Подозрительно впился въ него глазами.

— Не все ли равно, кто кричалъ?

— Не все ли вамъ равно? Мы вѣдь тутъ и сидимъ за это, за этотъ кличъ.

Борисъ Беккеръ пытается урезонить разгнѣваннаго офицера.

— А ты кто? Ты не трусъ?

— Если ты, подлецъ, честный, стой, какъ стоишь! Не шевелись! Посмотримъ, какой ты смѣлый!

Стремительно отошелъ. Вызывающе повернулся.

— Пальба полуротой!

— Не ругайтесь. Я васъ не боюсь!

Юноша спокойно отчеканилъ, не отходитъ отъ рѣшетки.

— Это не онъ крикнулъ!

— Не онъ!

— Не онъ!

— Не онъ!

Изъ многихъ оконъ посыпались тревожные крики.

— Въ среднее окно! Полурота...

Капитанъ Тарасовъ сдѣлалъ зловѣщую паузу.

— Я васъ не боюсь!

— Пли-и! — И стремительно махнулъ раскрытой ладонью.

. . . . . .

. . . . . .

Его убили въ одесскомъ острогѣ, когда онъ стоялъ у рѣшетки окна. Шестьдесятъ сильныхъ, вооруженныхъ—на одного запертаго, безоружнаго.

Н. Осиповичъ.

Мустамяки, Финляндія.

Въ новомъ руслѣ.

(повѣсть.)

Посвящается памяти Михаила Рафаиловича Гоца.

И прошелъ я мимо тебя и увидѣлъ я тебя купающеюся въ собственной крови, и сказалъ я тебѣ: въ крови своей живи! и сказалъ я тебѣ: въ крови своей живи!

Іезекіиль, XVI, 6.

I.

Стоялъ знойный іюньскій полдень.

По большой улицѣ литовскаго города N., среди рѣдкихъ прохожихъ, медленно плелась женщина, неся въ рукѣ корзинку, покрытую грязнымъ полотенцемъ. Дойдя до одного изъ перекрестковъ, женщина остановилась, поставила корзинку на землю и присѣла на каменную тумбочку на краю тротуара.

Издали женщину можно было принять за молоденькую, еще не вполнѣ сформировавшуюся дѣвушку. Она была маленькая, худенькая, почти стройная, съ тонкими чертами лица безъ морщинокъ и съ большими глубоко сидящими глазами. Старая, полинялая юбчонка и узкая кофточка плотно обхватывали всю ея тощую фигурку. Вблизи однако иллюзія разсѣивалась, и лицо молоденькой дѣвушки оказа-

валась худенькая старушка, съ желтымъ, какъ пергаментъ, лицомъ, съ заостренными чертами и впалыми глазами. Изъ-подъ надвинутаго на лобъ платка кое-гдѣ выбивались сѣдые волосы. По своей невѣроятной худобѣ и по желтизнѣ лица старушка казалась какъ бы прозрачной, и на всей ея фигуркѣ лежала печать чего-то глубоко выстраданнаго, одухотвореннаго.

Старушку звали Эстеръ. Въ своемъ кругу она была извѣстна подъ именемъ „Эстеръ сапожница", а также „Эстеръ бобоноска". Она была вдовой сапожника и торговала вареными бобами, которые разносила по городу въ корзинкѣ.

Несмотря на сравнительно ранній часъ, Эстеръ уже успѣла обойти нѣсколько кварталовъ и продать часть своего товара. Теперь она сидѣла на тумбочкѣ неподвижно, съ опущенными руками, съ нѣсколько застывшимъ выраженіемъ усталаго человѣка, всецѣло предающагося отдыху.

— Смотри-ка, смотри, какъ она разсѣлась, какъ барыня!—раздался вдругъ возлѣ нея хриплый старческій голосъ, грубоватый, но съ привѣтливой ноткой.

Эстеръ подняла голову и увидѣла передъ собой знакомаго Лейзера носильщика, крѣпкаго на видъ старика съ заросшимъ лицомъ, большой съ просѣдью всклокоченной бородой, въ которой въ нѣсколькихъ мѣстахъ торчали соломинки и съ такими же всклокоченными волосами на головѣ, покрытой засаленнымъ картузомъ. Старикъ былъ въ сѣрой совершенно изношенной сермягѣ и истоптанныхъ порыжѣвшихъ сапогахъ. Вообще, вся фигура старика была какая-то натруженная, шершавая, точно покрытая корой и пропитанная бакаромъ и домовымъ трудомъ.

Эстеръ улыбнулась старику торопливо-привѣтливой улыбкой, раскрывъ при этомъ совершенно беззубый ротъ, отъ чего ея собравшееся въ комокъ добродушное лицо сдѣлалось похожимъ на улыбающееся личико беззубаго младенца.

— А почему бы мнѣ не сидѣть, какъ барынѣ? Чѣмъ я не барыня?—отвѣтила она ему въ тонъ, какъ-то приниженно-весело, и тотчасъ же добавила серьезно:—Какъ поживаете, ребъ Лейзеръ? Отчего это васъ давно не видать было на базарѣ?

— Какъ бы ты могла меня видѣть на базарѣ, когда я лежалъ въ больницѣ!—отвѣтилъ ей нѣсколько грубо, съ оттѣнкомъ упрека Лейзеръ.

— Въ больницѣ?—переспросила сочувственно Эстеръ.

Лейзеръ опустился возлѣ нея на тротуаръ и заговорилъ спокойно:

— Старая болѣзнь: внутренности выпадаютъ. Когда сразу подымаю большую тяжесть, онѣ у меня сейчасъ и выпадаютъ. Я уже привыкъ. Генеся банщица за пять копеекъ вправляетъ ихъ мнѣ обратно; вправляетъ такъ, что лучше и не надо... А на этотъ разъ ужъ и самъ не знаю, что случилось. Должно быть, зацѣпились за что-то кишки,—и какъ выпали, такъ я и въ обморокъ упалъ. Отвезли меня въ больницу, и я тамъ двѣ недѣли пролежалъ...

— Ну, слава Его святому имени, что выздоровѣли,—проговорила примирительно Эстеръ.

— Выздоровѣлъ! Польза большая, что выздоровѣлъ, когда ничего не зарабатываю!—запротестовалъ Лейзеръ.—Уже третій день блуждаю по базару, какъ безпризорная собака, и за все это время ломанаго

гроша не заработалъ. Хоть издыхай! Подвернется какая-нибудь работа, снести что-нибудь, подскакиваютъ, какъ черти, молодые носильщики и вырываютъ изъ рукъ.

Эстеръ сочувственно вздохнула и, грустно покачивая головой, заговорила нѣсколько нараспѣвъ:

— Когда міръ теперь вообще убитъ... Ни торговли, ни работы, ни заработка... Люди не знаютъ, за что взяться, куда броситься. Въ одной только нашей слободкѣ что творится—и не разсказать, не обнять мыслью. Такая нужда, такая нужда, что ужасъ беретъ. И развѣ удивительно? Молодые, здоровые уѣзжаютъ себѣ,—кто въ Америку, кто въ другія мѣста. Другіе сидятъ въ острогѣ... Третьи дѣлаютъ стачки. А старые люди—что они могутъ зарабатывать... Такъ-таки умираютъ съ голоду, попросту-таки умираютъ... А богачи города—хоть бы ихъ это тронуло! Нисколько! Палецъ о палецъ не ударятъ, точно не ихъ это дѣло...

— А, забери ихъ черный годъ, богачей! Сгори они на огнѣ! Они къ себѣ и на порогъ не пускаютъ!—отозвался съ раздраженіемъ Лейзеръ.

— Вчера хоронили Хасю Эфроимсъ,—продолжала въ томъ же тонѣ Эстеръ.—Еще совсѣмъ недавно была зажиточной хозяйкой, а теперь пришлось собирать ей на саванъ... Сердце сжималось...

— Это глупости!—перебилъ ее вдругъ Лейзеръ.—Не все ли равно, въ своемъ или въ чужомъ саванѣ быть похороненнымъ? Черви одинаково будутъ ѣсть...

Эстеръ въ душѣ не согласилась съ этимъ мнѣніемъ, но не стала спорить. Помолчалъ и Лейзеръ.

— Въ прошломъ году объ эту пору уже начались пожары,—заговорилъ онъ снова нѣсколько задумчиво.—Былъ заработокъ...

— Говорятъ, и въ нынѣшнемъ году будетъ горѣть,—отозвалась полутаинственно Эстеръ.

— Не слыхала, кто будетъ поджигать?—спросилъ ее дѣловитымъ тономъ Лейзеръ.

— Кто можетъ знать!..

— Въ прошломъ году поджигали кровельщики. Говорятъ, въ нынѣшнемъ плотники собираются поджигать,—продолжалъ тѣмъ же тономъ Лейзеръ.

— Что же имъ дѣлать, если никто не строится,—попыталась оправдать ихъ Эстеръ.—Но слухъ идетъ, что ихъ не допустятъ поджигать... Не знаю...

— Кто не допуститъ?

— Кто? Понятно, кто: тѣ... „организація“...

— А ея чѣмъ это касается? Какое ей дѣло?—удивился Лейзеръ.

— Вѣроятно боится, чтобы бѣдняки не погорѣли. Пожаръ вѣдь такое дѣло...

— Боится!—перебилъ ее почти сердито Лейзеръ.—Всего они боятся! А если боятся пожара, такъ взяли бы и зашли къ толстымъ пузамъ, къ Хаимъ-Беру или къ Ице-Минесу, забрали бы у нихъ деньги и раздѣлили бы бѣднякамъ!

— Что вы говорите, ребъ Лейзеръ!—встрепенулась почти испуганно Эстеръ.

— А что? Отчего нѣтъ? Они же говорятъ, что заступаются за бѣдняковъ...

— „Заступаются за бѣдняковъ“! Но вѣдь они, избави Богъ, не разбойники какіе, чтобы такъ вдругъ ходить къ богачамъ и отбирать деньги...

Старикъ помолчалъ немного и, опустивъ голову, пробормоталъ:

— Не разбойники... А когда разбойники вырываютъ у меня изо рта кусокъ хлѣба, ихъ это и не трогаетъ, не вмѣшиваются...

И онъ тяжело вздохнулъ.

Эстеръ поднялась съ тумбочки и нагнулась за своей корзинкой. Поднялся съ тротуара и Лейзеръ.

— Надо итти,—проговорилъ онъ тяжело. И, взглянувъ на Эстеръ, спросилъ:—Ну, а ты зарабатываешь что-нибудь?

— Нельзя грѣшить, зарабатываю на своихъ бобахъ нѣсколько копеекъ въ день,—отвѣтила скромно Эстеръ.—А когда не зарабатываю, то дѣти, слава Богу, зарабатываютъ. У меня двѣ дѣвушки—будь онѣ здоровы!—обѣ работаютъ на фабрикѣ...

— Чего жъ тебѣ еще! —перебилъ ее Лейзеръ.— Если бъ я имѣлъ работящихъ дѣтей, я и не выходилъ бы на базаръ.

— У васъ, кажется, есть сынъ...— проговорила Эстеръ и сразу осѣклась, вспомнивъ, что смутно слышала что-то нехорошее о его сынѣ.

— Если бъ его такъ не было, какъ онъ есть,— отозвался спокойно Лейзеръ.—Въ острогѣ сидитъ, паршивецъ.

— За нынѣшнія дѣла?—спросила полушопотомъ Эстеръ.

— Гдѣ тамъ за „нынѣшнія дѣла“! Если бъ онъ за „нынѣшнія дѣла“ сидѣлъ, былъ бы онъ людямъ равенъ. А то за воровство сидитъ. Уже четвертый разъ.

Лицо Эстеръ даже омрачилось отъ этого признанія старика, и она прошептала съ искреннею скорбью:

— Э-это несчастье, это огромное несчастье!..

— Несчастье не то, что онъ сидитъ—сверни онъ себѣ шею!—а то, что его не сегодня-завтра выпустятъ, даже, можетъ быть, уже выпустили,—проговорилъ равнодушно Лейзеръ. И, взглянувъ на корзинку Эстеръ, онъ вдругъ прибавилъ:—Угости-ка парой бобовъ!

Эстеръ нѣсколько растерялась отъ неожиданной просьбы и забормотала, улыбаясь:

— Съ большимъ удовольствіемъ!.. Я сама хотѣла угостить васъ...

И, доставъ изъ корзинки горстку бобовъ, она подала старику.

— Отчего ты мнѣ такъ много даешь?—проговорилъ онъ, принимая бобы. И, держа ихъ на ладони, прибавилъ нѣсколько нерѣшительно:—По правдѣ сказать, фершлъ не велѣлъ мнѣ ѣсть ничего, кромѣ хлѣба съ молокомъ... Но когда я вижу лакомство, я не могу удержаться...

— Ай, слушайте, что̀ фершлъ вамъ скажетъ!—запротестовала Эстеръ.—Много онъ знаетъ! Чѣмъ могутъ повредить бобы? Да еще какіе бобы: чистые, какъ золото, безъ пятнышка! Ничего, ничего, можете смѣло ихъ ѣсть...

— Нечего тебѣ меня такъ уговаривать,—остановилъ ее Лейзеръ:—я все равно буду ѣсть... Спасибо. Прощай!

И онъ медленно ушелъ, кладя въ ротъ бобы по одному и стараясь изловить ихъ между своими единственно уцѣлѣвшими двумя зубами.

II.

Эстеръ направилась къ базару. Она думала о своемъ разговорѣ съ Лейзеромъ, въ душѣ жалѣла одинокаго старика и въ то же время осуждала его за равнодушное отношеніе къ сыну. „Какой бы онъ ни былъ выродокъ, а все же онъ сынъ, своя кровь, какъ же можетъ не болѣть за него сердце?“ разсуждала она про себя. И одновременно съ этимъ она испытывала чувство горделиваго удовольствія отъ сознанія, что ея дѣти, слава Богу, удачливыя, честныя, трудящіяся... Правда, ведутъ они себя далеко не такъ, какъ бы ей хотѣлось, причиняютъ ей не мало тревогъ и огорченій, но... „противъ этого вѣдь ничего не подѣлаешь“, закончила она свою мысль съ успокоительной покорностью, мирясь съ нею какъ съ чѣмъ-то фатальнымъ и неизбѣжнымъ.

Базаръ находился почти на окраинѣ города. Онъ помѣщался на большой и неизмѣнно грязной площади, по обѣимъ стронамъ которой стояло нѣсколько рядовъ деревянныхъ лавчонокъ, въ видѣ будокъ, со всевозможными, самыми дешевыми, товарами. Тутъ же на площади стояли столики съ хлѣбомъ, мясомъ и другими съѣстными припасами; сидѣли торговки у мѣшковъ съ огурцами или картофелемъ, у корзинъ съ фруктами. По площади расхаживали продавцы стараго платья, носильщики и другой базарный людъ. Въ базарные дни, когда площадь наполнялась крестьянскими возами, на базарѣ царило нервное и суетливое оживленіе, стоялъ шумливый говоръ, слышалась пьяная пѣсня, происходили торговыя сдѣлки, споры и ссоры. Въ остальные же дни базаръ совер-

шенно замиралъ, площадь стояла безлюдной, лавочницы и торговки сидѣли неподвижно и вяло на своихъ мѣстахъ, какъ сонныя куры на насѣстахъ.

День не былъ базарнымъ. Однако на этотъ разъ на площади царило нѣкоторое оживленіе. Лавочницы, торговки и другіе базарные завсегдатаи стояли небольшими группами и о чемъ-то горячо разговаривали.

Эстеръ, издавна сроднившаяся съ базарною жизнью, знакомая со всѣми лавочницами и торговками, еще издали замѣтила это необычное движеніе и сразу угадала, что случилось нѣчто особенное, что́ взволновало базарную публику. Ускоривъ шаги, она съ чувствомъ смутной тревоги подошла къ ближайшей группѣ, стоявшей неподалеку отъ лавчонки галантерейнымъ товаромъ. Владѣлица лавчонки, Блюма, высокая сухая женщина съ сильно загорѣлымъ лицомъ и безъ переднихъ зубовъ, первая увидѣла Эстеръ и бросилась къ ней въ какомъ-то возбужденіи.

— Вотъ и Эстеръ! — воскликнула она такимъ тономъ, точно она только и ждала что ея прихода.— Что вы скажете, Эстерке, о постигшемъ насъ великомъ несчастьѣ? Вѣдь убили Степана Рыжаго!

Степанъ былъ полицейскимъ и почти постоянно дежурилъ на базарѣ, вслѣдствіе чего былъ хорошо знакомъ базарной публикѣ.

У Эстеръ замерло сердце. Пугливая отъ природы, она въ послѣднее время сдѣлалась особенно нервной, и при всякомъ неожиданномъ извѣстіи у нея, по собственному ея выраженію, „обрывалось сердце“.

— Что вы говорите? — воскликнула она почти въ ужасѣ.

— Какъ я еврейская дочь!—отвѣтила ей поспѣшно Блюма.—Застрѣлили до смерти!

— Возлѣ его собственной квартиры: какъ только онъ вышелъ, уложили его на мѣстѣ! — прибавила такъ же возбужденно рыжая дѣвушка съ веснущатымъ лицомъ, торговавшая булками.

— И никого не изловили! никого не изловили!— прибавила поспѣшно другая.

Эстеръ все еще не пришла въ себя и вопрошающе оглядывала окружающихъ. Однако, нѣсколько успокоившись, она слабо улыбнулась и проговорила:

— Ну! Кто по немъ будетъ плакать однимъ глазомъ, тому пусть вылѣзетъ второй!

— Это Генехъ-Беръ долженъ его оплакивать!—отозвалась сидѣвшая на землѣ торговка огурцами.—На прошлой недѣлѣ Степанъ вырвалъ ему полбороды.

— Ципа вѣроятно тоже будетъ сильно огорчена, что его убили, — добавила только что подошедшая молодая лавочница. — Помните, какъ онъ захватилъ въ охапку цѣлую кучу сору и бросилъ ей въ лавку на селедки, на масло, въ муку. Навѣрное на два рубля испортилъ ей товару!

— А мнѣ?—отозвалась Блюма.—Мнѣ онъ тоже два раза бросилъ соръ въ лавку, когда я ему не такъ скоро давала пятачокъ.

— У меня онъ сколько крови высосалъ,—добавила веснущатая дѣвушка.—Только въ прошлую среду я ему дала гривенникъ, а вчера онъ опять просилъ. Еще хорошо, что я не дала... Сказала, что сегодня дамъ.

— Мы десять лѣтъ проклинали его, и ничего не помогло, — отозвался дѣловитымъ тономъ стоявшій

въ группѣ пожилой носильщикъ, а когда „организація“ [1] за него взялась, она быстро съ нимъ разсчиталась.

— Откуда ты знаешь, что Степана убилъ кто-нибудь изъ „организаціи“?—спросила съ чуть замѣтнымъ тономъ протеста блѣдная дѣвушка, стоявшая у лавки съ готовымъ платьемъ.

— А я увѣрена, что это организація!—отозвалась рѣшительно Блюма.

— А я считаю, что навѣрно не она,—отвѣтила настойчиво блѣдная дѣвушка.—Вотъ пусть Этлъ скажетъ!—прибавила она, обернувшись къ дѣвушкѣ, стоявшей у будочки съ минеральной водой.

Этлъ, считавшаяся на базарѣ причастной къ организаціи, не спѣша подошла къ кружку и, нѣсколько поднявъ голову, заговорила авторитетно:

— Я увѣрена, что это не организація! Когда я говорю, я знаю, что говорю! Организація имѣетъ программу... Въ организаціи только сознательные рабочіе, и имъ запрещены такія дѣла... Это называется „террористъ“...—прибавила она горделиво.

— А „борцы“? Они вѣдь всѣ имѣютъ при себѣ „шпайэры“ [2],—отозвалась нерѣшительно стоявшая позади кружка совсѣмъ молоденькая дѣвушка.

— Не мѣшайся, когда ты ничего не знаешь!—почти прикрикнула на нее Этлъ.—Товарищи, „боевой отрядъ“, только затѣмъ, чтобы заставить закрывать лавки, когда надо, или чтобы пригрозить. Но

---

[1] Подъ названіемъ „организація“ въ еврейской массѣ подразумѣвается еврейская соціалистическая партія „Бундъ“.

[2] „Плевальщикъ“—револьверъ.

убивать они не имѣютъ права! Когда я говорю, я знаю, что̀ говорю!—прибавила она многозначительно.

На Блюму однако ея авторитетный тонъ никакого впечатлѣнія не произвелъ и, разсмѣявшись, она какъ-то легкомысленно рѣшила:

— Ну, глупости! Для Степана Рыжаго „организація“ могла сдѣлать исключеніе.

Этлъ, сжавъ губы и съ видомъ человѣка, глубоко оскорбленнаго въ своихъ лучшихъ чувствахъ, молча отошла къ своей лавкѣ.

Эстеръ напряженно-внимательно прислушивалась къ разговору. Вопросъ объ участіи „организаціи“ въ убійствѣ Степана сильно волновалъ ее, хотя она старалась не выказывать этого. Старушка знала, что ея старшая дочь, Бася, не только состоитъ въ „организаціи“, но играетъ тамъ одну изъ первыхъ ролей, и ее волновала мысль, не является ли и ея Бася причастной къ этому убійству. Ей нисколько не жаль было жестокаго полицейскаго, отъ котораго и ей не разъ доставались пинки, но вмѣстѣ съ этимъ ей страстно хотѣлось, чтобы „организація“ оказалась тутъ ни при чемъ. И, слушая споръ лавочницъ, она непроизвольно приняла сторону Этлъ и покачивала утвердительно головой на ея слова.

Она пошла дальше по̀ базару, внимательно прислушиваясь къ разговорамъ. Всюду рѣчь шла о Степанѣ, вспоминались его издѣвательства и вымогательства. Однако кое-гдѣ раздавались и другія рѣчи.

— А все-таки, когда я услышала, что его убили, у меня точно оборвалось что-то въ груди,—говорила полная пожилая еврейка, сидѣвшая на табуреткѣ у своей лавки. Она говорила громко и такимъ образомъ

бесѣдовала съ сосѣдками, сидѣвшими у своихъ лавокъ.

— Какъ бы то ни было, дурной полицейскій, полусумасшедшій, разбойникъ, а все-таки къ нему привыкли,—поддержала ее сидѣвшая у корзины съ яблоками старушка со сморщеннымъ личикомъ и слезящимися глазами.—И кто знаетъ, кто будетъ на его мѣстѣ. Вѣдь сказано же: „ни на какого злодѣя нельзя просить погибели,—на его мѣстѣ можетъ появиться еще болѣе жестокій“.

— Степанъ по крайней мѣрѣ бралъ, — отозвалась третья лавочница.—За рюмку водки или за пятачокъ съ нимъ можно было сдѣлать что угодно.

— Онъ совсѣмъ и не былъ такимъ злымъ, — прибавилъ низенькій еврей съ нѣсколько испуганнымъ лицомъ, разносчикъ стараго платья.—Понятно, какъ всякій полицейскій, онъ кричалъ, но бываютъ гораздо худшіе!

Изъ склепа, гдѣ помѣщалась мелочная лавка, поднялась худенькая старушка, съ острыми чертами лица, въ черномъ чепцѣ, и заговорила быстро, рѣзко и авторитетно:

— Я утверждаю свое: они доиграются, разбойники! Бѣгать по улицамъ и распѣвать — этого имъ мало, такъ они начали убивать полицейскихъ! Что, смолчатъ имъ это?

— Вчера ночью я видѣлъ, какъ вели четверыхъ дѣвушекъ. Вели прямо въ острогъ... Изъ той компаніи...—проговорилъ разносчикъ стараго платья.

— Что ихъ вели—забери ихъ черный годъ! — выкрикивала старушка. — Но изъ-за нихъ приходятъ всякія напасти. Еще увидите: еще будетъ погромъ!

— Уже говорятъ объ этомъ,—прибавилъ какъ бы успокаивающимъ тономъ разносчикъ.

— Двѣ недѣли тихо было, такъ развѣ они могутъ это утерпѣть! Вы увидите, теперь уже начнется! Хоть бы она сгорѣла, ихняя „организація“!

— Ша! что вы имѣете къ организаціи? что она вамъ сдѣлала? откуда вы знаете, что это она?—отозвалась нѣсколько хриплымъ голосомъ сидѣвшая у мѣшка съ огурцами пожилая торговка.

— Скорѣе всего, что это дѣло эсъ-эровъ, — замѣтилъ нерѣшительно чахлый человѣчекъ, съ жалкимъ видомъ, стоявшій у кучки старой обуви.

— Э́ссеры — фре́ссеры! [1] Забери ихъ всѣхъ черный годъ!—не унималась старушка.—Я бы отдала десять копеекъ на раби Меера чудотворца, если бъ ихъ всѣхъ перехватали и засадили...

— Не кричите такъ, Хане,— остановила ее попрежнему спокойно торговка огурцами.—Если „они“ услышатъ, что̀ вы кричите, вы не особенно довольны будете...

Изъ склепа быстро поднялся высокій старикъ съ сѣдой бородой и, дернувъ старушку за рукавъ, проговорилъ съ раздраженіемъ:

— Чего ты раскричалась? чего раскипѣлась? Девять мѣръ рѣчей у тебя! Молчи!

Старушка сразу какъ-то потеряла весь свой пылъ, оглянулась растерянно и проговорила упавшимъ голосомъ:

— Что я сказала?.. Я вѣдь ничего не сказала...

---

[1] Игра словъ: с.-р — „ésser“ по-еврейски „ѣдокъ“, frésser — обжора.

И, повернувшись, спустилась за старикомъ въ свой склепъ.

Эстеръ усмѣхнулась этой сценѣ и пошла дальше по базару. На другомъ концѣ его стоялъ довольно большой кружокъ, состоявшій преимущественно изъ молодежи. Эстеръ подошла къ нему.

— Теперь ужъ начнется!—говорилъ возбужденно худенькій юноша, почти мальчикъ, блѣдный и оборванный.—Я знаю! Это только починъ. Теперь уже пойдетъ. „Они“ заработаютъ!

— Я слышала, — проговорила, проталкиваясь въ кружокъ, дѣвушка съ платкомъ на плечахъ,—я слышала, что скоро будетъ опять демонстрація!

— Уй, какая прелесть! Какъ бы хорошо было!—воскликнула съ восторгомъ стоявшая тутъ же у столика съ печеньемъ худенькая дѣвушка съ блѣднымъ лицомъ и жалобными глазами.—Помните демонстрацію перваго мая, какъ ходили съ красными флагами и пѣли?—прибавила она восторженно.

— Помнишь, когда проходили по базару?—обратилась къ ней другая дѣвушка изъ кружка.—Знамя несла Соня Сендерсонъ; она тутъ возлѣ меня прошла, чтобъ я такъ была счастлива! На ней былъ бѣлый воротничокъ съ галстукомъ, какъ у мужчины. Она шла прямо и пѣла: „Мы жертва и пали!“

— Ай, ступай! Совсѣмъ пѣли „Рабочій народъ“ и „Ди Швуэ“ [1],—перебила ее еще одна.

— А помните, какъ закрывали лавки?—напомнилъ все съ тѣмъ же восторгомъ блѣдный и оборванный мальчикъ.—Гдалье, Гдалье! Какъ онъ бѣгалъ!

Воспоминаніе это сильно развеселило всѣхъ. Юр-

---

[1] „Клятва“—нѣчто въ родѣ еврейской марсельезы.

кая дѣвушка съ живыми черными глазами заговорила съ воодушевленіемъ:

— Гдалье! Маленькій, съ земли его не видать, бѣгаетъ, бѣгаетъ отъ одной лавки къ другой! „По рѣшенію организаціи прошу закрыть лавку!“—и всѣ тотчасъ закрываютъ. Вотъ прелесть было!

— Гдалье, знаешь, всегда носитъ съ собой „шпайэръ“,—сообщила негромко и серьезно худенькая дѣвушка съ жалобными глазами.

— Что Гдалье!—отозвалась полупрезрительно еще одна дѣвушка.—Ошеръ бундовецъ—вотъ человѣкъ! Вы слышали когда-нибудь, какъ онъ говоритъ? Я слышала. „Товарищи!“ говорилъ онъ.—И дѣвушка начала передавать его рѣчь патетическимъ тономъ.—„Мы умираемъ съ голоду, ходимъ голы и босы, а буржуи живутъ въ каменныхъ домахъ и пьютъ нашу кровь!..“ У-уй, какъ онъ говорилъ!

— Я слышала на массовкѣ, какъ Борехъ искровецъ говорилъ! — воскликнула поспѣшно еще одна дѣвушка. — Ой, говорю вамъ, была рѣчь! Онъ говорилъ о самодержавіи. „Товарищи!“ говорилъ онъ. „Кровожадное самодержавіе ведетъ войну съ пролетаріатомъ, и мы должны твердо стоять, пока мы не побѣдимъ! Самодержавіе засадило въ тюрьмы сотни и тысячи борцовъ за свободу...“

Эстеръ плотно придвинулась къ самому кружку и съ захватывающимъ интересомъ прислушивалась къ разговору. Передаваемыя съ большимъ чувствомъ рѣчи ораторовъ особенно рѣчь знакомаго ей Ошера, глубоко взволновали ее, и она чувствовала, что у нея подступаютъ къ горлу слезы. „Мы умираемъ съ голоду, ходимъ голы и босы...“ Развѣ это не правда?

Развѣ это не та больная, страшная правда, на которую достаточно только намекнуть, чтобы изболѣвшее сердце задрожало всѣми фибрами и чтобы слезы набѣжали на глаза? А о богачахъ? Развѣ не истинная правда, что они сидятъ себѣ сытые и довольные въ своихъ каменныхъ домахъ?..

— Ша! Тише! Михалка идетъ!—разнесся вдругъ испуганный шопотъ. Разговоры сразу смолкли, и кружки начали быстро расплываться.

Медленно, почти автоматической походкой шелъ по базару высокій худой полицейскій. Онъ былъ суровъ, не оглядывался и только время отъ времени бросалъ лавочницамъ лаконическій приказъ: „убрать!“, „подмести!“. И лавочницы торопливо спѣшили выполнить его приказанія.

Дойдя до другого конца базара, Михалка остановился возлѣ торговки огурцами, которая предостерегла старуху, ругавшую „организацію“. Постоявъ съ минуту неподвижно, съ загадочнымъ видомъ, онъ медленно запустилъ руку въ мѣшокъ, вытащилъ оттуда огурецъ, откусилъ половинку, не спѣша съѣлъ и негромко, все такъ же загадочно, проговорилъ:

— Въ полиціи уже знаютъ, кто Степана убилъ. Вечеромъ схватятъ его.

— Ну?

— Вотъ ей-Богу!—проговорилъ увѣренно Михалка. — А ты что думала?—прибавилъ онъ, усмѣхнувшись.—Не найдутъ его? Сыщики-то? Ого! сколько угодно!.. А какъ схватятъ, тогда ужъ съ нимъ расправа будетъ друга-ая!

— Подъ судъ?—переспросила таинственнымъ полушопотомъ торговка.

— Чего подъ судъ! Прямо подъ разстрѣлъ, и больше никакихъ!—рѣшилъ увѣренно Михалка.

И, совершенно успокоившись на этомъ рѣшеніи, онъ принялся доѣдать свой огурецъ.

III.

Эстеръ ушла съ базара въ тяжеломъ, тревожномъ настроеніи. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что съ убійствомъ Степана снова начнутся волненія, аресты, демонстраціи. Можетъ быть, даже до стрѣльбы дойдетъ, какъ зимою, во время большихъ безпорядковъ.

Въ воображеніи старухи рисовались картины всякихъ ужасовъ, и въ центрѣ этихъ картинъ непремѣнно фигурировали ея дочери. И вмѣстѣ съ этимъ она ясно и опредѣленно сознавала свою полную безпомощность противъ фатально надвигающейся грозы. „Ну, что же дѣлать! Мы вѣдь всѣ не болѣе какъ люди и всѣ въ рукахъ Божіихъ! Что Онъ дастъ, то и будетъ!“ закончила она свои размышленія обычной покорной мыслью.

За послѣдніе годы Эстеръ многое пережила и многому покорилась. Овдовѣвъ лѣтъ десять тому назадъ Эстеръ осталась безъ всякихъ средствъ съ двумя дѣтьми, дѣвочками, изъ которыхъ старшей было двѣнадцать лѣтъ, а младшей неполныхъ три года. Высшей мечтой ея было поставить дѣтей на ноги, воспитать ихъ такими же тихими, трудящимися и богобоязненными, какъ она сама, выдать ихъ замужъ за скромныхъ и тихихъ людей и дождаться внуковъ. Дальше мечты ея не шли. Когда, лѣтъ пять тому назадъ,

ея старшая дочь Бася, поступившая сейчасъ послѣ смерти отца на табачную фабрику, вдругъ стала водить компанію съ какими-то странными молодыми людьми въ блузахъ, стала читать какія-то книжки и иногда высказывать совершенно неслыханныя по своей смѣлости сужденія относительно богатыхъ и властныхъ; когда Эстеръ вскорѣ узнала, что ея Бася пристала къ компаніи „демократовъ", которая была извѣстна въ массѣ еще подъ разными другими страшными названіями, какъ „ахдэсъ" [1], „арабственные" [2], „братья и сестры", „стачкенники", „хлѣбъ съ масломъ" [3]), „синеблузники", „философы", „электрики" [4] и т. п.,— она пришла въ неописуемый ужасъ. Ей казалось, что „небо легло на землю" и что „все кончено". И со всей силой нищенскаго отчаянія и материнскаго страха принялась она убѣждать и умолять свою дочь сойти съ гибельнаго пути. Со слезами она умоляла ее, со слезами же она угрожала ей земными карами и Божьимъ гнѣвомъ. Но Бася оставалась глухой и къ мольбѣ, и къ угрозамъ, и къ убѣжденіямъ матери, и Эстеръ стала постепенно примиряться съ опаснымъ поведеніемъ дочери, постепенно притерпѣлась къ нему, какъ она притерпѣвалась въ теченіе всей своей жизни къ безчисленнымъ невзгодамъ и лишеніямъ. Пер-

---

[1] Древне-еврейское: „единство".

[2] Испорченное отъ „нравственные".

[3] Такъ называютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соціалистовъ, потому что они не довольствуются для рабочихъ однимъ хлѣбомъ, а непремѣнно хотятъ его еще съ масломъ.

[4] Соціалисты называются „электриками" потому, что они говорятъ, что души нѣтъ, а человѣкъ живетъ только такимъ воздухомъ, который называется „электра".

вый арестъ Баси повергъ Эстеръ въ глубокое отчаяніе. Ей казалось, что теперь ея дочь ужъ окончательно и безповоротно погибла. Она оплакивала ее, какъ покойницу, и въ то же время стыдилась передъ сосѣдями и знакомыми: шутка ли, дѣвушка—и въ острогѣ сидитъ! Но когда вскорѣ начались въ городѣ массовые аресты, при которыхъ попали въ тюрьму и другія дѣвушки, даже дочери богатыхъ и почтенныхъ хозяевъ, Эстеръ примирилась и съ мыслью, что ея дочь „острожница". Послѣ девятимѣсячнаго заключенія Бася была освобождена. И когда она черезъ полгода снова была арестована, Эстеръ ужъ далеко не такъ была потрясена этимъ. Послѣ вторичнаго освобожденія изъ тюрьмы Бася уѣхала изъ N. Эстеръ не знала въ точности, куда она уѣхала, но была увѣрена, что дочь ея продолжаетъ заниматься „этими дѣлами", продолжаетъ „играть съ огнемъ" и можетъ каждую минуту снова попасть въ тюрьму,—и опять-таки мирилась съ этимъ, какъ съ чѣмъ-то уже фатальнымъ и неизбѣжнымъ. И вдругъ, мѣсяца за три, Бася неожиданно вернулась домой, поступила на свое прежнее мѣсто на табачной фабрикѣ и поселилась дома. Эстеръ приняла это какъ особую и совершенно ею незаслуженную Божью милость.

Постепенно и незамѣтно для самой себя Эстеръ совершенно освоилась со всей той огромной перемѣной, которая произошла въ ея жизни и въ жизни окружающей ее среды. Освоилась она съ мыслью, что ея Бася состоитъ въ „организаціи", и даже въ глубинѣ души гордилась этимъ. Привыкла она къ тому, что у нея въ домѣ открыто читались вслухъ

книжки и „листки“, о которыхъ она нѣсколько лѣтъ тому назадъ боялась даже шопотомъ упоминать. Болѣе того, она и сама все внимательнѣе прислушивалась къ этимъ чтеніямъ, находила, что въ книжкахъ написана истинная правда, и усвоила цѣлый рядъ новыхъ словъ, о которыхъ раньше и понятія не имѣла. Въ послѣдніе мѣсяцы она стала осваиваться съ мыслью, что и младшая ея дочь, Мирлъ, которой было всего тринадцать лѣтъ, непремѣнно тоже втянется въ „эти дѣла“. Да и какъ же иначе, когда всѣ этимъ теперь занимаются!

Ко всему привыкла старая Эстеръ. И тѣмъ не менѣе при каждомъ изъ ряда вонъ выходящемъ событіи, при каждомъ волненіи въ городѣ сердце ея сжималось тревогой, мрачными предчувствіями, она вся какъ-то настораживалась и ея блѣдныя губы часто совершенно безсознательно шептали: „Господи! Отецъ сиротъ! Сжалься, охрани ихъ отъ всѣхъ великихъ несчастій!“

Эстеръ зашла въ большую синагогу и въ нѣсколько „хедеровъ“, гдѣ у нея были постоянные кліэнты, которые, несмотря даже на дешевизну фруктовъ, оставались вѣрны традиціонному еврейскому лакомству—бобамъ. Затѣмъ она отправилась въ городской садъ, гдѣ постоянно находилась публика. Эстеръ, хорошо знавшая составъ этой публики, была увѣрена, что „необычайное событіе“—убійство полицейскаго — обсуждается и въ саду, и обсуждается гораздо обстоятельнѣе, чѣмъ на базарѣ. Изъ этихъ разговоровъ она надѣялась выяснить себѣ возможныя послѣдствія этого событія.

Городской садъ, старый, тѣнистый и довольно

большой, въ прежнее время служилъ мѣстомъ для прогулокъ исключительно аристократической и богатой части населенія, при чемъ бѣдняки и рабочіе сами не рѣшались заглядывать туда. Но съ наступленіемъ новыхъ вѣяній въ саду стали появляться рабочіе и работницы. Постепенно, но систематически они овладѣвали садомъ, вытѣсняя оттуда „чистую публику“, пока не вытѣснили ея окончательно. Садъ перешелъ въ полное владѣніе рабочихъ, сдѣлался излюбленнымъ мѣстомъ ихъ прогулокъ. Въ послѣдніе годы, когда революціонное движеніе стало все больше вырываться изъ подполья на улицу, подъ открытое небо, садъ сдѣлался центральнымъ пунктомъ рабочей жизни, чѣмъ-то въ родѣ рабочаго клуба, и получилъ соотвѣтственное названіе „рабочей биржи“. На „биржѣ“ рабочіе встрѣчались между собой и со своими представителями, тамъ передавались инструкціи членамъ партіи, распредѣлялась партійная литература, шли дебаты, споры, читались импровизированные рефераты. Мѣстныя власти въ первое время боролись съ этимъ учрежденіемъ, прогоняли рабочихъ изъ сада. Тогда „биржа“ переносилась на людныя улицы за городъ и причиняла властямъ гораздо больше хлопотъ. И въ концѣ-концовъ „биржа“ въ саду получила право гражданства.

„Биржа“ имѣла свою конституцію. Аллеи сада были строго распредѣлены между партіями и фракціями „Бундъ“, какъ самая многочисленная партія въ N., владѣлъ центральными аллеями. Боковыя аллеи были раздѣлены между всѣми другими партіями—соціалъ-демократами („искровцами“), соціалистами-револю-

ціонерами, сіонистами-соціалистами разныхъ наименованій. Двѣ-три аллеи были оставлены нейтральными, и тамъ встрѣчались члены различныхъ партій для диспутовъ или дипломатическихъ переговоровъ. На „биржѣ“ публика держалась свободно, разсуждала обо всемъ открыто. Почти всѣ знали другъ друга, и шпіону трудно было проникнуть въ садъ. Посторонніе люди деликатно выпроваживались. Даже полицейскіе, дежурившіе при садѣ и хорошо знавшіе главныхъ вожаковъ организацій, не всегда рѣшались заходить на „биржу“. Собранія „биржи“ происходили обыкновенно по вечерамъ, послѣ работы, и продолжались два-три часа.

Было около четырехъ часовъ дня. Въ саду было прохладно и уютно. Обычной въ часы „биржи“ толпы въ саду не было, но почти всѣ скамейки были заняты молодыми людьми—экстернами, гимназистами, полуинтеллигентами и безработными. Большинство сидящихъ были погружены въ чтеніе газетъ, еврейскихъ и русскихъ. Нѣкоторые читали книги. Въ боковыхъ аллеяхъ стояли небольшія группы и вели шопотомъ какіе-то таинственные разговоры.

Спокойное настроеніе садовой публики нѣсколько удивило и въ то же время успокоило Эстеръ. Если эта публика, знающая конечно объ убійствѣ полицейскаго, не испытываетъ потребности обсуждать это событіе, значитъ ничего страшнаго не предвидится.

Она обошла весь садъ, останавливаясь передъ каждой скамейкой и повторяя негромко свое лаконическое: „бобы!“. Никто не отзывался, даже не оглядывался на старуху, и она шла дальше. Только при выходѣ изъ сада одинъ изъ чтецовъ остановилъ ее

Это былъ молодой человѣкъ въ крайне засаленномъ и мѣстами порванномъ сюртукѣ. Засаленная и порыжѣвшая шапка еле держалась на копнѣ нечесаныхъ волосъ. Молодой человѣкъ былъ въ очкахъ, сидѣлъ на скамейкѣ сгорбившись и уткнувшись въ книгу. Услышавъ лаконическое „бобы!“, онъ, не отрываясь отъ книги, поспѣшно воскликнулъ:

— Слушайте! Идите сюда! Дайте три стаканчика за полторы копейки.

И, продолжая глядѣть въ книгу, подставилъ Эстеръ полу.

Когда Эстеръ отмѣрила ему бобы и получила деньги, къ ней подошелъ сидѣвшій на противоположной скамейкѣ юноша съ длинной и голой шеей, одѣтый въ какой-то парусиновый халатъ. Въ рукѣ у него была толстая книга. Тоже не глядя на Эстеръ, онъ пробормоталъ:

— Дайте и мнѣ на копейку бобовъ.

Выставивъ раскрытый карманъ халата и протягивая Эстеръ какъ-то бокомъ монету, онъ обратился къ сидѣвшему на скамейкѣ:

— Что вы читаете, Шахновичъ?

— Что я читаю? Я читаю Ницше,—отвѣтилъ какъ бы про себя Шахновичъ, не отрываясь отъ книги, и черезъ минуту прибавилъ съ чувствомъ:—Глубокъ, страшно глубокъ!

— Э! Гегель глубже!.. А я читаю совсѣмъ глупую книгу. Потеря времени,—прибавилъ онъ.

— Какую?

— „Проблемы идеализма“... Можно съ ума сойти! Люди не понимаютъ философіи и пишутъ! Я взялся бы въ полчаса разбить ихъ въ пухъ и прахъ!

Эстеръ ушла изъ сада. Выйдя на большую улицу, она увидѣла идущаго ей навстрѣчу юношу лѣтъ девятнадцати, высокаго, стройнаго, съ открытымъ добрымъ лицомъ, обросшимъ мягкой свѣтлой бородкой, и ясными, смѣло глядящими впередъ глазами. Юноша былъ въ свѣтлой блузѣ, опоясанной шнуркомъ, и въ студенческой фуражкѣ. Онъ шелъ какъ-то бодро и безпечно, и на всей его фигурѣ лежала печать чего-то наивнаго, честнаго и прямодушнаго.

Эстеръ хорошо знала этого юношу, который часто захаживалъ къ ея Басѣ. Она знала, что это Хаимъ Баркановъ, сынъ мѣстнаго богача, именитаго Вульфа Барканова; знала она, что онъ состоитъ членомъ „организаціи". Она считала молодого Барканова, не въ примѣръ другимъ товарищамъ ея дочери, и своимъ личнымъ знакомымъ. Каждый разъ, когда онъ приходилъ, онъ и съ нею любезно здоровался, иногда заговаривалъ съ нею по общимъ вопросамъ и, уходя, подавалъ руку. Это постоянно казалось ей страннымъ и нѣсколько смѣшнымъ. Она обыкновенно поспѣшно вытирала свою маленькую костлявую и изрѣзанную сѣтью грязныхъ рубцовъ руку о подолъ и какъ-то неуклюже и торопливо совала ее ему, точно выполняя комичный, но пріятный обрядъ.

Увидѣвъ Барканова, Эстеръ инстинктивно нѣсколько смутилась. Она хорошо знала, что Баркановъ не только не гнушается бѣдняками, но, напротивъ, даже особенно уважаетъ ихъ. Но тѣмъ не менѣе она сразу вспомнила о своемъ убогомъ платьѣ и почувствовала на рукѣ корзинку съ бобами.

Завидя Эстеръ, Баркановъ еще издали началъ ей улыбаться и, поровнявшись съ нею, проговорилъ

сердечно: „Добраго утра!“ и нѣсколько разъ какъ-то особенно дружески и интимно кивнулъ ей головой, точно желая сказать: „мы могли бы много интереснаго и пріятнаго сказать другъ другу, но намъ некогда“.

— Добраго утра, добрый годъ!—отвѣтила Эстеръ тоже сердечно, но болѣе сдержанно, боясь показаться навязчивой своимъ знакомствомъ.

Баркановъ прошелъ мимо нея. Но, отойдя нѣсколько шаговъ, онъ поспѣшно вернулся и догналъ ее.

— Я хотѣлъ попросить васъ, Эстеръ, сказать Басѣ,—заговорилъ онъ, поровнявшись съ нею,—что сегодня ничего не будетъ, потому что Давидъ еще не вернулся. Будетъ завтра въ ту же пору... Бася знаетъ, въ чемъ дѣло.

— Очень хорошо, я скажу ей, какъ только она придетъ,—отвѣтила серьезно Эстеръ.

Баркановъ пошелъ съ нею рядомъ.

— Что слышно новаго?—спросилъ онъ такъ себѣ лишь бы о чемъ-нибудь заговорить.

— Вы спрашиваете меня? Это я васъ должна спрашивать: вы больше меня можете знать новостей,—проговорила скромно и сдержанно Эстеръ и затѣмъ прибавила:—Вотъ новость—конечно, слышали:—утромъ убили полицейскаго...

— Слы-шалъ... — протянулъ съ неудовольствіемъ Баркановъ.—Сумасшествіе!.. Изъ нашей организаціи этого навѣрное никто не сдѣлалъ!—прибавилъ онъ увѣренно, отгадавъ, что Эстеръ ждала отъ него отвѣта именно на этотъ вопросъ.

— Я и сама такъ думала,—проговорила она тихо. Помолчавъ немного, она спросила:

— Не слышно ли чего-нибудь о евреяхъ?

— Скоро будетъ слышно и о евреяхъ, и о русскихъ!—отвѣтилъ убѣжденно Баркановъ.—Будутъ такія перемѣны, какихъ намъ раньше и не снилось.

Онъ говорилъ по-еврейски. На родномъ языкѣ онъ изъяснялся съ нѣкоторымъ трудомъ, но любилъ говорить на немъ, считая свои разговоры полезными упражненіями.

— Когда еще это будетъ, а пока въ городѣ говорятъ о погромѣ,—отвѣтила скептически Эстеръ.

Баркановъ и самъ зналъ, что въ городѣ циркулируютъ упорные слухи о готовящемся погромѣ. Вопросъ этотъ неоднократно обсуждался въ комитетѣ, членомъ котораго онъ состоялъ. Но онъ почему-то считалъ неподходящимъ высказывать Эстеръ все, что онъ думалъ по этому поводу. Ей онъ почему-то считалъ своимъ долгомъ говорить оптимистическія рѣчи, освѣщать все въ розовомъ свѣтѣ.

— Погромовъ теперь больше не будетъ!—проговорилъ онъ увѣренно.—Другое теперь время настало.

— Дай-то Богъ,—отвѣтила не совсѣмъ довѣрчиво Эстеръ.—Какъ-то даже и не вѣрится, чтобы евреямъ когда-нибудь лучше стало.

— Тутъ не въ евреяхъ дѣло,—заговорилъ наставительно Баркановъ.—Когда всѣмъ плохо, и евреямъ плохо. А перемѣнятся обстоятельства, и всѣмъ лучше станетъ—и евреямъ, и русскимъ.

Эстеръ нѣсколько загадочно усмѣхнулась и заговорила, какъ бы извиняясь:

— Разсказываютъ глупую исторію. Была у одного еврея тощая старая коза, которая совершенно перестала давать молоко. Случился въ городѣ падежъ.

Хворали всюду козы. Захворала и эта коза и околѣла. Еврей и говоритъ: „Пока дѣло шло о молокѣ, моя коза будто и не была козою. А какъ дошло дѣло до падежа, моя коза стала такою же козою, какъ и другія“...

— Хорошій анекдотъ! — проговорилъ съ удовольствіемъ и нѣсколько покровительственно Баркановъ.

— Не я его выдумала,—отвѣтила скромно Эстеръ и чуть-чуть покраснѣла.

Нѣсколько минутъ они шли молча.

— Я васъ далеко завела. Вы, кажется, шли въ другую сторону?—проговорила она, остановившись.

— Нѣтъ, ничего. Я поджидаю товарища и разгуливаю.

— А что слышно о забастовкѣ? — спросила опять Эстеръ.

Это была забастовка чулочницъ, организованная бундовскимъ комитетомъ и длившаяся уже нѣсколько недѣль. Наканунѣ ночью арестовали четырехъ стачечницъ изъ наиболѣе активныхъ, и положеніе становилось критическимъ. Но Баркановъ и тутъ не счелъ нужнымъ откровенно высказаться о положеніи дѣлъ и отвѣтилъ неопредѣленно:

— Ничего себѣ идетъ. Можно надѣяться, что выиграютъ.

— Пусть имъ Богъ поможетъ,—проговорила какъ-то задушевно Эстеръ.—Бѣдныя дѣти, трудятся съ утра до ночи, слѣпятъ глаза, отдаютъ всѣ свои молодыя силы, а заработокъ ихъ такой, что не только на хлѣбъ, но и на воду не хватитъ. Развѣ они не правы, если просятъ прибавки въ нѣсколько копеекъ? Но иди говори съ хозяевами, когда для нихъ рабо-

чій какъ будто и не человѣкъ. Рубль для нихъ дороже человѣка...

— Вы говорите вполнѣ правильно!—подтвердилъ горячо ея слова Баркановъ.

— Вы видите, я ужъ говорю почти какъ „сознательная работница“,—проговорила съ чуть замѣтной ироніей и въ то же время съ нѣкоторою гордостью Эстеръ.

— Не „почти“, а таки совсѣмъ,—поправилъ ее Баркановъ.

— Пожалуй, скоро вы сможете меня принять въ „организацію“,—продолжала она тѣмъ же тономъ.

— Отчего нѣтъ! Только поступите.

— Что жъ вы думаете...—проговорила нѣсколько задумчиво и ужъ полусерьезно Эстеръ.

Баркановъ увидѣлъ подходившаго къ нему товарища и остановился.

— Ну, до свиданія!—проговорилъ онъ, протянувъ руку собесѣдницѣ.

Эстеръ по обыкновенію поспѣшно потерла руку о передникъ и сунула ее ему торопливо и неуклюже.

IV.

Эстеръ спѣшила домой. Обыкновенно она возвращалась домой часа за два до прихода дѣтей съ работы. Фабрики, на которыхъ они работали, находились на другомъ концѣ города, такъ что приходить домой обѣдать неудобно было. Эстеръ поэтому обыкновенно топила печь вечеромъ и готовила ужинъ. На этотъ разъ она нѣсколько опоздала и рѣшила сдѣлать холодный ужинъ. Встрѣча съ Баркановымъ

привела ее въ нѣсколько праздничное настроеніе, и она задумала приготовить къ ужину что-нибудь особенно лакомое, чтобы обрадовать дѣтей. Она купила два куска вареннаго судака, рѣдьки, пару огурцовъ и полкувшина простокваши. „Будетъ ужинъ по-царски“, думала она, счастливо улыбаясь.

Эстеръ жила на окраинѣ города, въ рабочей слободкѣ, носившей названіе „Подлѣсье“, состоявшей изъ длинной, нѣсколько извилистой и грязной улицы, изрѣзанной многими узенькими переулками. Эстеръ нанимала квартиру, состоявшую изъ небольшой комнатки и половины кухни. Обстановка комнаты была обычная въ тѣсныхъ нищенскихъ квартирахъ: постель, диванчикъ, ободранный и съ торчащей соломой, столикъ и пара крошечныхъ табуретокъ. Въ углу еще стоялъ покосившійся, полусгнившій старинный комодъ съ постоянно выдвинутыми ящиками. На комодѣ стояла пара мѣдныхъ подсвѣчниковъ и лежали въ кучѣ порванная кофточка, грязное полотенце, молитвенникъ и „Эрфуртская программа“ Каутскаго.

Придя домой, Эстеръ принялась готовить ужинъ. Она накрошила въ миску рѣдьки и огурцовъ и налила простокваши. Затѣмъ она на тарелкѣ приправила судака съ лукомъ и перцемъ. Эстеръ была голодна и, глядя на клейкаго судака, вспоминала его сладковато-острый вкусъ, и у нея во рту набирались слюнки. Но она и не подумала ѣсть до прихода дѣтей.

Въ домъ вошла дѣвушка, невысокая, коренастая, съ нѣсколько скуластымъ лицомъ, широковатымъ носомъ съ низкой переносицей, съ рѣзкими морщинами на лбу и густыми бровями, изъ-подъ которыхъ

глядѣли серьезно, почти сурово, сѣрые умные глаза. Въ фигурѣ и походкѣ дѣвушки было нѣчто самостоятельное и сильное. Съ перваго взгляда видно было, что это человѣкъ, не мало поработавшій на своемъ вѣку, не мало испытавшій, знающій жизнь и умѣющій смотрѣть ей въ глаза прямо и просто.

— Сегодня, Басенька, холодный ужинъ! — поспѣшила Эстеръ сообщить дочери, едва та переступила порогъ.—Опоздала и не успѣла затопить.

— Еще лучше,—успокоила ее Бася.—Хорошо, что къ столу приготовлено: мнѣ некогда,—прибавила она.

— Я видѣла Хаима Барканова,—отозвалась Эстеръ.— Онъ велѣлъ мнѣ сказать тебѣ, что сегодня ничего не будетъ, а только завтра въ эту же пору... Онъ сказалъ, что ты поймешь, въ чемъ дѣло.

Бася хорошо поняла, въ чемъ дѣло. Собраніе комитета, назначенное на этотъ вечеръ, откладывалось на завтра.

Бася нахмурилась, сдѣлала непроизвольно нетерпѣливый жестъ рукой и почему-то прошла въ комнату. Вернувшись сейчасъ назадъ въ кухню, она спросила отрывисто:

— Больше онъ ничего не сказалъ?

— Ничего, — отвѣтила тономъ сожалѣнія Эстеръ.

„Вотъ всегда такъ, вѣчно эти неожиданныя перемѣны!“ подумала Бася съ возмущеніемъ. Она уже распорядилась завтрашнимъ вечеромъ, назначила людямъ свиданіе, обѣщала притти на собраніе, отложила на завтра и другія дѣла. И вдругъ перемѣна! Иди предупреждай теперь всѣхъ. И главное—самъ, никого не спросясь, взялъ и отмѣнилъ собраніе, точно онъ главный хозяинъ въ комитетѣ. Могъ, ка-

жется, зайти, объяснить, посовѣтоваться. Она однако не долго останавливалась на этомъ и сейчасъ же стала соображать, какъ справиться съ дѣлами, назначенными на завтра. Собраніе можно было безъ ущерба для дѣла отложить на нѣсколько дней. Кое съ кѣмъ можно будетъ повидаться на „биржѣ“ сегодня, другія дѣла тоже нетрудно будетъ какъ-нибудь уладить.

— Да! Я совсѣмъ и забыла!—спохватилась вдругъ виновато Эстеръ.—Онъ мнѣ сказалъ, что сегодня ничего не будетъ потому, что Давидъ еще не пріѣхалъ... Хорошая у меня голова! Какъ рѣшето!

— А-а, вотъ что! — проговорила примирительно Бася, и ея озабоченно наморщенный лобъ разгладился. Она почему-то даже повеселѣла и, взглянувъ на столъ, проговорила одобрительно:—Хорошо, что ты взяла на ужинъ судака. Мнѣ сегодня цѣлый день почему-то хочется соленаго.

И, оглянувшись, она спросила:

— Что это, Мирлъ еще не пришла? У нихъ вышли одновременно съ нами изъ фабрики.

— Ты не знаешь Мирлъ? Идетъ себѣ по улицѣ какъ сонная и глазѣетъ по сторонамъ какъ ворона.

— Ну, я ждать ее не буду, я ѣсть хочу!—проговорила Бася и сейчасъ же сѣла къ столу и принялась ѣсть.

— Понятно, чего ее ждать,—согласилась Эстеръ, въ глубинѣ души сильно огорченная, что нарушена идиллія совмѣстной семейной трапезы.

Она умыла руки и тоже сѣла къ столу, почему-то на край табуретки.

— Степана рыжаго убили... Ты, конечно, слышала,—проговорила спокойно Бася.

— Слышала ли я! Базаръ прямо ходуномъ ходитъ. Только разговора что объ этомъ, — отвѣтила Эстеръ и, помолчавъ немного, прибавила:—Баркановъ мнѣ сказалъ, что изъ „организаціи“ этого навѣрное никто не сдѣлалъ.

— Почему это онъ вдругъ заговорилъ съ тобой объ этомъ?—удивилась Бася.

— Онъ меня встрѣтилъ на улицѣ и цѣлыхъ полчаса шелъ со мной рядомъ по улицѣ и разговаривалъ, разсказывалъ.

— О чемъ онъ разсказывалъ?—спросила съ любопытствомъ Бася.

Эстеръ хотѣла припомнить, о чемъ она говорила съ Баркановымъ, и не могла припомнить ни одной фразы.

— О разныхъ вещахъ говорилъ... Такъ себѣ говорилъ, какъ говорятъ,—отвѣтила она неопредѣленно.

И, чтобы перемѣнить разговоръ, тотчасъ же прибавила:

— Я встрѣтила сегодня Лейзера носильщика. Помнишь, старикъ, который жилъ у Ципы старьевщицы. Бѣдняга двѣ недѣли пролежалъ въ больницѣ, теперь ходитъ по базару и ничего не зарабатываетъ. И ко всѣмъ этимъ мукамъ Богъ еще благословилъ его сынкомъ воромъ, который сидитъ въ острогѣ...

— Это жъ его сынъ Пейшке воръ. Кто жъ его не знаетъ? Онъ имѣетъ славу. Онъ не только воръ, онъ и шпіонъ. Ему уже нѣсколько разъ мяли бока... Онъ и не сидитъ больше въ острогѣ. Я его сегодня видѣла на улицѣ...

Въ домъ вошла Мирлъ, высокая не по лѣтамъ, худенькая и стройная дѣвочка съ смуглымъ, почти

какъ у мулатки, лицомъ, тонкими чертами и большими черными мечтательными глазами.

Она вошла медленно, остановилась и проговорила протяжно съ наивнымъ удивленіемъ:

— Смо-отри, Бася уже дома!..

— А ты что думала? Вѣдь она не такая ворона, какъ ты,—начала ее журить Эстеръ.—Гдѣ это ты пропадала до сихъ поръ?

— Я?—переспросила Мирлъ разсѣянно, какъ бы стараясь сообразить, о чемъ ее спрашиваютъ.—Я остановилась съ Ривкой Ханы сапожницы. Она уѣзжаетъ въ Америку. Вся семья уѣзжаетъ. Они уже распродали имущество. А Ривка не хочетъ ѣхать, плачетъ-разливается...

— Ты еще стала посреди дома разсказывать исторіи!—перебила ее Эстеръ.—Тебѣ еще не пора ѣсть? Мой руки и садись ѣсть.

Мирлъ взглянула на столъ и, точно вспомнивъ что-то, проговорила оживленно:

— Я таки страшно ѣсть хочу!

И она быстра и граціозно выбѣжала въ сѣни, помыла руки и сѣла къ столу.

— Борехъ развѣ тоже уѣзжаетъ въ Америку?—спросила Бася про брата Ривки, котораго она знала какъ одного изъ самыхъ активныхъ членовъ „организаціи“.

— Ривка говоритъ, что Борехъ больше всѣхъ рвется ѣхать. Онъ всѣхъ и уговорилъ... А она говоритъ, что развѣ ее свяжутъ и насильно повезутъ, а такъ не поѣдетъ...

— Ѣдутъ, бѣгутъ...—проговорила убитымъ тономъ Эстеръ.—Кто теперь не ѣдетъ? Если только здоровый

человѣкъ, онъ и ѣдетъ. Изъ нашей слободки ѣдутъ— которыхъ я знаю—Сендеръ и Мойше-Лейбъ портные, Мендель Буракъ, Файвель столяръ...

Басѣ непріятенъ былъ разговоръ на эту тему, и она прервала перечисленія:

— Ну, не всѣ еще уѣзжаютъ, кое-кто и здѣсь еще останется...

Нѣсколько минутъ всѣ ѣли молча.

— Да, я и забыла тебѣ сказать!—вспомнила Эстеръ.—Сегодня утромъ меня остановила жена Нееха коваля и попросила, чтобы я непремѣнно сказала тебѣ, чтобы ты попросила „организацію" вызвать на судъ Лейвика жестяника. Онъ обѣщалъ жениться на ея дочери, взялъ пятьдесятъ рублей приданаго и теперь отказывается жениться.

— Онъ вѣдь возвращаетъ эти пятьдесятъ рублей,— отозвалась Бася.

— Такъ она же не хочетъ ихъ брать. Она хочетъ, чтобы „организація" принудила его жениться...

— Этого „организація" не можетъ дѣлать!—заявила рѣшительно Бася.

— Я ей говорила это же самое. Какъ можно принуждать человѣка насильно жениться? А она твердитъ свое: „организація" все можетъ.

Мирлъ, поглощенная какою-то мыслью и не слышавшая разговора, вдругъ встрепенулась и обратилась къ Басѣ:

— Бася! какая разница между мелкимъ буржуа и просто буржуа?

— Разница та же, что между обыкновеннымъ воришкой и большимъ воромъ,—отвѣтила сразу Бася и прибавила серьезнѣе:—Ты вѣдь знаешь, что такое

„мелкій“? Это малый. А буржуа что значитъ, ты тоже знаешь...

— Просто богачъ,—пояснила Эстеръ.

— А почему сіонистовъ называютъ просто „буржуа“, а эсъ-эровъ — мелкими буржуа? — спросила опять Мирлъ.

Басѣ этотъ вопросъ не понравился. По этому вопросу она заподозрѣла, что Мирлъ подпала подъ вліяніе кого-либо изъ вражескаго лагеря и ей былъ внушенъ этотъ вопросъ.

— Терпѣть не могу, когда повторяютъ чужія слова!—проговорила она съ оттѣнкомъ раздраженія и поднялась изъ-за стола.

Эстеръ не поняла, почему Бася разсердилась на Мирлъ, и сочла нужнымъ заступиться за дѣвочку:

— Чего же ты на нее кричишь? Развѣ ужъ нельзя спрашивать? Что, тебѣ дорого стоитъ, если ты ей объяснишь?

Мирлъ подняла на сестру свои большіе наивные глаза и проговорила искренно:

— Чтобъ мнѣ такъ быть живой, Бася, какъ я не повторяю чужихъ словъ. Я стояла съ Ривкой, мимо насъ прошелъ Іосифъ эсъ-эровецъ. Ривка и говоритъ: „Вотъ мелкій буржуй прошелъ“. Я и подумала: почему его называютъ „мелкимъ“?—и спросила.

Басѣ стало нѣсколько совѣстно, что она обвинила напрасно сестру, и она отвѣтила мягче:

— Я тебѣ объясню какъ-нибудь въ другое время. Теперь мнѣ некогда.

Мирлъ подошла къ Басѣ, взяла ее за пуговицу кофты и, поднявъ къ ней голову, заглянула ей въ глаза молящимъ взглядомъ.

— Басенька, дорогая, когда же ты меня будешь „агитировать“?—проговорила она съ глубокимъ чувствомъ.—Вѣдь ты же обѣщала „дать мнѣ агитацію“.

— На этой недѣлѣ, непремѣнно,—отвѣтила твердо Бася.

Мирлъ сразу оживилась.

— Ой! выучила я сегодня пѣсню! — воскликнула она вдругъ восторженно.—Говорю вамъ, сердце отъ нея таетъ, такая она красивая!

— Что за пѣсня?—заинтересовалась Эстеръ.

— Вотъ слушайте, я вамъ спою ее!

И она запѣла неокрѣпшимъ, но довольно пріятнымъ голоскомъ народную пѣсню, въ которой разсказывается, какъ двое товарищей, заключившихъ союзъ на жизнь и смерть, гордо стояли въ бою съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ; какъ пуля поразила на смерть одного, и другой, цѣлуя его раны, окуталъ убитаго въ красное знамя и сталъ призывать къ мести за кровь убитаго товарища. Пѣсня заканчивалась словами:

Спокойно, товарищъ, подъ знаменемъ спи:
твой врагъ, какъ и ты, ужъ убитъ наповалъ.

Бася внимательно прослушала пѣсню и сказала дѣловитымъ тономъ:

— Пѣсня красивая, только для демонстрацій она не годится.

Эстеръ, читавшая шопотомъ послѣтрапезную молитву, покачала одобрительно головой.

— Пѣсня хватаетъ за сердце! — проговорила она, окончивъ молитву, и прибавила оживленно: — Я помню, когда я еще была дѣвушкой — порядочно лѣтъ тому назадъ! — у насъ тутъ въ слободкѣ тоже

распѣвали разныя пѣсни о богатыхъ и бѣдныхъ. Юноши сами сочиняли и распѣвали.

— Ты ихъ помнишь? — спросила съ интересомъ Мирлъ.

— Отчего мнѣ ихъ не помнить?

И она тихо и нѣсколько конфузливо запѣла:

Бѣдняки сказали
N-скимъ богачамъ:
какъ бы вы не стали
скоро равны намъ?

—

Честно уплатите
всѣ свои долги,
а затѣмъ идите
по домамъ, какъ мы!

Дѣвушкамъ пѣсня понравилась.

— Пѣлись еще и другія пѣсни,—продолжала Эстеръ.—Вашъ отецъ—намъ на долгіе годы! [1]—бывало, въ праздникъ „Шимхасъ-Тойре“, когда выпьетъ немного лишняго, всегда поетъ:

Чѣмъ бѣднѣе—удалѣе,—
мнѣ плевать на нихъ!
Кто богаче—сынъ собачій,—
не нуждаюсь въ нихъ!

—

Взялъ мѣшочекъ на шесточекъ—
мнѣ плевать на нихъ!
—и на плечи. Маршъ далече!—
не нуждаюсь въ нихъ!

—

Черезъ Критчевъ на Бердичевъ,—
мнѣ плевать на нихъ!
мимо Пинска, мимо Минска,—
не нуждаюсь въ нихъ!

[1] Обычное прибавленіе при упоминаніи о покойникѣ.

— Богачи не любили этой пѣсни, сердились, когда онъ ее пѣлъ,—продолжала вспоминать Эстеръ.

— Ну, я ухожу, — проговорила поспѣшно Бася и, зайдя въ комнату, стала вынимать изъ комода брошюрки и книжки и заворачивать ихъ въ бумагу.

— Я тоже,—проговорила нѣсколько нерѣшительно Мирлъ.

— Сегодня вѣдь четвергъ. Надо сходить за мукой на булки для субботы... Мирелe, можетъ быть, пойдешь со мною и забѣжишь къ Элкѣ за дрожжами?

Мирлъ поняла, что это одинъ изъ дипломатическихъ маневровъ задержать ее дома, и разсмѣялась.

— За дрожжами я схожу, а потомъ все-таки пойду, куда мнѣ надо,—проговорила она плутовато.

— Очень надо, — проговорила съ слабымъ протестомъ Эстеръ и, обернувшись въ сторону Баси, спросила:—Ты навѣрное поздно придешь? Я оставлю дверь незапертой.

— Хорошо, — отвѣтила ей изъ комнаты какъ-то сухо Бася.

Эстеръ и Мирлъ вышли. Бася, отобравъ книжки, которыя она должна была раздѣлить между товарками по группѣ, представительницей которой она была, тоже собралась уйти. Но въ это время въ домъ вошелъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, бритый, съ закрученными свѣтлыми усиками, въ новомъ пиджакѣ, въ цвѣтномъ галстукѣ и въ котелкѣ. По всему своему виду вошедшій походилъ на комми-вояжера изъ разряда фатоватыхъ. Къ довершенію сходства онъ держалъ подъ мышкой завернутый въ черной клеенкѣ пакетъ, какой обыкновенно имѣютъ при себѣ съ образцами товаровъ комми-вояжеры.

Вошедшій, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, остановился противъ Баси молча, съ смѣющимися глазами и еле сдерживаемой улыбкой на губахъ.

Бася, увидѣвъ его, сдѣлала большіе, удивленные глаза, въ которыхъ выразились и недоумѣніе и радость.

— Узнала?—проговорилъ вошедшій, и лицо его расширилось веселой улыбкой.

— Матвѣй?!—воскликнула все еще не пришедшая въ себя Бася.—Какимъ образомъ? Бѣжалъ? Давно?

Матвѣй махнулъ рукой и проговорилъ смѣясь:

— Ужъ и самъ забылъ когда! Больше полугода. Успѣлъ и за границей побывать и еще разъ быть арестованнымъ...

У Баси было сіяющее радостью лицо. Но она все-таки неодобрительно покачала головой и проговорила съ упрекомъ:

— И ты пріѣхалъ сюда, чтобы опять быть арестованнымъ? Вѣдь здѣсь всякій ребенокъ тебя знаетъ!

— Зато же и я всякаго ребенка знаю,—отвѣтилъ, смѣясь, Матвѣй.

— Нѣтъ! Это безуміе!—стояла на своемъ Бася.

— Я считаю безуміе лучшей изъ конспирацій... Нѣтъ, видишь ли...—заговорилъ онъ серьезно.—Я не собирался заѣзжать сюда. Я ѣхалъ къ границѣ по спеціальному дѣлу. Но по дорогѣ я рѣшилъ заѣхать сюда, повидаться кое съ кѣмъ изъ комитета... „Явки“ сюда у меня не было, я и направился къ тебѣ. Я уже зналъ, что ты вернулась въ N... Оставаться здѣсь у тебя конечно неудобно... Куда можно пойти?

— Иди къ Барканову. Всего удобнѣе переночевать у него.

— Какой это Баркановъ? Это гимназистъ?

— Онъ ужъ студентъ. И въ тюрьмѣ посидѣлъ. Теперь работаетъ. Онъ въ комитетѣ... Я тоже въ комитетѣ,—прибавила она суховато.

— Ахъ, вотъ какъ! Такъ я жъ могу тебѣ сказать, въ чемъ дѣло, зачѣмъ я пріѣхалъ. Это насчетъ оружія.

— Объ этомъ тебѣ надо будетъ поговорить съ Давидомъ. Это по его части...—перебила его Бася.

— Давидъ здѣсь?—обрадовался Матвѣй.—Что, онъ все время здѣсь?

— Все время здѣсь, все время въ комитетѣ и ни разу не сидѣлъ. Только разъ, и то случайно, у него обыскъ былъ... Онъ вѣдь замѣчательно какъ конспиративенъ.

— Старая „бундовская“ закваска! — проговорилъ съ гордостью Матвѣй. — Да, вотъ что, — вспомнилъ онъ. — Я вамъ оставлю нѣсколько „браунинговъ“. Здѣсь шесть штукъ,—онъ указалъ на свой пакетъ.— Только вамъ надо будетъ уплатить мнѣ за нихъ сейчасъ.

— Ладно,—отвѣтила она и отнесла пакетъ въ комнату.

— Я завтра уѣду,—проговорилъ Матвѣй,—и хотѣлось бы повидать родителей... Думаю ночью пойти къ нимъ...

Родители Матвѣя жили въ этой же слободкѣ, и Бася хорошо знала ихъ. Первою ея мыслью было, по конспиративнымъ соображеніямъ, энергично запротестовать противъ свиданія Матвѣя съ родителями. Но, вспомнивъ, что отецъ Матвѣя серьезно боленъ, она ограничилась предостереженіемъ:

— Надо только принять мѣры, чтобы тебя тамъ никто изъ постороннихъ не видалъ... Ну, иди,—прибавила она.—А то мать и Мирлъ придутъ, увидятъ тебя.

— Ты думаешь, они меня узнаютъ въ этомъ видѣ?—спросилъ полушутя, полусерьезно Матвѣй.—Я вѣдь теперь похожъ... на кого?

— На шпіона,—отвѣтила спокойно Бася.

— Это и хорошо,—удовлетворился Матвѣй и, крѣпко пожавъ руку Басѣ, вышелъ изъ дому.

— Завтра увидимся,—добавилъ онъ, уходя.

V.

Матвѣй, уйдя отъ Баси, направился къ Барканову. Вечерѣло, и на слободкѣ, по которой проходилъ Матвѣй, почти у каждаго домика возились дѣти, сидѣли на завалинкахъ и стояли группами взрослые, вышедшіе на улицу освѣжиться вечерней прохладой. По всей слободкѣ царило мирное и шумливое оживленіе.

Матвѣй былъ роднымъ дѣтищемъ этой слободки. Здѣсь, въ Подлѣсьѣ, онъ родился, здѣсь онъ провелъ свое дѣтство и юность, вплоть до ареста. Когда его отправили въ ссылку на восемь лѣтъ въ Якутскую область, онъ почти потерялъ надежду когда-нибудь снова попасть на родину. Но ему удалось бѣжать, и вотъ, послѣ слишкомъ двухлѣтняго мытарства то по тюрьмамъ, то въ ссылкѣ, то на положеніи нелегальнаго, онъ опять очутился въ родномъ городѣ и въ своей слободкѣ, гдѣ ему знакомы и близки каждый уголокъ, каждая мелочь, каждый камешекъ.

Изъ обычной предосторожности онъ шелъ посреди улицы; но онъ былъ увѣренъ, что и вблизи никто изъ обитателей слободки не узналъ бы его. Кому могло бы притти въ голову, что этотъ медленно идущій баринъ въ котелкѣ, въ глаженой рубахѣ съ цвѣтнымъ галстукомъ есть не кто иной, какъ Зелигъ, сынъ Эліокума Сойфера [1] („Матвѣй" было его конспиративное имя),—тотъ самый Зелигъ, который одѣвался нигилистомъ, носилъ копну волосъ на головѣ и не ходилъ, а постоянно куда-нибудь „мчался".

Болѣзненно-щемящее чувство охватило Матвѣя. Онъ издали глядѣлъ на сидѣвшихъ и стоявшихъ людей и почти всѣхъ узнавалъ. Среди нихъ были его знакомые и родные, друзья и товарищи. Онъ сознавалъ, что стоитъ ему подойти къ кому-нибудь изъ нихъ и дать себя узнать, какъ многіе бросятся къ нему съ объятіями, съ радостными восклицаніями, съ перекрестными вопросами. И быстрымъ шумнымъ потокомъ понесется по всему Подлѣсью вѣсть, что Зелигъ Эліокума, Зелигъ-бундовецъ вернулся, и раньше всего, быстрѣе всего полетитъ эта вѣсть на окраину слободки, въ переулочекъ, къ маленькому домику, къ старикамъ родителямъ.

У Матвѣя болѣзненно сжалось сердце, и въ душѣ его проснулось ощущеніе чего-то глубоко обиднаго. Какая-то внѣшняя сила, незримая, неощутимая и въ то же время грубо матеріальная, жестокая и безпощадная, давитъ его, сковываетъ его волю, его чув-

---

[1] Древне-еврейскій „писецъ". Спеціалистъ по писанію на пергаментѣ свитковъ Завѣта, домашнихъ амулетовъ (мезузо) и камей. Это составляетъ особое ремесло, очень почтенное среди набожныхъ евреевъ.

ства, всѣ его движенія, удерживаетъ его отъ того, чтобы побѣжать къ родителямъ, ставитъ между нимъ и родной слободкой толстую стеклянную стѣну, сквозь которую онъ можетъ все видѣть, не будучи въ состояніи ни къ чему и ни къ кому приблизиться. На минуту ему даже показалось страннымъ и дикимъ, что онъ теперь такъ безпрекословно подчиняется вражеской невидимой силѣ, въ то время, когда, будучи во власти этой силы, лицомъ къ лицу съ нею, онъ систематически не подчинялся ея велѣніямъ и смѣло выказывалъ ей свою ненависть и свое презрѣніе.

Онъ уже почти дошелъ до конца слободки, какъ вдругъ въ душѣ его вспыхнуло что-то страстное и сильное, смѣсь гнѣва и рѣшимости, вспыхнулъ одинъ изъ тѣхъ порывовъ, которые товарищи называли безумными, осуждали, но которыми въ глубинѣ души любовались.

Матвѣю были хорошо знакомы эти порывы, которые ставили его часто на край пропасти. Но зато эти же порывы отчаянной рѣшимости не разъ и спасали его. Развѣ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, когда полиція явилась ночью на квартиру товарища, у котораго онъ скрывался, онъ избѣгъ бы ареста, если бы вдругъ не опрокинулъ лампы и при общемъ смятеніи не выскочилъ изъ окна, захвативъ съ собою пачку нелегальщины?

Матвѣй сразу остановился, сильно и какъ-то повелительно дернулъ рукой и, рѣзко повернувшись, поспѣшно и рѣшительно пошелъ обратно, направляясь къ родительскому жилищу.

Зайдя въ переулочекъ, гдѣ находился его родной

домъ, онъ на минуту остановился и оглянулся. Какъ давно, безконечно давно, ушелъ онъ отсюда! Какъ много пережито, какъ много перемѣнъ, огромныхъ историческихъ событій произошло за это время. А здѣсь? Точно этотъ переулочекъ остался внѣ времени. Въ немъ все осталось точно такимъ же, какъ было и два года и двадцать лѣтъ тому назадъ, во время ранняго дѣтства Зелига. Тѣ же бѣдные, старые, жалкіе домики, тѣ же грязь и отбросы посреди переулка, вотъ то же бревно у дома Хаима меламеда, та же облупившаяся и заржавѣвшая вывѣска Генеха сапожника; даже большой камень, лежавшій почти посреди переулка и мѣшавшій проѣзду, тоже остался на своемъ мѣстѣ. А вотъ и отцовскій домъ, небольшой, но стройный, съ крылечкомъ, съ двумя окнами, въ которыхъ виденъ свѣтъ.

Съ сильно бьющимся сердцемъ подошелъ Матвѣй къ окну и заглянулъ въ домъ. Тамъ было нѣсколько женщинъ, среди которыхъ онъ тотчасъ увидѣлъ свою мать, маленькую худенькую старушку съ грустными, добрыми глазами. Она не постарѣла, а какъ-то больше согнулась, и глаза ея сдѣлались болѣе грустными. Она что-то говорила и спокойно и безнадежно ритмически покачивала головой. Женщины отвѣчали ей такимъ же покачиваньемъ головы, и на ихъ лицахъ было выраженіе вялаго сочувствія. Отъ всей этой, на первый взглядъ мирной, картины вѣяло чѣмъ-то зловѣщимъ и безнадежнымъ.

Матвѣй искалъ глазами отца и, рѣшивъ, что онъ навѣрное въ задней комнатѣ, въ своей мастерской за работой, зашелъ во дворъ и подошелъ къ выходившему туда окну отцовской комнаты. И онъ увидѣлъ

отца, лежавшаго въ кровати, а возлѣ него хорошо одѣтаго господина, въ которомъ онъ сейчасъ узналъ очень популярнаго среди слободской бѣдноты доктора Брина.

„Отецъ боленъ!“ промелькнула въ головѣ Матвѣя острая испуганная мысль, и, приникнувъ къ окну, онъ сталъ вглядываться въ лицо отца. Старикъ лежалъ вытянувшись, неподвижно, и на подушкѣ рѣзко выдѣлялась его большая сѣдая голова, на которой лежала черная ермолка. Лицо старика было совершенно изсохшее, точно выточенное изъ кости, желтое съ нѣсколько синеватымъ отливомъ. Глубоко впалые глаза казались огромными. Старикъ глядѣлъ впереди себя какъ-то неподвижно, спокойно и безнадежно.

Докторъ, который стоялъ, нагнувшись къ больному, выпрямился, и Матвѣй увидѣлъ у него въ рукѣ блестящій шприцъ для подкожныхъ впрыскиваній.

У Матвѣя на минуту потемнѣло въ глазахъ, и сердце его сжалось чувствомъ мучительной и нѣжной любви къ отцу. Чувство это сразу вспыхнуло сильно и бурно, точно прорвавшись изъ глубины далекаго дѣтства. Передъ глазами Матвѣя пронеслось прежнее лицо отца, благообразное, одновременно строгое и ласковое, и въ его ушахъ прозвучала фраза, съ которой отецъ обыкновенно начиналъ рѣчь, когда обращался къ нему: „Дѣло таково, ты долженъ знать и понимать, мой сынъ...“. И подъ вліяніемъ этого воспоминанія Матвѣю на минуту показалось, что то, что онъ видитъ въ окно,—какой-то миражъ, и стоитъ ему, Матвѣю, только войти въ домъ, какъ онъ тамъ увидитъ того, прежняго отца—здороваго, сурово-лас-

коваго, вѣчно сидящаго надъ своимъ пергаментомъ. Вѣдь ничто, ничто кругомъ не измѣнилось! Какъ же среди всей этой, сохранившей свой обычный видъ, обстановки отецъ, центръ всей этой жизни, окажется совершенно другимъ—больнымъ, умирающимъ?..

Матвѣй выпрямился и хотѣлъ пойти къ дверямъ. Но въ это время онъ увидѣлъ, что докторъ уходитъ, и рѣшилъ подождать его въ переулкѣ.

Докторъ вышелъ и тотчасъ же за нимъ вышла мать и, удержавъ его, стала о чемъ-то спрашивать. Издали Матвѣй не слышалъ, о чемъ она спрашивала, но онъ видѣлъ, что она глядитъ доктору прямо въ глаза съ мольбой, ожидая отъ него хоть слово надежды. Докторъ, очевидно, сжалился надъ нею.

— Не хуже, не хуже!—донеслись до Матвѣя успокоительныя слова доктора.—Завтра я опять зайду.

И, точно вырвавшись изъ тяжелой, удушливой атмосферы, онъ поспѣшно сошелъ съ крылечка и быстро направился къ другому концу переулка, гдѣ его ожидалъ извозчикъ.

Матвѣй остановилъ его, когда онъ собирался сѣсть.

— Скажите, пожалуйста, г. докторъ, онъ... Эліокумъ Сойферъ, очень боленъ?—спросилъ Матвѣй съ сдержаннымъ волненіемъ.

Докторъ пытливо взглянулъ на Матвѣя и не сразу отвѣтилъ.

— А вамъ зачѣмъ это знать?—спросилъ онъ.

— Мнѣ очень нужно знать. Прошу васъ, скажите!—проговорилъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.

— Д-да! Онъ очень боленъ! — отвѣтилъ твердо и значительно докторъ.

— Какая у него болѣзнь?

— Ракъ желудка...

Матвѣй слышалъ, что ракъ—очень тяжелая болѣзнь, но не зналъ, насколько она роковая.

— Но есть надежда на излѣченіе?—спросилъ онъ, и на его лицѣ появилось то же выраженіе, какое было только что на лицѣ матери.

— Ракъ неизлѣчимъ,—отвѣтилъ докторъ.—Если бы больной былъ моложе и если бы хватились во-время, можно было бы попробовать операцію сдѣлать, да и то... А теперь... вопросъ нѣсколькихъ дней... Къ Воронину!—приказалъ онъ извозчику и сѣлъ въ пролетку.

Матвѣй хотѣлъ еще о чемъ-то спросить его, но не могъ вспомнить о чемъ. Онъ широко раскрылъ ротъ, глубоко вздохнулъ и оглянулся, точно ища помощи и совѣта гдѣ-то кругомъ. И онъ увидѣлъ, что мать его все еще стоитъ на крыльцѣ и внимательно глядитъ въ его сторону. Она, повидимому, заинтересовалась незнакомымъ человѣкомъ, который остановилъ доктора,—можетъ быть, она смутно уловила въ фигурѣ и движеніяхъ Матвѣя что-то знакомое.

— Маме!—вырвалось вдругъ у Матвѣя почти воплемъ, и онъ подбѣжалъ къ матери.

Старушка встрепенулась, какъ подстрѣленная птица, отшатнулась въ испугѣ и тотчасъ же бросилась къ сыну съ крикомъ:

— Зелигъ!! Сынъ мой! Сердце мое! Когда...

И, не докончивъ фразы, она обхватила своими худыми руками его шею и стала покрывать его лицо жадными поцѣлуями, какъ-то тычась губами, точно слѣпо ища наиболѣе удобнаго мѣста для поцѣлуевъ.

Оторвавшись отъ его лица, она заговорила громко и все еще растерянно-радостно:

— Ой, мой сынъ! Какъ неожиданно! Когда ты это пріѣхалъ? Какъ ты это...

Она вдругъ осѣклась и, взглянувъ съ тревогой на сына, спросила негромко и поспѣшно:

— Ты уже совсѣмъ?.. Тебя выпустили?..

— Не совсѣмъ... — отвѣтилъ Матвѣй какъ бы съ нетерпѣніемъ. — Я бѣжалъ. Но это неважно... Какъ отецъ? Онъ давно боленъ?

— Какъ „не важно“?!—воскликнула испуганнымъ шопотомъ мать. И, вспомнивъ тотчасъ же второй вопросъ, отвѣтила съ горестнымъ видомъ:—О-ой, мой сынъ! отецъ, бѣдный, у насъ боленъ, о-очень, очень боленъ. Ужъ больше года...

— Все время лежитъ?

— Гдѣ лежитъ! Онъ даже еще сегодня пробовалъ немного работать... Такъ-то онъ совсѣмъ здоровъ,— продолжала она бодрѣе, — только желудокъ у него не варитъ: что ни возьметъ въ ротъ, то вырветъ, и боли въ животѣ, страшныя боли. Докторъ Бринъ его лѣчитъ, впрыскиваетъ ему лѣкарство. Помогаетъ, но не надолго, на нѣсколько часовъ. Тогда онъ здоровъ. А потомъ опять начинаются боли... Но что мы здѣсь стоимъ? Войдемъ! Когда онъ увидитъ тебя, онъ оживетъ!.. Но постой, можетъ быть, не слѣдуетъ, чтобъ лишніе люди тебя видѣли? У меня тамъ сидятъ сосѣдки, женщины... сейчасъ разнесутъ по слободкѣ. Я лучше ихъ выпровожу раньше... Да!— вспомнила она вдругъ съ огорченіемъ. — Сейчасъ должны еще притти къ нему ребъ Мойше даянъ [1] съ

[1] Судья, помощникъ раввина.

зятемъ. Они почти каждый вечеръ приходятъ къ отцу читать ему Мишнаитъ... [1] Развѣ побѣжать къ нимъ, попросить, чтобъ не приходили...

— Въ такомъ случаѣ,—отозвался Матвѣй,—я лучше послѣ приду. Мнѣ все равно надо зайти въ одно мѣсто. Часа черезъ два приду, и къ тому времени постарайся, чтобы никого изъ постороннихъ не было, и отца подготовь. Онъ можетъ испугаться, если неожиданно увидитъ меня...

— Онъ испугается?.. Вѣдь онъ не такой человѣкъ. Онъ ничему не удивляется, ничего не пугается. Странный человѣкъ. Ты же знаешь.

— А Гиршлъ гдѣ? Что съ нимъ?—вспомнилъ вдругъ Матвѣй про своего младшаго одиннадцатилѣтняго брата.

— Что можетъ быть съ нимъ? То же, что со всѣми. Бѣгаетъ цѣлый день. Совсѣмъ отъ рукъ отбился... Тоже съ книжками, съ „дѣлами", на „биржѣ"... Можно съ ума сойти!.. Ну, иди, мой сынокъ,—прибавила она ласково. — А то кто-нибудь пройдетъ и еще увидитъ тебя. Но смотри же, приди...

Матвѣй порывисто еще разъ обнялъ мать и поспѣшно ушелъ къ Барканову. „Покончить тамъ поскорѣе и вернуться сюда", носилась у него въ головѣ отдѣльная фраза. Видъ умирающаго отца и встрѣча съ матерью сразу оторвали его отъ всѣхъ интересовъ и волненій, которыми онъ жилъ, вернули его къ „себѣ", къ родному крову, къ дѣтству, и онъ былъ весь охваченъ болѣзненно-нѣжнымъ чувствомъ къ умирающему отцу. „Ракъ желудка... На-

---

[1] Часть Талмуда.

вѣрное отъ недоѣданій, лишеній... Старикъ долженъ былъ усиленно работать, содержать всю семью", думалъ онъ. Когда Матвѣй былъ дома, онъ зарабатывалъ недурно, давалъ уроки и нѣсколько помогалъ родителямъ. А вотъ оторвали отъ дома, таскали по тюрьмамъ... „Наказывали меня и мимоходомъ убили старика отца", закончилъ онъ съ ненавистью.

Онъ уже вышелъ изъ слободки и шелъ по большой улицѣ. Вдругъ онъ увидѣлъ сошедшаго съ противоположнаго тротуара и направившагося къ нему человѣка лѣтъ двадцати пяти, высокаго, съ черной бородкой и какъ бы почернѣвшимъ лицомъ, съ длинной голой шеей, въ картузѣ нѣсколько на бокъ и въ засаленномъ пиджакѣ съ чужого плеча. И въ фигурѣ и въ походкѣ человѣка было нѣчто неряшливое и нахальное, что сразу заставляло сторониться его. При свѣтѣ фонаря Матвѣй сразу узналъ въ немъ Пейшке вора, сына Лейзера носильщика. Матвѣй зналъ его еще два-три года тому назадъ, какъ шпіона, глупаго, всѣмъ извѣстнаго и потому считавшагося почти безопаснымъ.

Пейшке подошелъ прямо къ Матвѣю, пристально взглянулъ на него и какъ-то развязно попросилъ:

— Дайте прикурить.

Матвѣй остановился и протянулъ ему свою папиросу. Пейшке закурилъ отъ нея свою и, оставаясь на мѣстѣ, снова взглянулъ на Матвѣя.

— Вы, какъ видно, не здѣшній?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не здѣшній,—отвѣтилъ спокойно Матвѣй и направился дальше.

Пейшке съ папиросой въ рукѣ постоялъ съ минуту въ нерѣшительности и пошелъ вслѣдъ за Матвѣемъ.

„Узналъ меня,—подумалъ безъ волненія Матвѣй.— Выдалъ себя, дуракъ!“

Онъ не оглядывался, но чутьемъ, выработаннымъ долголѣтнимъ опытомъ, угадывалъ, что Пейшке идетъ за нимъ. Онъ свернулъ на другую улицу, на третью и сразу остановился и оглянулся. Пейшке шелъ за нимъ и сразу тоже остановился. Матвѣя охватило чувство злобнаго раздраженія. Только бы недоставало быть теперь задержаннымъ на улицѣ! Да еще кѣмъ? Глупымъ и неумѣлымъ шпіономъ. Какъ профессіональный революціонеръ, которому не разъ удавалось уходить отъ ловкихъ столичныхъ шпіоновъ, артистовъ своего дѣла, онъ былъ бы, кромѣ всего, глубоко оскорбленъ такимъ проваломъ. Инстинктивно нащупавъ въ карманѣ револьверъ, онъ оглянулся кругомъ, точно ища чего-то, и подошелъ къ Пейшке.

— Скажите, не знаете ли, гдѣ здѣсь живетъ раби Мендель Ошерсъ? — спросилъ онъ, назвавъ одного извѣстнаго въ городѣ набожнаго богача старика.

— Знаю, знаю! — отвѣтилъ Пейшке поспѣшно и нѣсколько растерявшись отъ неожиданнаго обращенія.—Онъ живетъ недалеко отсюда, за дамбой...

Матвѣй хорошо зналъ, гдѣ живетъ Мендель Ошерсъ, и проговорилъ нѣсколько безпомощно:

— Я не здѣшній и ужъ часъ ищу его домъ. Не можете ли вы мнѣ указать... подойти со мною?

— Пойдемте, пойдемте, — вызвался очень охотно Пейшке.

И они пошли вмѣстѣ.

Видя, что Пейшке собирается заговорить, онъ предупредилъ его.

— Вы здѣшній? Чѣмъ вы занимаетесь?—спросилъ онъ просто.

— Я... слесарь. Но теперь я безъ работы... У насъ была стачка, и хозяинъ меня разсчиталъ за то, что я въ „организаціи“. Слѣдовало бы ему „вложить кирпичъ въ голову“, разбойнику!

„Недурно вретъ“, подумалъ съ нѣкоторымъ удовольствіемъ Матвѣй.

— А „организація“ развѣ не заступилась за васъ?—спросилъ онъ.

— Какъ не заступилась!—воскликнулъ даже обидчиво Пейшке.—Конечно, заступилась... Мы здѣсь теперь затѣваемъ цѣлое дѣло... Вы слышали, что сегодня утромъ убили полицейскаго?—прибавилъ онъ тише и многозначительно.—Замѣчательно ловко было сдѣлано, и не изловили стрѣлявшаго... И его ужъ не изловятъ! Свои люди спрячутъ... Передъ своими вѣдь нечего ему скрываться и прятаться... Что, развѣ нѣтъ?

„Ишь, куда забираетъ“, подумалъ Матвѣй.

Они уже шли по дамбѣ черезъ глубокій оврагъ. Прохожихъ почти не было.

Матвѣй какъ-то безпечно оглянулся назадъ и проговорилъ особенно спокойно и довѣрчиво:

— Конечно, чего передъ своими скрываться и прятаться...

И, быстро обернувшись, онъ сразу, съ поразительною ловкостью, изо всѣхъ силъ ударилъ Пейшке обоими кулаками въ грудь, толкнувъ его въ оврагъ. Пейшке не успѣлъ даже вскрикнуть, свалился и покатился внизъ по крутому откосу дамбы.

Матвѣй взглянулъ ему вслѣдъ и, видя, что онъ ка-

тится внизъ, поспѣшно дошелъ до конца дамбы, завернулъ въ переулокъ, въ другой, поплуталъ съ четверть часа и наконецъ вышелъ на большую улицу и отправился къ Барканову.

VI.

Баркановъ сидѣлъ, запершись, въ своей комнатѣ и расшифровывалъ конспиративное письмо, зашифрованное съ большими ошибками. Услышавъ стукъ, онъ спряталъ письмо, подошелъ къ дверямъ и открылъ ихъ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ онъ сухо, подозрительно взглянувъ на Матвѣя и не пуская его въ комнату.

— „Мессія пришелъ",—отвѣтилъ почти механически условнымъ мѣстнымъ паролемъ Матвѣй и, получивъ отвѣтный пароль: „Прямо въ Креславку", прибавилъ:—Вы не узнали меня? Матвѣй...

Баркановъ сразу и даже еще раньше, чѣмъ Матвѣй произнесъ свое имя, узналъ его, сильно удивился, обрадовался и засыпалъ его вопросами. Однако Матвѣй его прервалъ.

— Гдѣ Давидъ?—спросилъ онъ.—Бася мнѣ сказала, что онъ у васъ по части оружія. Мнѣ надо поговорить съ нимъ.

— Сильно опасаюсь, что съ Давидомъ случилось что-нибудь неладное,—отвѣтилъ съ тревогой Баркановъ. — Онъ третьяго дня уѣхалъ на нѣсколько часовъ въ К., долженъ былъ вернуться вчера днемъ и его до сихъ поръ еще нѣтъ.

Матвѣй, знавшій Давида какъ очень аккуратнаго

человѣка, нашелъ опасенія Барканова не напрасными, но не высказалъ этого.

— Зачѣмъ онъ туда поѣхалъ? — спросилъ онъ.— Онъ тамъ долженъ былъ встрѣтиться съ Михаиломъ?

— Да. Вы значитъ знаете о поѣздкѣ Михаила?— нѣсколько удивился Баркановъ.

— Меня извѣстили объ этомъ... Я теперь тоже ѣду по такому же дѣлу,—добавилъ онъ.

— На ту же границу?

— Нѣтъ, я къ австрійской ѣду. Я наладилъ постоянный путь для перевозки оружія. Одинъ транспортъ уже полученъ, и я сюда заѣхалъ, чтобы взять нѣсколько человѣкъ для развозки оружія по области. Затѣмъ надо условиться, какую партію прислать сюда...

Въ комнату осторожно вошелъ человѣкъ лѣтъ тридцати, невысокій, худой и аккуратный на видъ, съ маленькой черной бородкой и незначительными чертами лица. Въ фигурѣ, въ лицѣ и въ походкѣ вошедшаго все было какъ-то буднично и невозмутимо-спокойно. Только быстрые, пытливые глаза выражали сильную озабоченность.

— Чортъ! А я ужъ думалъ, что тебя забрали!—воскликнулъ радостно, вскочивъ съ мѣста, Баркановъ.

Давидъ, не обративъ вниманія на это восклицаніе, бросилъ быстрый, пытливый взглядъ на Матвѣя. Онъ тотчасъ же узналъ его и какъ-то весь просіялъ. Но вмѣсто восклицаній, удивленія, вопросовъ онъ произнесъ спокойно одно только слово:

— Молодецъ!

И молча, просто, безъ порывовъ расцѣловался съ старымъ товарищемъ.

Радостное выраженіе однако тотчасъ же сбѣжало съ лица Давида и снова замѣнилось прежнимъ, глубоко озабоченнымъ.

— Михаила взяли... Вчера на вокзалѣ...—проговорилъ онъ съ глубокой горечью.—Провалился глупо, безобразно и чуть не провалилъ насъ всѣхъ. Притащилъ за собой „хвостъ“ изъ Г... А главное—онъ почти провалилъ дѣло, по которому ѣхалъ.

— То-есть какъ?—испугались Баркановъ и Матвѣй.

— На границу завтра пріѣдетъ человѣкъ съ транспортомъ и будетъ его ждать. Теперь, когда онъ не явится, тотъ не будетъ знать, что дѣлать, будетъ тамъ сидѣть и можетъ легко провалиться вмѣстѣ съ транспортомъ.

— Отчего же кто-нибудь другой не поѣхалъ туда?—спросилъ Баркановъ.

— Куда?—переспросилъ, спокойно взглянувъ на него, Давидъ.—Если бы зналъ куда, я бы самъ вчера туда поѣхалъ... То-есть мѣсто-то я, конечно, знаю, но гдѣ и какъ встрѣтиться съ человѣкомъ, этого никто, кромѣ Михаила, не знаетъ...

— На какой это границѣ?—спросилъ, поднявшись, Матвѣй.

Давидъ назвалъ границу.

— Ну, такъ я туда поѣду!—рѣшилъ сразу Матвѣй.—Эту границу я знаю, я ужъ тамъ имѣлъ дѣла, и безъ труда разыщу человѣка съ транспортомъ... Когда поѣздъ?

— Въ десять часовъ тридцать пять минутъ,—отвѣтилъ Давидъ и, посмотрѣвъ свои никелевые часы, прибавилъ:—У тебя еще цѣлыхъ полтора часа.

— Полтора?—переспросилъ съ тревогой Матвѣй,

вспомнивъ, что дома его ожидаетъ отецъ. — Въ такомъ случаѣ я сейчасъ иду!—прибавилъ онъ торопливо.

— Постой, вѣдь надо поговорить,—остановилъ его Давидъ.

— Потомъ, когда вернусь!.. Теперь некогда!..

— Куда жъ тебѣ спѣшить? До вокзала десять минутъ ходьбы.

— У меня дѣло... Необходимо!—отвѣтилъ отрывисто Матвѣй. И, молча крѣпко пожавъ руки товарищамъ, онъ поспѣшно вышелъ и почти побѣжалъ на слободку.

На крылечкѣ родительскаго дома его поджидала мать.

— А я уже жду тебя, сыночекъ,—проговорила она негромко и ласково.—Выпроводила всѣхъ, потушила огонь въ передней комнатѣ, чтобъ никто не приходилъ, поставила самоваръ...

Матвѣй вошелъ въ домъ и какъ-то робко и нерѣшительно переступилъ порогъ отцовской комнаты.

Старикъ былъ предупрежденъ. Онъ лежалъ, повернувшись къ дверямъ, нѣсколько приподнявшись на локтѣ, и задумчиво-сосредоточеннымъ взглядомъ, устремленнымъ въ темныя сѣни, точно звалъ неожиданно вернувшагося сына. При появленіи Матвѣя онъ не пошевельнулся, не издалъ ни звука, только лицо его просвѣтлѣло и въ сосредоточенныхъ, подернутыхъ глубокой, безысходной грустью глазахъ появилось выраженіе восторга. Съ нѣкоторымъ трудомъ высвободилъ онъ изъ-подъ одѣяла и протянулъ сыну свою изсохшую, точно обтянутую пергаментомъ, руку, полуприкрытую порваннымъ рукавомъ рубашки.

— Шоломъ-алейхемъ, мой сынъ!—проговорилъ онъ спокойно-торжественно нѣсколько сиплымъ голосомъ, отдѣляя слова, и прибавилъ съ чувствомъ, ударяя на каждомъ словѣ: — „Борухъ матыръ ассуримъ“. [1]

— Алейхемъ-шоломъ, отецъ,—отвѣтилъ ему обычнымъ привѣтствіемъ тихо и какъ-то покорно и робко Матвѣй, и въ его голосѣ задрожали слезы.

Нагнувшись къ отцу, онъ осторожно и нѣжно прильнулъ губами къ его щекѣ. Отецъ нѣсколько разъ поцѣловалъ его, какъ-то безсильно и жалко стараясь схватить его щеку своими сухими губами.

— Слава Богу, что мнѣ довелось свидѣться съ тобой... Я ужъ не надѣялся...—проговорилъ онъ тѣмъ же торжественнымъ тономъ.

Съ минуту всѣ молчали, не зная, о чемъ раньше заговорить, не находя словъ для выраженія своего настроенія.

Старикъ, пристально глядѣвшій на сына, нѣсколько сморщилъ лобъ, какъ бы стараясь что-то сообразить, и въ глазахъ его появилось выраженіе вопросительнаго недоумѣнія:

— Какъ-то... ты... измѣнился... весь измѣнился... почти не узнать...—проговорилъ онъ отрывисто, точно ища словъ для выраженія своей мысли.

Мать принялась тоже оглядывать сына. Она и раньше замѣтила, что сынъ ея сильно измѣнился, но не остановилась на этомъ, и теперь она силилась опредѣлить, въ чемъ перемѣна. Ей бросились въ глаза

---

[1] Благословенъ освобождающій узниковъ. Обязательное благословеніе при встрѣчѣ съ освобожденнымъ узникомъ.

цвѣтной галстукъ и котелокъ, и она проговорила успокоительно:

— Вѣроятно тамъ, гдѣ онъ былъ, всѣ такъ ходятъ.

Старикъ удовлетворился объясненіемъ и, глядя куда-то вдаль, проговорилъ задумчиво и нѣсколько сентенціозно:

— Ка-аждый городъ, ка-аждая страна имѣетъ свой обычай...

Вспомнивъ отрывочные разсказы, которые ему привелось слышать о странѣ, куда былъ сосланъ Матвѣй, онъ проговорилъ какъ бы про себя тономъ грустнымъ и торжественнымъ:

— Ты былъ, мой сынъ, далеко... очень далеко... на краю свѣта...

— Далеко...—повторилъ съ подавленнымъ волненіемъ Матвѣй.

— Въ холодныхъ странахъ... гдѣ круглый годъ зима... гдѣ рыскаютъ самые страшные звѣри,—продолжалъ повѣствовать отецъ.—И все-таки тамъ люди живутъ...

— Живутъ,—повторилъ, какъ эхо, Матвѣй.

Наступило минутное молчаніе.

— А евреи?.. Находятся тамъ евреи? — спросила вдругъ мать.

— Жена моя, евреи всюду находятся и всюду остаются евреями, — отвѣтилъ ей наставительно, съ глубокимъ убѣжденіемъ больной.

И, устремивъ куда-то вдаль свой задумчивый, покорно-страдальческій взоръ, онъ продолжалъ медленно и нѣсколько повѣствовательно:

— Я прожилъ на свѣтѣ большую, долгую жизнь... цѣлыхъ шестьдесятъ лѣтъ... и теперь, на старости

лѣтъ, я понялъ, что еврей всюду и всегда остается евреемъ...

Онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы приподняться, и заговорилъ болѣе оживленно, при чемъ его большіе глаза нѣсколько расширились и въ нихъ выразилось нѣчто въ родѣ удивленія.

— Три мѣсяца тому назадъ былъ здѣсь еврей изъ Гомеля и онъ разсказывалъ, что тамъ христіане напали на евреевъ и хотѣли избить и перерѣзать всѣхъ — мужчинъ, женщинъ и дѣтей,—какъ было въ Кишиневѣ, рахмоно лицланъ!.. [1] И вотъ, разсказывалъ онъ, выступили еврейскіе юноши... юноши изъ нынѣшнихъ, о которыхъ говорятъ, что они не евреи, что они отступники, что они потеряли искру Божью... И вотъ они выступили и спасли отъ гибели всю еврейскую общину... Жертвуя собственною жизнью, они защищали еврейскіе дома, женщинъ и дѣтей, и многіе изъ этихъ юношей были убиты на мѣстѣ лютою смертью...

Старикъ перевелъ духъ и, повысивъ голосъ, продолжалъ въ сильномъ волненіи:

— Онъ еще разсказывалъ... Когда христіане бросились къ синагогамъ и молитвеннымъ домамъ, эти самые юноши опять выступили, заградили путь и не дали имъ осквернить священныхъ свитковъ Завѣта... И опять многіе изъ этихъ юношей были убиты лютою смертью, были убиты на порогѣ синагогъ... возлѣ кивотовъ... были убиты „для прославленія имени Господня“... И ихъ... похоронили какъ „кдейшимъ“ [2]... со всѣми подобающими почестями...

---

[1] Да спасетъ насъ Милосердный!

[2] Святые; погибшіе за святое дѣло.

Старикъ почти задыхался отъ волненія. Глаза его свѣтились экстазомъ, и онъ повторилъ восторженнымъ шопотомъ:

— Слышишь? какъ „кдейшимъ“!..

И вдругъ по лицу его пробѣжала сильная тѣнь, онъ опустился на подушку, и въ потускнѣвшихъ глазахъ появилось прежнее покорно-страдальческое выраженіе.

— Прожилъ я на свѣтѣ долгую жизнь,—заговорилъ онъ опять уже упавшимъ голосомъ, съ выраженіемъ тяжелой грусти,—цѣлыхъ сорокъ лѣтъ писалъ я свитки Завѣта, писалъ, какъ Богъ велѣлъ: съ трепетомъ, съ покаяніемъ, съ благочестивыми мыслями. Каждый разъ, передъ тѣмъ какъ начертать на пергаментѣ имя Господне, я окунался въ „микве“ [1]; я выполнялъ въ теченіе всей своей жизни по мѣрѣ силъ точно и строго всѣ повелѣнія Господни, — и Господь не удостоилъ меня, чтобъ я могъ поставить свою жизнь въ опасность для прославленія Его имени... для защиты отъ оскверненія Его свитковъ Завѣта, которые я всю жизнь писалъ... Не удостоилъ!.. А ихъ Онъ удостоилъ... Я всю жизнь писалъ, но ничего не вписалъ... въ великой книгѣ. А они... они въ одинъ разъ... вписали...

Въ голосѣ старика звучала всхлипывающая нотка, и глаза его были влажны.

— Ну, что ты вдругъ началъ объ этомъ... — заговорила съ огорченіемъ мать.

Но старикъ не слушалъ ея и, нѣсколько оправившись, продолжалъ тверже:

— И вотъ теперь, мой сынъ, я понялъ, что такое

[1] Бассейнъ для очистительнаго омовенія.

еврей... Я мно-огое понялъ... Я и тебя понялъ, мой сынъ... Вѣдь ты... ты... не былъ тамъ... въ Гомелѣ?— спросилъ онъ вдругъ полушопотомъ, впившись глазами въ сына.

— Нѣтъ... не былъ...

— Не былъ... Но если бы ты былъ, я знаю... Садись, мой сынъ, здѣсь, возлѣ меня,—заговорилъ онъ вдругъ спокойнѣе.—Я тебѣ что-то разскажу.

— Ой, чего я стою!—встрепенулась вдругъ мать.— Самоваръ навѣрное давно ужъ закипѣлъ!

И она поспѣшно вышла.

— Садись и слушай,—продолжалъ отецъ.—Я хочу разсказать тебѣ одну большую исторію... исторію о томъ, что я передумалъ и что я понялъ въ послѣдніе годы моей жизни...

Матвѣй не садился. Онъ вспомнилъ, что ему надо ѣхать и что ужъ пора уходить. Посмотрѣвъ часы, онъ увидѣлъ, что до поѣзда осталось меньше получаса, а до вокзала было довольно далеко.

— Отецъ,—проговорилъ онъ вдругъ твердо и какъ-то особенно рѣшительно, —я долженъ сегодня ночью уѣхать... по дѣлу, по очень важному дѣлу... И мнѣ необходимо сейчасъ итти...

Старикъ не сразу понялъ и глядѣлъ на него съ удивленіемъ. Затѣмъ онъ понялъ, и въ глазахъ его появилось выраженіе покорной грусти.

— Если тебѣ нужно ѣхать, такъ поѣзжай... И пусть Господь благословитъ твой путь,—проговорилъ онъ опять нѣсколько торжественно.

— Черезъ четыре-пять дней я вернусь,—прибавилъ поспѣшно Матвѣй. — Тогда я ужъ дольше останусь здѣсь... тогда...

— Слушай, мой сынъ...—перебилъ его вдругъ старикъ совсѣмъ инымъ тономъ и негромко, точно боясь, чтобъ его не услышала жена.—Ты вѣдь знаешь, что у Господа тысячи лѣтъ какъ вчерашній день... У человѣка же день — бо-ольшое время... Мало ли что съ человѣкомъ можетъ случиться... Мы всѣ въ рукахъ Божьихъ. Кто знаетъ, суждено ли намъ снова увидѣться...

Замѣтивъ, что Матвѣй хочетъ что-то сказать, онъ поспѣшно остановилъ его:

— Ну, не будемъ говорить объ этомъ... Но, какъ бы то ни было, я хочу тебя благословить... Помоги мнѣ сѣсть.

Матвѣй помогъ ему приподняться. Положивъ руки на голову сына, старикъ долго шепталъ благословенія и закончилъ словами:

— И останься мой сынъ... евреемъ... сердцемъ, душой...

Замѣтивъ входящую жену, онъ поспѣшно опустилъ руки, чтобы скрыть отъ нея, что онъ благословлялъ сына.

— Смотри! Чего ты это вдругъ сѣлъ? — спросила она съ удивленіемъ, подозрительно оглянувшись.

— Такъ себѣ, — отвѣтилъ онъ тихо и снова легъ.

— Ну, готово къ столу...—обратилась она къ Матвѣю.

— Ривке, — заговорилъ старикъ какъ-то спокойно и настойчиво,—Зелигъ долженъ сейчасъ уѣхать по нужному дѣлу. Слышишь? Не удерживай его, не огорчайся... Пусть онъ ѣдетъ въ добрый часъ, и пусть Господь благословитъ его путь.

Старушка какъ-то сразу вся осѣла, нахмурилась и стала на потускнѣвшій

— Тебѣ... необходимо?..—проговорила она жалобно и покорно, устремивъ на сына взглядъ, полный мольбы.

— Да, необходимо! — отвѣтилъ онъ твердо и тотчасъ прибавилъ:—Я черезъ нѣсколько дней вернусь.

Но эти обѣщанія не утѣшили ея и она заплакала.

— Не успѣли и двухъ словъ сказать... поглядѣть другъ на друга... Ты даже не видалъ Гиршеле,—прибѣгла она къ послѣднему аргументу, вспомнивъ про младшаго сына.

— Ривке, не грѣши,—остановилъ ее старикъ.

Матвѣй обнялъ отца и, боясь опоздать къ поѣзду, почти вырвался изъ объятій матери и выбѣжалъ изъ дому.

Только очутившись на улицѣ, онъ почувствовалъ, что у него лицо все мокро отъ слезъ.

VII.

Комитетъ N-ской бундовской организаціи состоялъ изъ трехъ лицъ, которыя распредѣлили между собой всю сложную и разнообразную комитетскую работу. Дѣятельность теоретическаго характера, какъ чтеніе рефератовъ по програмнымъ вопросамъ, выступленіе оппонентами на чужихъ рефератахъ, общее руководство чтеніемъ въ кружкахъ, иногда составленіе „бумажекъ“ (прокламацій) и т. п., почти всецѣло лежала на Баркановѣ, сравнительно хорошо знакомомъ съ соціалъ-демократической литературой. Вмѣстѣ съ этимъ Баркановъ былъ кассиромъ комитета, и на немъ лежали всѣ заботы по добыванію средствъ. Какъ человѣкъ, принадлежавшій къ бур-

жуазному кругу, онъ имѣлъ обширное знакомство въ зажиточныхъ и интеллигентныхъ слояхъ города и устраивалъ среди нихъ, а часто съ помощью нѣкоторыхъ изъ нихъ подписки, сборы, вечеринки и т. п.

Наиболѣе конспиративную часть работы выполнялъ Давидъ. Онъ исполнялъ обязанности секретаря, состоялъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ, съ одной стороны, съ центральнымъ комитетомъ (Ц. К.), а съ другой—съ представителями районныхъ группъ, причисленныхъ къ N-скому комитету. Какъ старый, опытный работникъ, онъ бралъ на себя выполненіе наиболѣе трудныхъ и сложныхъ дѣлъ, завѣдывалъ послѣднее время добываніемъ оружія, мѣстнымъ „боевымъ отрядомъ“ и, наконецъ, тайной типографіей, уже два года существовавшей въ N. Сношенія съ типографіей онъ велъ черезъ третье лицо и относился къ этому дѣлу съ величайшею конспиративностью. Самъ онъ только пару разъ заглянулъ въ типографію, а товарищи по комитету знали лишь, гдѣ она находится, но не встрѣчались никогда съ работавшими въ ней. Въ виду особаго характера своей дѣятельности Давидъ почти никогда не заходилъ на „биржу“, не показывался на собраніяхъ, и, кромѣ самыхъ близкихъ къ комитету людей, никто не зналъ, что онъ въ комитетѣ. Въ городѣ даже не знали, что онъ состоитъ въ партіи.

Наконецъ, вся организаціонная работа, работа въ массѣ, поддерживаніе связи съ нею черезъ представителей кружковъ, удовлетвореніе различныхъ ея запросовъ, устройство и проведеніе массовокъ и собраній,—вся эта многообразная и хлопотливая работа лежала на обязанности Баси. Будучи непосредствен-

но связанной съ представителями кружковъ, она въ то же время и сама оставалась представительницей одного кружка и этимъ скрывала отъ массовой публики свое присутствіе въ комитетѣ, что, впрочемъ, для всѣхъ было секретомъ полишинеля. Работая на фабрикѣ въ теченіе цѣлаго дня, Бася еле-еле управлялась со своими партійными обязанностями. Часто ей приходилось прямо съ фабрики, не заходя домой ужинать, бѣжать на какое-нибудь собраніе или засѣданіе, затѣмъ на „биржу", оттуда на одну или нѣсколько массовокъ и вернуться домой далеко заполночь—измученной, усталой, голодной и охрипшей. Увлеченная своимъ дѣломъ, она почти не замѣчала этого, и если иногда жаловалась, то только на то, что не хватаетъ времени для выполненія всей работы.

Послѣ ухода Матвѣя и разговора съ хозяиномъ квартиры Бася отправилась на „биржу". Она шла поспѣшно, дѣловитой походкой, съ опущенной головой. По обычной для рабочаго человѣка непривычкѣ къ записямъ и отчасти по соображеніямъ конспиративнаго характера Бася ничего не записывала и всѣ дѣла держала въ памяти. Вслѣдствіе этого у нея на лицѣ обыкновенно лежало выраженіе тревожной озабоченности: она постоянно перечисляла въ памяти дѣла, которыя ей предстояло выполнить, и все тревожилась, не забыла ли она чего.

Когда Бася подошла къ саду, было уже послѣ восьми часовъ вечера и „биржа" была въ полномъ сборѣ. И аллеи сада, и тротуары двухъ прилегающихъ къ саду улицъ были сплошь запружены густой медленно движущейся двумя потоками толпой, состояв-

шей главнымъ образомъ изъ молодежи и отчасти подростковъ. Огромное большинство публики составляли рабочіе и работницы, приказчики и приказчицы. Сильно преобладалъ женскій элементъ. Изрѣдка попадался гимназическій или студенческій мундиръ. На эсъ-эровской биржѣ встрѣчались русскіе рабочіе, иногда одинъ или два солдата или крестьянина.

Рабочая молодежь была одѣта просто и опрятно. Мужчины—большею частью въ черныхъ или синихъ блузахъ и въ картузахъ, женщины — въ ситцевыхъ блузкахъ и дешевенькихъ соломенныхъ шляпкахъ. Несмотря на тѣсноту, позволявшую двигаться только гуськомъ, на „биржѣ“ не было ни толкотни, ни шума. Всѣ держались спокойно, серьезно, съ достоинствомъ, какъ люди, занятые большимъ и серьезнымъ дѣломъ.

Главная масса оставалась въ саду. Тамъ сосредоточивалась вся жизнь „биржи“, тамъ происходила вся практическая дѣятельность организацій. Рядомъ съ движущейся публикой на всѣхъ аллеяхъ стояли группы и кружки. Однѣ изъ этихъ группъ держались сплоченно, тѣсно, разговоръ въ нихъ велся не громко, иногда полушопотомъ, и гуляющая публика обходила эти группы, не останавливаясь, не прислушиваясь. Въ этихъ группахъ велись дѣловые разговоры, обсуждались и рѣшались вопросы практическаго характера. Тутъ представители раздавали членамъ своихъ кружковъ книжки и брошюры, тутъ передавались инструкціи, назначались собранія или частныя дѣловыя свиданія, иногда обсуждался вопросъ о какой-нибудь стачкѣ, иногда разбирался какой-нибудь конфликтъ то между хозяиномъ и рабочимъ, то между самими рабочими. Группы второго

типа, съ бо́льшимъ числомъ участниковъ, стояли какъ-то раскрыто, свободно, бесѣда въ нихъ велась громко, иногда страстно. Прохожіе прислушивались къ доносившимся оттуда рѣчамъ, и часто тотъ или другой изъ гуляющихъ отставалъ отъ потока и присоединялся къ кружку. Въ такихъ кружкахъ разбирались вопросы теоретическаго характера, велись дебаты между членами различныхъ организацій, читались элементарные рефераты по програмнымъ вопросамъ, обсуждалось послѣднее событіе политическаго характера, газетное извѣстіе, журнальная или газетная статья полемическаго содержанія и т. п. Особенно оживленны были кружки, гдѣ происходили дебаты между членами разныхъ партій. Здѣсь слышались ѣдкія замѣчанія, колкія словечки и остроты, здѣсь часто звучалъ смѣхъ, проявлялся молодой задоръ. И эти же дебаты, споры, агитаціонныя рѣчи, популярныя бесѣды и дѣловые разговоры подхватывались и уносились движущимся человѣческимъ потокомъ по аллеямъ, по улицамъ, по бульварамъ. „Биржа“ казалась охваченной общимъ страстнымъ идейнымъ порывомъ. Вся эта рабочая молодежь, только что покинувшая душныя фабрики, тѣсныя мастерскія, магазинные прилавки, не успѣвшая отдохнуть послѣ цѣлаго дня тяжелаго, притупляющаго труда, часто даже полуголодная, разгуливала теперь здѣсь бодрая и оживленная. И чувствовалось, что именно здѣсь, на этомъ небольшомъ пространствѣ въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ саженъ, подъ открытымъ небомъ, сосредоточилась вся духовная жизнь этой рабочей массы, вся поэзія ея бытія. Тамъ—на фабрикѣ, на прилавкомъ, въ мастерской—рабскій, неосмыслен-

ный трудъ, тяжелый гнетъ хозяина и капитала; дома—нищета, мракъ, полуголодное прозябаніе, вся проза безысходной нищеты. И среди этихъ двухъ тисковъ, выжимающихъ молодыя силы, прорѣзываются яркой полосой вечерніе часы „биржевого“ общенія,—часы, когда мысль уносится ввысь, когда передъ глазами переливаются всѣми цвѣтами радуги самыя высокія мечты о всеобщемъ счастьѣ, когда кругомъ звучитъ бодрая, призывающая къ борьбѣ за идеалъ рѣчь. И все это въ кругу сотни и тысячи такихъ же молодыхъ людей, тоже охваченныхъ великимъ порывомъ, тоже вѣрующихъ въ свѣтлое будущее.

Всюду идутъ разговоры и дебаты—въ саду и на улицѣ, на аллеяхъ и тротуарахъ, въ группахъ и кружкахъ; всюду происходятъ страстные споры, произносятся рѣчи, ведутся научныя бесѣды. А между тѣмъ на „биржѣ“ нѣтъ никакого шума, не слышно отдѣльнаго громкаго голоса. Говорящіе какъ-то инстинктивно соразмѣряютъ свой голосъ съ пространствомъ, на которомъ онъ долженъ быть слышенъ, и ни одна рѣчь не идетъ дальше тѣхъ, для кого она назначена, такъ что вся масса рѣчей въ цѣломъ остается въ самой „биржѣ“, не выходя за ея предѣлы. И эта-то черта придаетъ „биржѣ“ съ ея дебатами характеръ особенной, скрытой страстности. Чувствуется, что это не разсѣивающаяся энергія, а какая-то цѣльная, замкнутая сила, внутри себя творящая жизнь.

„Биржа“ имѣетъ видъ многихъ отдѣльныхъ соціально-политическихъ клубовъ, объединенныхъ какой-то невидимой силой вмѣстѣ. Въ каждомъ изъ

этихъ „клубовъ“ трактуются обширнѣйшія научныя теоріи, развиваются великія міровыя идеи, раскрываются широкіе горизонты, охватывающіе на цѣлые вѣка и тысячелѣтія будущія судьбы всего человѣчества. Оперирующая этими теоріями рабочая молодежь часто не находитъ формъ для выраженія своихъ мыслей, не находитъ въ своемъ бѣдномъ и загнанномъ, какъ и самъ народъ, языкѣ достаточно словъ и терминовъ, не находитъ въ суммѣ своихъ основныхъ знаній достаточно почвы для яснаго и полнаго воспріятія всѣхъ этихъ обширныхъ и сложныхъ теорій,—и идетъ напряженная, часто мучительная и трагическая работа мысли. И рядомъ съ этимъ идетъ такая же мучительная и трагическая работа слова, стремящаяся пересоздать народный языкъ, не прошедшій сквозь горнило высшей культуры, въ языкъ научный. И въ тысячѣ рѣчей, и въ тысячѣ головъ бьется мучительною страстью великая идея, ищущая своего воплощенія.

Десятки отдѣльныхъ маленькихъ клубовъ, и между ними происходитъ вѣчная вражда-война. А между тѣмъ они постоянно вмѣстѣ и не могутъ разойтись. Что-то ихъ страстно разъединяетъ и въ то же время страстно сплачиваетъ. И кажется, что эти партіи и фракціи, кружки и группы, соперничающіе и враждующіе между собой, суть не болѣе какъ осколки разбитаго цѣлаго,—осколки, совершающіе свой кругооборотъ по одной и той же орбитѣ. И въ этой, на первый взглядъ безцѣльной и безпорядочной, сумятицѣ на самомъ дѣлѣ происходитъ великая работа проснувшейся народной мысли, происходитъ страстное исканіе исхода и вырабатывается

всеобъемлющая идея, великій синтезъ новой жизни— общечеловѣческой и національной.

Едва только Бася пришла на „биржу“, какъ къ ней одна за другой стали подходить работницы изъ ея кружка съ просьбой литературы. Онѣ жаловались. Въ кружкѣ Меера еще третьяго дня всѣ получили новою брошюрку о союзахъ, а имъ она еще не дана. Когда Бася и ихъ одѣлила брошюркой, онѣ успокоились и пошли вмѣстѣ съ Басей, разсказывая ей, какъ учительницѣ, какъ старшей, свои впечатлѣнія, прося у нея объясненія непонятныхъ терминовъ и положеній въ прочитанномъ. Имъ не хотѣлось разставаться съ нею. Но къ Басѣ подходили другіе товарищи и товарки и отвлекали ее для другихъ дѣлъ. Одинъ рабочій сообщилъ ей, что нашелъ для массовокъ новую квартиру, совершенно безопасную и дешевую, по пятидесяти копеекъ съ массовки. Другой рабочій изложилъ ей свою жалобу на хозяина, который разсчиталъ его, не доплативъ нѣсколькихъ рублей, и просилъ заступничества „организаціи“. Съ такою же просьбой заступничества обратилась къ ней дѣвушка-служанка, которую хозяйка избила и прогнала. Дѣвушка прямо и прибѣжала на „биржу“, заплаканная, возмущенная, и разсказывала всѣмъ про свою обиду. Бася горячо откликнулась на это дѣло и обѣщала, что завтра же хозяйка будетъ вызвана на судъ „организаціи“. Далѣе къ Басѣ тихо подошла робкая на видъ работница и съ сіяющимъ лицомъ, нѣсколько таинственно улыбаясь, сообщила, что ей удалось завести связи съ одной большой швейной мастерской, гдѣ работницы до сихъ поръ не были ни въ какой организаціи. Она привела съ собой теперь на биржу

двухъ работницъ этой мастерской. Бася тутъ же поручила одному изъ товарищей „дать агитацію“ приведеннымъ работницамъ. Затѣмъ къ Басѣ подошелъ молодой человѣкъ, прибывшій изъ глухого мѣстечка, и сообщилъ ей, что ему удалось организовать тамъ небольшую группу. Онъ говорилъ очень пространно, „высокимъ штилемъ“ излагалъ исторію возникновенія группы съ самаго начала, со всѣми мелкими деталями, при чемъ постоянно выдвигалъ на первый планъ себя и свою дѣятельность. Закончилъ онъ требованіемъ, чтобы объ этой группѣ и ея основателѣ было непремѣнно сообщено центральному комитету, чтобы къ нему въ мѣстечко былъ присланъ лучшій ораторъ, чтобы были присланы книжки и т. д. По всему видно было, что онъ считалъ организацію группы въ мѣстечкѣ событіемъ огромной исторической важности. Бася еле отдѣлалась отъ него.

На одной изъ боковыхъ „бундовскихъ“ аллей она нашла группу въ десять-пятнадцать человѣкъ работницъ-стачечницъ. Всѣ онѣ были бѣдно одѣты, съ измученными, безкровными лицами. Стояли онѣ, столпившись, какъ-то отдѣльно, грустныя, растерянныя, и съ тяжелымъ напряженіемъ слушали рѣчь молодого человѣка, который говорилъ съ нѣсколько искусственнымъ паѳосомъ о жестокости и бездушіи буржуазіи.

— Зачѣмъ эти высокія слова!—остановила его съ неудовольствіемъ Бася. — Надо поговорить о дѣлѣ. Вѣдь ихъ не надо агитировать...

— Понятно не надо! Конечно, о дѣлѣ поговорить!— отозвались оживленно работницы и сейчасъ же окру-

жили Басю, устремивъ на нее довѣрчиво-вопросительные взгляды.

Стачка чулочницъ была довольно сложная. Чулочницы работали въ мелкихъ мастерскихъ, по два, три или пять человѣкъ въ каждой. Хозяйки мастерскихъ большею частью работали наравнѣ съ работницами. Заработокъ послѣднихъ былъ до невѣроятности мизерный. Лучшія работницы, вырабатывая четырнадцать паръ въ день, получали по пяти съ половиной рублей въ мѣсяцъ. Подручныя получали полтора рубля въ мѣсяцъ. При началѣ стачки было выставлено требованіе понизить урокъ съ четырнадцати до двѣнадцати паръ въ день и повысить плату—работницамъ на одинъ рубль, а подручнымъ на пятьдесятъ копеекъ въ мѣсяцъ.

Хозяйки, не давая категорическаго отвѣта, устроили съ своей стороны стачку противъ лавочниковъ, для которыхъ работали, требуя повышенія цѣны чулокъ на одну копейку съ пары. Лавочники не уступали. Стачка затянулась на двѣ недѣли. Среди работницъ начались колебанія, а когда наканунѣ были арестованы четверо наиболѣе дѣятельныхъ работницъ, состоявшихъ въ стачечномъ комитетѣ, стачечницы совсѣмъ пали духомъ, растерялись и большинство изъ нихъ рѣшило стать на работу. Между тѣмъ лавочники уже вели переговоры съ хозяйками и предлагали прибавку въ полкопейки на пару. Могло выйти такъ, что отъ стачки, начатой работницами, выиграли бы однѣ хозяйки. Работницы разсказали Басѣ о положеніи дѣла, о подавленномъ настроеніи среди стачечницъ и о рѣшеніи большинства прекратить стачку.

— Это было бы безуміемъ!—заявила авторитетно

Бася.—Необходимо завтра днемъ устроить собраніе, выбрать новый стачечный комитетъ. Стачка почти выиграна, лавочники сдаются, предлагаютъ прибавку въ полкопейки. Надо продержаться еще нѣсколько дней...

— Многія уже не могутъ больше держаться... ѣсть нечего,—отозвалась нерѣшительно одна изъ чулочницъ.

— Ничего, завтра мы раздобудемъ немного денегъ для поддержанія стачки. Комитетъ обѣщалъ,—проговорила увѣренно Бася.

Стачечницы оживились, пріободрились и сами начали доказывать другъ дружкѣ, что безумно уступать теперь, наканунѣ побѣды.

Бася пошла дальше. Она успѣла повидаться съ представителями кружковъ и переговорила съ каждымъ о дѣлахъ его группы. Она надѣялась, что на „биржу“ еще придетъ Баркановъ и она отъ него узнаетъ, почему Давидъ задержался въ К. Она ходила по аллеямъ, и ее на каждомъ шагу останавливали или сопровождали тѣ или другіе товарищи или товарки. Нѣкоторыя гордились тѣмъ, что онѣ разгуливаютъ по „биржѣ“ съ Басей. Нѣсколько выдѣлившись изъ массы, Бася уже являлась объектомъ поклоненія для однихъ и зависти для другихъ. До ея слуха иногда уже доносился торопливый шопотъ шедшихъ позади нея подростковъ: „Вотъ Бася идетъ!“ и она замѣчала устремленные на нее восторженные взоры юныхъ поклонницъ.

На одной изъ аллей Басѣ встрѣтилась Мирлъ. Послѣдняя, вмѣстѣ еще съ двумя дѣвочками, шла въ компаніи худенькаго бѣдно одѣтаго мальчика съ

нервнымъ лицомъ и живыми, умными глазками. Это былъ Гиршель, братъ Матвѣя. Мальчикъ имѣлъ очень серьезный видъ и съ увлеченіемъ, горячо, тономъ агитатора, что-то говорилъ дѣвочкамъ, которыя, не спуская съ него глазъ, ловили съ благоговѣніемъ каждое его слово.

Замѣтивъ издали молодую компанію, Бася направилась къ ней, чтобы спросить Гиршеля о здоровьѣ его отца. Мирлъ, увидавъ сестру, покраснѣла и, поднявъ къ ней свои большіе, блестѣвшіе восторгомъ глаза, проговорила радостно и горделиво:

— Басенька, мы говоримъ о программѣ!..

— Гиршель, какъ здоровье отца?—спросила Бася мальчика.

Гиршель, весь поглощенный своею рѣчью, вздрогнулъ отъ неожиданнаго оклика, вскинулъ на Басю удивленный, суровый, почти враждебный взглядъ и не сразу сообразилъ, о чемъ она его спрашиваетъ.

— Отецъ?.. Такъ себѣ... Нездоровъ... — отвѣтилъ онъ поспѣшно, лишь бы отдѣлаться.

— Что говоритъ докторъ?

— Говоритъ, что выздоровѣетъ,—бросилъ ей еще поспѣшнѣе мальчикъ, успокоительно мотнувъ головой, и, обернувшись къ своимъ слушательницамъ, продолжалъ:

— Такъ понимаете вы меня?.. Главное—эксплоатація... Потому что, если бы буржуи не эксплоатировали рабочихъ...

Мирлъ еще разъ обернула свое сіяющее лицо къ сестрѣ и издали крикнула ей:

— Если я поздно не вернусь, скажи мамѣ, чтобъ безпокоилась...

Басѣ рѣдко приходилось читать газеты. Новости какъ общеполитическія, такъ и партійныя и о мѣстныхъ событіяхъ, она, какъ и многіе другіе, узнавала на „биржѣ". На этотъ разъ на „биржѣ" много говорили объ убійствѣ Степана Рыжаго. Событіе это было для всѣхъ неожиданностью, и никто не зналъ, по иниціативѣ какой организаціи совершено убійство. Эсъ-эры, которымъ сначала всѣ приписали это дѣло, категорически отрицали свое участіе въ немъ. „Биржа" въ общемъ высказала свое одобреніе этому акту. Степанъ раза два выслѣдилъ собранія и доносилъ, и его можно было разсматривать какъ шпіона. Но разговоры объ убійствѣ городового были заглушены другимъ болѣе важнымъ событіемъ политическаго характера. Въ мѣстной газетѣ была телеграмма изъ одного русскаго города, что тамъ казаки напали на толпу мирныхъ демонстрантовъ, рабочихъ и интеллигентовъ, и звѣрски расправились съ ними, при чемъ нѣсколько десятковъ человѣкъ было убито и до ста ранено. Извѣстіе это произвело сильное впечатлѣніе на рабочихъ. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ высказывалось мнѣніе, что слѣдовало бы чѣмъ-нибудь откликнуться на это событіе.

— Хоть бы демонстрацію устроить, ей-Богу!—говорилъ одинъ рабочій. — Необходимо же выразить сочувствіе товарищамъ!

— Конечно, необходимо!—поддержалъ его горячо другой. — Если пропускать безъ отвѣта подобныя звѣрства, правительство совсѣмъ не будетъ знать удержу!

— Вотъ тебѣ и конституція, которую либералы такъ ожидаютъ!—добавилъ съ злорадствомъ по адресу

либераловъ молодой человѣкъ интеллигентнаго вида.—Ее пишутъ нагайками и штыками!

— О демонстраціи у насъ будутъ только говорить,— отозвался съ раздраженіемъ высокій худой рабочій.— Пока комитетъ выспится, пока онъ обсудитъ, пока рѣшитъ, пока сорганизуетъ, пока устроитъ ее, казаки успѣютъ перебить половину Россіи... Честное слово, я въ концѣ-концовъ сдѣлаюсь анархистомъ!— добавилъ онъ съ негодованіемъ и отошелъ.

Бася почувствовала себя задѣтой упрекомъ рабочаго, но ничего ему не сказала. Она была согласна, что на такое событіе необходимо чѣмъ-нибудь реагировать. „Но вѣдь необходимо сообразоваться и съ силами, и съ настроеніемъ массы, и съ общимъ положеніемъ“, успокаивала она самоё себя.

Она отошла къ одной изъ нейтральныхъ аллей, гдѣ стоялъ довольно большой кружокъ, въ которомъ шли горячіе дебаты. Невысокій плотный рабочій, съ здоровымъ лицомъ и увѣренными движеніями, говорилъ спокойно и нѣсколько насмѣшливо, обращаясь къ худому, нервному и нѣсколько сутуловатому юношѣ:

— А если ты мнѣ здѣсь станешь землю грызть, я тебѣ повѣрю, что вы соціалисты? Какъ вы были мелкими буржуями, такъ вы ими и остались...

— Но докажи! докажи! — выкрикивалъ почти съ отчаяніемъ юноша.

— Зачѣмъ мнѣ доказывать, когда вы сами это доказываете! Вы доказываете это вашей программой и тактикой. Для кого вы ищете территорію? Для рабочихъ или для буржуевъ?

— Для рабочихъ! Только для рабочихъ! — отчеканилъ горячо юноша.

— Ты бы еще побожился, я бы тебѣ совсѣмъ повѣрилъ!.. Вотъ я рабочій—и я у тебя не прошу территоріи. Мнѣ хорошо безъ нея.

— Я такой же рабочій, какъ ты,—вмѣшался въ разговоръ еще одинъ,—и я говорю: да, мнѣ нужна территорія!..

— На кладбищѣ?

— На кладбищѣ, не безпокойся, и тебѣ понадобится территорія, хотя ты и чистый „искровецъ",—отпарировалъ сутуловатый юноша.—Какъ ты не понимаешь,—продолжалъ онъ,—что пока евреи не имѣютъ своей территоріи, они не могутъ имѣть рабочаго класса, истиннаго, здороваго пролетаріата! Если бы ты внимательно прочелъ...

— Кріисъ-шма?.. [1] тогда я бы не боялся дурныхъ сновъ?—перебилъ его „искровецъ".—Но зачѣмъ мнѣ знать о твоихъ дурныхъ снахъ, когда я знаю, что говоритъ Марксъ.

— А ну, а ну, что онъ говоритъ?—перебилъ его горячо „сіонистъ-соціалистъ".

— Онъ говоритъ: „рабочіе всѣхъ странъ, соединяйтесь!"—вотъ что онъ говоритъ! И этого мнѣ достаточно. А вы хотите объединить не рабочихъ, а евреевъ; вы хотите, чтобъ я побратался съ толстопузыми буржуями. И вы еще дѣлаете видъ, что вы соціалисты!

— Ложь! Мы этого не говоримъ! Если хочешь, я тебѣ покажу у самого Каутскаго, гдѣ онъ пишетъ...

— Мнѣ не надо знать, что говоритъ Каутскій,—перебилъ его рабочій, — мнѣ достаточно того, что Марксъ сказалъ.

---

[1] Молитва на сонъ грядущій.

— Удивительный народъ эти сіонисты,—вмѣшался въ разговоръ юноша въ студенческомъ мундирѣ, представитель бундовскаго кружка. — Какую бы ерунду они ни выдумали, сейчасъ начинаютъ искать для нея подтвержденія у Маркса и у Каутскаго. Та же тактика, что у соціалистовъ - революціонеровъ. Выдернутъ изъ „Капитала“ или изъ статейки Каутскаго какую-нибудь фразу—и пойдутъ трезвонить и торжествовать побѣду. Совершенно не понимаютъ, что Маркса и Каутскаго надо брать въ цѣломъ.

— Мы такъ и беремъ! Мы такъ и беремъ!—перебилъ его горячо эсъ-эсовецъ.—Мы вѣрнѣе васъ понимаемъ Маркса и поэтому мы гораздо болѣе истинные марксисты, чѣмъ вы...

— Болѣе истинные, чѣмъ даже самъ Марксъ, чѣмъ даже самъ Моисей пророкъ!—насмѣшливо вставилъ кто-то изъ кружка.

— Остроумничать можешь итти въ синагогу!—бросилъ ему рѣзко эсъ-эсовецъ и продолжалъ горячо:— Да, мы гораздо большіе соціалъ-демократы, чѣмъ вы, бундовцы. Мы строимъ всю нашу теорію на экономическомъ базисѣ, мы исходимъ изъ экономическаго положенія еврейскаго пролетаріата, а вы, съ вашей культурной автономіей, такіе же марксисты, какъ старые народники, какъ всякіе мелко - буржуазные культурники! Намъ нуженъ здоровый рабочій классъ, а вы насъ кормите культурой...

— Во всякомъ случаѣ, лучшая пища, чѣмъ телеграммы султану и визиты къ Плеве!—вырвалось восклицаніе изъ кружка.

— Бундовская тактика! Такъ спорить нельзя!—воскликнулъ съ глубокимъ возмущеніемъ эсъ-эсовецъ.

Басѣ эти дебаты ничего новаго не сказали, и она слушала ихъ разсѣянно. Она замѣтила, что среди подростковъ происходитъ какое-то особое движеніе: нѣкоторые бѣгутъ къ эсъ-эровской „биржѣ“, возвращаются оттуда и сообщаютъ что-то товарищамъ съ большимъ волненіемъ. Наконецъ, одинъ мальчикъ не выдержалъ и сообщилъ ей:

— У эсъ-эровъ на „биржѣ“ русская дѣвушка! Какъ я еврей! Совсѣмъ-таки русская, пріѣзжая! Стоитъ и говоритъ... по-русски!

Извѣстіе это заинтересовало и Басю. На „биржѣ“ рѣдко встрѣчались русскіе, а въ особенности женщины. Ей захотѣлось послушать, о чемъ говоритъ эта русская дѣвушка, и она пошла на эсъ-эровскую „биржу“. Тамъ, окруженная толпой человѣкъ въ пятьдесятъ, стояла дѣвушка съ открытымъ, типично русскимъ лицомъ и негромко, спокойно и обстоятельно, какъ читаютъ лекціи, говорила. Она не развивала никакихъ теорій, а разсказывала факты изъ своей собственной дѣятельности. Она работала нѣсколько лѣтъ среди крестьянъ, и теперь рисовала картину настроенія деревни. Она разсказывала, какъ крестьяне организовываются, какъ они ведутъ борьбу съ помѣщиками и властями, какъ они разочаровались въ своихъ прежнихъ надеждахъ на высшую власть и т. д.

Еврейская аудиторія слушала ее съ огромнымъ, захватывающимъ интересомъ. Для большинства рабочихъ было истиннымъ откровеніемъ, совершенной неожиданностью то, что она разсказывала. У многихъ на лицахъ было восторженно-радостное выраженіе. Подходившіе къ кружку рабочіе съ другихъ „биржъ“ тоже увлекались разсказомъ и слушали молча, съ

напряженнымъ вниманіемъ, съ серьезнымъ желаніемъ усвоить то, что дѣвушка разсказывала, и разобраться въ этомъ. Иногда кто-нибудь нерѣшительно задавалъ вопросъ. Дѣвушка, съ минуту подумавъ, давала обстоятельный отвѣтъ. И ея спокойная, съ ласковой ноткой въ голосѣ, рѣчь, столь непохожая на обычные бурные и нервные дебаты, настраивала всѣхъ какъ-то миролюбиво.

Заинтересовалась разсказомъ дѣвушки и Бася, которая вообще имѣла довольно смутное представленіе о деревнѣ и плохо разбиралась въ аграрномъ вопросѣ.

Студентъ-бундистъ, только что споривший съ эсъ-эсовцемъ, тоже подошелъ къ кружку и съ скептической улыбкой сталъ прислушиваться къ разсказу. Замѣтивъ, что къ кружку подошли бундовскіе рабочіе и внимательно слушаютъ эсъ-эровку, онъ рѣшилъ вступить съ нею въ споръ:

— А скажите пожалуйста, вы считаете всѣхъ этихъ крестьянъ, втянутыхъ въ движеніе, соціалистами?

Дѣвушка подумала и отвѣтила:

— Нѣтъ... Въ деревнѣ, какъ и въ городѣ, есть разные слои...

— Но вы идете съ вашей программой ко всѣмъ крестьянамъ безъ различія?

— Да,—отвѣтила дѣвушка и, подумавъ, прибавила:—Вѣдь и въ городѣ мы тоже ни отъ кого не скрываемъ нашей программы, хотя и разсчитываемъ только на опредѣленный классъ. Въ деревнѣ мы разсчитываемъ на трудовое крестьянство... Затѣмъ вѣдь не надо смѣшивать программы-максимумъ съ программой-минимумъ...

Студентъ вдругъ разсмѣялся.

— Я зна-аю, что не надо смѣшивать,—проговорилъ онъ съ ядовитой ироніей.—Но бѣда въ томъ, что вы, съ вашей соціализаціей, смѣшиваете эти обѣ программы. Для деревни вы—соціалисты, для города—революціонеры, а на самомъ дѣлѣ выходитъ, что вы ни соціалисты, ни революціонеры.

Дѣвушка взглянула на него съ недоумѣніемъ. Она не вполнѣ поняла его и не находила, что ему отвѣтить.

— Да вы имѣете представленіе о томъ, что такое „соціализація земли“?—набросился на студента почти съ яростью молодой человѣкъ, представитель эсъ-эровской группы.

— Надѣюсь...—отвѣтилъ увѣренно студентъ.

— А я не надѣюсь! Если бы вы имѣли представленіе объ этомъ, вы не смѣшивали бы соціализаціи съ соціализмомъ...

— Не горячитесь,—остановилъ его нѣсколько ядовито студентъ.—Я знаю, что такое соціализація, и знаю, что такое соціализмъ. Можете мнѣ повѣрить. И я утверждаю, что у васъ перепутаны и смѣшаны программа-максимумъ съ программой-минимумъ; что ваша соціализація—плохой суррогатъ соціализма и совершенно неосуществима при капиталистическомъ строѣ...

Въ кружкѣ пронесся ропотъ неудовольствія. Публика хотѣла слушать продолженіе разсказа дѣвушки и не была расположена къ полемическимъ дебатамъ. Помимо этого, „мѣстная“ эсъ-эровская публика была возмущена, что „бундистъ“ пришелъ на ихъ „биржу“ и прервалъ разсказчицу.

— Довольно! Довольно!—раздались нетерпѣливые голоса.

— Что вы въ самомъ дѣлѣ ворвались съ полемикой!.. Мы не о соціализаціи земли говорили теперь...

— Дайте слушать! Гораздо интереснѣе, чѣмъ эти споры!

— Идите къ себѣ на „биржу“ и тамъ спорьте!

Послѣднее восклицаніе особенно задѣло нѣкоторыхъ бундистовъ.

— А вы къ намъ на „биржу“ не приходите оппонировать?—воскликнулъ одинъ изъ нихъ.—Не только приходите, а даже врываетесь. И мы вамъ не затыкаемъ рта, не гонимъ...

— Просто не любятъ, когда имъ показываютъ въ зеркалѣ ихъ мелко-буржуазную физіономію,—отозвался съ презрительной улыбкой другой, обращаясь къ студенту.

Студентъ утвердительно кивнулъ головой и, собираясь уйти, какъ-то рѣзко въ упоръ бросилъ дѣвушкѣ:

— Рабочіе уже поняли, какіе вы соціалисты. Скоро и крестьяне раскусятъ, какъ вы ихъ дурачите. Вы поспѣшили раскрыть свои карты вашимъ союзомъ съ либералами!!

И, рѣзко повернувшись, онъ ушелъ вмѣстѣ съ нѣсколькими своими товарищами, сопровождаемые возмущенными восклицаніями глубоко оскорбленныхъ эсъ-эровъ.

Бася, подошедшая къ кружку въ миролюбивомъ настроеніи и сначала даже заинтересовавшаяся разсказомъ дѣвушки, теперь чувствовала глубокое возмущеніе противъ эсъ-эровъ и вполнѣ одобряла поступокъ товарища-студента. „Такъ имъ и слѣдуетъ

мелкимъ буржуямъ!—думала она съ негодованіемъ.—Прикидываются соціалистами, а потихоньку вступаютъ въ союзъ съ либералами, чтобъ обмануть рабочихъ!“

Она собралась уходить съ „биржи“. Проходя мимо одной скамейки, она увидѣла сидящаго на ней рабочаго, широкоплечаго, сильнаго, съ нѣсколько расплывчатыми чертами, сѣрыми глазами и подстриженными въ скобку волосами. Онъ сидѣлъ на скамейкѣ какъ-то непринужденно, щелкалъ орѣхи и, повидимому, ни о чемъ не думалъ, предаваясь полному отдыху. Бася хорошо знала его. Это былъ одинъ изъ самыхъ преданныхъ членовъ „организаціи“, большой силачъ и любимецъ товарищей.

На „биржѣ“ онъ былъ извѣстенъ за его силу подъ кличкой „Медвѣдь“.

— Добрый вечеръ, Абрамъ!—привѣтствовала его дружески Бася.

Абрамъ молча кивнулъ ей головой, какъ старой знакомой, вытащилъ изъ кармана горстку орѣховъ и подалъ ей.

Бася поблагодарила и спросила его:

— Что новаго?

— Зачѣмъ новое, когда старое хорошо?—отвѣтилъ ей съ благодушнымъ спокойствіемъ Абрамъ.

Неподалеку отъ скамейки въ кружкѣ шли горячіе дебаты о культурной автономіи. Бася, хорошо знавшая полное равнодушіе почти совершенно неграмотнаго Абрама къ теоретическимъ вопросамъ, спросила его съ добродушной улыбкой, указывая головой на кружокъ:

— А дебаты эти совсѣмъ не интересуютъ тебя?

Абрамъ равнодушно оглянулся на группу спорящихъ и, расщелкавъ орѣхъ, проговорилъ спокойно, съ ноткой глубокаго презрѣнія въ голосѣ:

— Говорятъ... стрекочутъ... Съ утра до ночи только и дѣлаютъ, что говорятъ... А когда дѣло доходитъ до драки, нѣтъ живого человѣка, который могъ бы отпустить хоть пару хорошихъ пощечинъ...

Басѣ это замѣчаніе понравилось.

У выхода изъ сада находился полицейскій постъ, гдѣ постоянно дежурили двое городовыхъ, почти всегда одни и тѣ же, Ѳедоръ и Игнатъ. Первый совершенно не интересовался „биржей“ и постоянно удивлялся только: „откуда ихъ берется столько“. Другой же, Игнатъ, высокій и худой старикъ съ насупленными бровями, относился съ большимъ вниманіемъ и очень серьезно къ „биржѣ“. Онъ зналъ въ лицо почти всѣхъ завсегдатаевъ „биржи“, зналъ многихъ по имени, зналъ даже, къ какой партіи каждый принадлежалъ. И когда ему случалось проходить по саду, онъ иногда останавливалъ какого-нибудь юношу и сурово дѣлалъ ему замѣчаніе:

— Ты чего, Мендель, сюда, на чужую „биржу“, залѣзъ? У васъ своя „сѣровская“ биржа есть, тамъ и ходи! Порядокъ соблюдай!

И уходилъ дальше въ сознаніи исполненнаго долга по возстановленію порядка.

Когда наступало десять часовъ и бо́льшая часть публики расходилась, Игнатъ заходилъ въ садъ и начиналъ приглашать оставшихся расходиться:

— Ну, расходитесь, расходитесь! Пора! — говорилъ онъ настойчиво, но не грубо.

И если раздавались протесты со стороны кого-ни-

будь изъ публики, Игнатъ прибѣгалъ къ самому неотразимому доводу:

— Вонъ „Бунтъ“ уже ушелъ съ „биржи“, значитъ пора, значитъ и говорить нечего! Ужъ „Бунтъ“ свой часъ знаетъ, не безпокойся!

Въ этотъ вечеръ однако Игнатъ не заходилъ на „биржу“. Онъ стоялъ на своемъ посту, суровый и насупившійся, и мрачно глядѣлъ въ сторону. Въ участкѣ онъ узналъ, что Степана убилъ непремѣнно кто-либо изъ тѣхъ, кто ходитъ на „биржу“, и онъ чувствовалъ себя глубоко обиженнымъ и оскорбленнымъ.

VIII.

Съ „биржи“ Бася отправилась на квартиру Давида, чтобы узнать, пріѣхалъ ли онъ и почему задержался въ К. Ей надо было пройти мимо театра, гдѣ играла гастролировавшая въ городѣ труппа съ какою-то столичною знаменитостью.

Было уже около одиннадцати часовъ вечера, и публика выходила изъ театра. У театральнаго подъѣзда горѣлъ большой электрическій фонарь, ярко освѣщавшій небольшой кругъ, опредѣленную часть площади передъ зданіемъ, и отъ этого яркаго свѣта остальная часть площади и сосѣднія слабо освѣщенныя улицы казались потонувшими во мракѣ, заброшенными и жалкими. Публика выходила изъ театра не спѣша, съ самодовольнымъ выраженіемъ людей, насыщенныхъ пріятными впечатлѣніями. Преобладали сытыя, выхоленныя лица, плотныя или толстыя фигуры; бросались въ глаза изысканно одѣтые мужчины, женщины въ богатыхъ и модныхъ туалетахъ,

съ золотыми и брильянтовыми украшеніями. Вся эта сытая, нарядная и празднично настроенная публика, толпившаяся на небольшомъ пространствѣ, облитомъ яркимъ свѣтомъ, выдѣлялась въ особый мірокъ, рѣзко отдѣленный отъ сосѣднихъ мрачныхъ и почти пустынныхъ улицъ, гдѣ торопливо, какъ испуганныя тѣни, точно шныряли во тьмѣ одинокія фигуры, согбенныя и жалкія.

Басѣ никогда не случалось въ эту пору проходить мимо театра, никогда не случалось видѣть подобной публики и въ такой обстановкѣ. Привлекаемая свѣтомъ, она подошла, остановилась неподалеку отъ подъѣзда и стала осматривать публику.

„Буржуазія веселится!..“ пронеслось въ ея умѣ, и эта мысль сразу показалась ей совершенно новой и неожиданной. Неужели это она и есть, та самая буржуазія, о которой такъ много говорится, противъ которой въ душѣ накопилось столько жгучей ненависти, противъ которой она, Бася, и ея товарищи ведутъ яростную борьбу! До сихъ поръ Бася видѣла передъ собой только отдѣльныхъ представителей этого класса, какъ хозяина-фабриканта или другихъ подобныхъ ему буржуевъ. Иногда, въ моменты обостренія партійныхъ раздоровъ, она горячо убѣждала себя, что и Генехъ переплетчикъ, эсъ-эровскій агитаторъ, и приказчикъ Калманъ Мейше-Лейбсъ, ярый сіонистъ,—„точно такіе же буржуи“. Но ей никогда не приходилось видѣть цѣлой, большой, точно сплоченной группы людей этого класса. И она теперь съ жаднымъ любопытствомъ вглядывалась въ лица, осматривала туалеты, останавливалась на драгоцѣнныхъ украшеніяхъ. Да! Это она и есть, та самая

буржуазія, которая эксплоатируетъ рабочихъ, высасываетъ изъ нихъ кровь, а сама проводитъ всю жизнь въ бездѣльи и удовольствіяхъ!

Публика не торопилась расходиться, точно не желая выйти изъ свѣтлаго круга. Шли оживленные разговоры о пьесѣ, объ игрѣ артистовъ. Бася машинально прислушивалась къ нимъ. Среди другихъ рѣчей до ея слуха долетѣла фраза:

— Увѣряю васъ, Марья Михайловна, вы ошибаетесь. Они тогда играли не здѣсь, а въ лѣтнемъ театрѣ, въ саду. Тогда садъ еще не былъ захваченъ сморкачами...

Бася вздрогнула и покраснѣла, точно ей непосредственно было нанесено кровное оскорбленіе. „Такъ вотъ какъ они называютъ за глаза рабочихъ-борцовъ!“ думала она. Ей сразу стала противна вся эта публика. Но что-то удерживало ее здѣсь, въ этомъ свѣтломъ пятнѣ, и она только перешла къ другой сторонѣ подъѣзда. Тамъ неподалеку отъ нея стояли толстый господинъ и богато одѣтая дама и разговаривали.

— ...Ѣду на цѣлыхъ два мѣсяца,—говорилъ господинъ.—Бросаю всѣ дѣла и ѣду. Отъ этихъ событій нервы въ конецъ истрепались и у меня, и у Ольги Владиміровны!.. Да, знаете, и невозможно... Нужны прямо желѣзные нервы, чтобы все это выдержать. Аресты, обыски, казаки, нагайки, избіенія... Читали сегодня телеграмму изъ Н.? Прямо съ ума сойти можно!.. Затѣмъ еще эти опасенія погромовъ...

— Куда же ѣдете?—перебила его барыня.

— Раньше ѣдемъ въ Висбаденъ полѣчиться немного. А потомъ на мѣсяцъ въ Швейцарію отдохнуть...

„Ѣдутъ отдыхать... устали“, повторила про себя съ ядовитой ироніей Бася, и на ея лицѣ появилась грустная, презрительная улыбка.

Вдругъ она увидала выходящаго изъ театра Барканова въ компаніи знакомой ей барышни Сони Сендерсонъ и ея брата. У Барканова было оживленное лицо, онъ улыбался. Соня Сендерсонъ, прикалывая шляпу булавкой и обращаясь къ Барканову, говорила, смѣясь:

— Дамъ вамъ чаю, дамъ вамъ варенья и, если очень будете настаивать, даже хлѣба съ масломъ дамъ! Ну, идете?

Бася стояла пораженная. Она меньше всего ожидала увидѣть Барканова здѣсь, среди этой публики и въ компаніи съ Соней, которая хотя и числилась въ „организаціи“, но считалась пустой дѣвчонкой. Но еще больше поразилъ Басю видъ самого Барканова. Она никогда не видала его такимъ. Сколько разъ ей приходилось встрѣчаться, бесѣдовать съ нимъ и никогда она не замѣчала у него ни такого блеска въ глазахъ, ни такого оживленія на лицѣ. Она никогда не видала, чтобы онъ стоялъ такъ, услужливо нагнувшись, чтобы въ его улыбкѣ было столько интимности и предупредительности.

Волна тяжелой и жгучей обиды нахлынула на душу Баси. Какъ-то торопясь, точно спѣша укрыться, уйти изъ этого свѣтлаго и праздничнаго круга къ себѣ, въ сферу своей бѣдной и безотрадной жизни, отошла она отъ подъѣзда и нырнула въ мракъ темной и грязной улицы.

Она сразу не отдавала себѣ отчета, почему ее такъ сильно взволновала и оскорбила встрѣча Барканова

здѣсь у театра вмѣстѣ съ Сендерсонъ. Развѣ предосудительно пойти когда-нибудь въ театръ? И она сама тоже два раза въ своей жизни была въ театрѣ. Еще менѣе предосудительно то, что Баркановъ былъ въ компаніи съ Соней и ея братомъ. А между тѣмъ ощущеніе глубокой и кровной обиды все болѣе усиливалось въ душѣ Баси, и, тяжело шлепая своими большими башмаками по грязи темной улицы, она чувствовала себя оскорбленной и униженной.

„Товарищъ", проговорила она неожиданно съ кривой, иронической усмѣшкой, и это столь дорогое ей въ обычное время слово прозвучало теперь въ ея устахъ какъ-то жестко и холодно. Ей стали припоминаться отдѣльныя черты изъ ея встрѣчъ и разговоровъ съ Баркановымъ. Онъ никогда ничѣмъ не оскорбилъ ея, держался съ нею просто, по-товарищески, никогда не давалъ ей чувствовать, что между нимъ и ею существуетъ большая разница въ отношеніи общественнаго положенія. Но заинтересовался ли онъ когда-нибудь ея жизнью, ея душой, ея настроеніемъ? Пытался ли онъ когда-нибудь подойти къ ней какъ братъ, какъ другъ, какъ „товарищъ" въ томъ смыслѣ, какъ это слово понимается въ самой рабочей средѣ? Спросилъ ли онъ ее когда-нибудь о ея личныхъ дѣлахъ, радостяхъ и невзгодахъ, о ея настроеніи? Никогда! Съ нею онъ говорилъ только о дѣлахъ, держался съ нею только какъ соучастникъ въ общей дѣятельности, интересовался ею и ея жизнью лишь настолько, насколько это относилось къ партійной работѣ. А между тѣмъ онъ вѣдь называетъ себя ея „товарищемъ".

Бася продолжала итти по темной улицѣ, и мысли

ея становились все болѣе мрачными и безотрадными.

„Да и въ дѣловыхъ отношеніяхъ какъ держитъ себя со мною Баркановъ,—думала она дальше.—Тоже далеко не такъ, какъ слѣдовало бы истинному товарищу“. Ей припомнилось теперь, какъ на комитетскихъ засѣданіяхъ Баркановъ, часто не дослушавъ до конца того, что она говоритъ, начинаетъ излагать свои мысли и соображенія, точно совершенно не считаясь съ ея мнѣніемъ. И обыкновенно какъ-то такъ выходитъ, что почти всегда принимаются предложенія Барканова. Онъ, конечно, имѣетъ больше знанія, но онъ одерживаетъ побѣду и въ практическихъ вопросахъ. Онъ какъ-то умѣетъ гладко и ясно формулировать свои мысли, умѣетъ убѣждать, и ему всегда удается склонить Давида на свою сторону. И, въ сущности, выходитъ, что хотя она и состоитъ въ комитетѣ полноправнымъ членомъ, но на самомъ дѣлѣ является только простой исполнительницей чужой воли.

„Интеллигентъ... Всѣ они такіе“, подумала она вслухъ.

Развѣ одинъ только Баркановъ относится такъ къ товарищамъ-рабочимъ! Развѣ другіе интеллигенты чѣмъ-нибудь отличаются отъ него въ этомъ отношеніи? Всѣ они на одинъ манеръ. На словахъ они возносятъ рабочій классъ до небесъ, говорятъ о пролетаріатѣ, какъ о самой здоровой, самой лучшей части человѣчества, и не находятъ достаточно словъ, чтобы заклеймить выродившуюся, бездушную и грубую буржуазію. А въ душѣ, въ личной жизни они остаются самыми типичными буржуями, имѣютъ всѣ бур-

жуазные привычки и недостатки и чувствуютъ себя хорошо только въ своей, буржуазной средѣ. Къ рабочимъ они идутъ только затѣмъ, чтобы верховодить ими, чтобы командовать. Они захватили въ свои руки весь Ц. К., пробрались во всѣ комитеты и верховодятъ. Развѣ удивительно поэтому, что всюду царитъ недовольство, идетъ ропотъ противъ „интеллигентовъ", что постоянно организовываются противъ нихъ „оппозиціи".

Бася подошла къ узкому грязному и нѣсколько покатому переулку, который походилъ теперь на какую-то темную пещеру. Въ этомъ переулкѣ жилъ Давидъ. Бася остановилась и издали окинула взглядомъ весь переулокъ съ его старенькими покосившимися домиками, которые стояли теперь какъ слѣпые. Въ знакомомъ ей домикѣ Давида, какъ и въ другихъ домишкахъ, не было свѣта.

„Спитъ или еще не пріѣхалъ", рѣшила она и вернулась обратно.

Она прошла уже нѣсколько улицъ, какъ при свѣтѣ фонаря увидѣла идущаго ей навстрѣчу Давида и сильно обрадовалась ему.

— Ты вѣроятно ходила ко мнѣ, а я у тебя былъ,— сказалъ онъ, подавая ей руку.

Въ нѣсколькихъ словахъ разсказалъ онъ ей о своей поѣздкѣ, объ арестѣ Михаила и отъѣздѣ Матвѣя.

— Пойдемъ, я провожу тебя немного,— предложилъ Давидъ, и они пошли по направленію къ дому Баси.

Они оба шли нѣсколько минутъ молча. Бася вернулась къ своимъ прежнимъ мыслямъ и ей сильно хотѣлось заговорить на эту тему съ Давидомъ, ко-

тораго она считала своимъ человѣкомъ, „совершенно не интеллигентомъ“, хотя онъ и не былъ рабочимъ. Давидъ, сынъ бѣднаго приказчика, въ юности самъ служилъ приказчикомъ, постоянно жилъ впроголодь, ютился въ крошечной каморкѣ въ нищенскомъ кварталѣ и послѣдніе годы существовалъ какими-то грошовыми уроками.

— Я ходила теперь и думала...—проговорила она нѣсколько нерѣшительно, не зная, какъ заговорить о вопросѣ, который волновалъ ее.

Давидъ молчалъ, ожидая, пока она кончитъ фразу.

— Я думала... о жизни...—проговорила она, неловко усмѣхнувшись, точно извиняясь.

— О жизни?—нѣсколько удивился Давидъ.

— То-есть не о жизни, а о людяхъ...—поправилась она.

Давидъ съ минуту молчалъ, ожидая, что она выскажется подробнѣе. Наконецъ, онъ поощрилъ ее вопросомъ:

— Ну?

— Слушай, Давидъ!—заговорила она вдругъ оживленнѣе и рѣшительно.—Скажи, ты думалъ когда-нибудь объ отношеніи интеллигентовъ къ рабочимъ?

— Да, думалъ,—отвѣтилъ ей спокойно Давидъ.

— Ну вотъ, скажи мнѣ по чистой совѣсти, какъ ты считаешь: можетъ интеллигентъ сойтись съ рабочимъ... совсѣмъ... вотъ какъ свой, какъ братъ, чтобы не было никакой разницы ни въ чемъ? Меня этотъ вопросъ очень интересуетъ!

— Видишь ли,—проговорилъ Давидъ не спѣша,—это зависитъ, конечно, отъ человѣка... Мнѣ приходилось встрѣчать двухъ-трехъ интеллигентовъ, которые

жили съ рабочими тѣснѣе и ближе, чѣмъ сами рабочіе живутъ между собой,—такихъ, которыхъ никто и не называлъ интеллигентами... Но въ общемъ я считаю, что интеллигенту, особенно изъ зажиточной семьи, трудно сойтись съ рабочимъ совсѣмъ, какъ со своимъ. Всегда будетъ чувствоваться разница... во всемъ, даже въ пожатіи руки...

— Я то же самое думала!—какъ-то обрадовалась Бася.—Знаешь,—продолжала она болѣе довѣрчивымъ тономъ,—я часто задумывалась надъ этимъ вопросомъ. Я почти всегда была противъ „оппозиціи", не любила слушать насмѣшекъ и остротъ надъ интеллигентами, возмущалась, когда раздавались крики, что интеллигенты захватили все въ свои руки... Но когда хорошенько вдумываешься, то видишь, что эти жалобы и это недовольство не совсѣмъ напрасны. Масса таки въ большой степени права, что она не вѣритъ интеллигентамъ!

— Я не считаю, что масса въ этомъ отношеніи права,—проговорилъ попрежнему спокойно и увѣренно Давидъ.

— Почему?..—нѣсколько опѣшила Бася, не ожидавшая такого отвѣта.

— Потому что она слишкомъ много требуетъ отъ интеллигентовъ. Она требуетъ отъ нихъ, чтобы они совершенно перевоспитали себя, чтобы они стали другими людьми, чтобы они измѣнили и свой образъ жизни и свои привычки и начали бы не только иначе жить, но и совершенно иначе думать и чувствовать. А это далеко не всякому подъ силу. Это очень и очень трудно...

— Мало ли что трудно!—воскликнула горячо Ба-

ся.—Если они называютъ себя „товарищами“, соціалистами, борцами, они должны измѣнить свой образъ жизни, отказаться отъ своихъ буржуазныхъ привычекъ. И масса имѣетъ полное право требовать этого отъ нихъ!

— А по-моему не только масса, но даже сознательные и активные рабочіе не имѣютъ права этого требовать отъ интеллигентовъ.

— Почему?—спросила съ нѣкоторымъ задоромъ Бася.

— Очень просто, потому что рабочіе не ставятъ этихъ требованій самимъ себѣ.

— То-есть какъ это?—не поняла его Бася.—Какія требованія рабочій можетъ себѣ ставить? вѣдь онъ же и есть пролетарій...

— Что же изъ того, что онъ пролетарій?.. Развѣ пролетарій не имѣетъ недостатковъ? Развѣ у нашихъ рабочихъ мало привычекъ и предразсудковъ чисто буржуазныхъ?

— Буржуазныхъ?!—удивилась Бася.

Давидъ вдругъ остановился, заставивъ такимъ образомъ остановиться и Басю, и заговорилъ съ совершенно несвойственною ему горячностью:

— Да, буржуазныхъ, и даже очень буржуазныхъ! Какъ ты назовешь то, что въ средѣ рабочихъ, даже сознательныхъ, тѣ, которые зарабатываютъ больше, не только не дѣлятся своимъ заработкомъ съ голодающими бѣдняками,—гдѣ ужъ!—но еще считаютъ себя выше, благороднѣе тѣхъ, которые зарабатываютъ меньше, ходятъ оборванными, живутъ впроголодь? Развѣ ты будешь отрицать, что хорошій мастеръ относится часто очень пренебрежительно къ

чернорабочему? Развѣ ты будешь отрицать, что подобное дѣленіе на „высшихъ“ и „низшихъ“, на „меюхосимъ“ [1] и „грубыхъ парней“ существуетъ, и въ довольно-таки рѣзкой формѣ, въ рабочей средѣ и доходитъ даже до того, что прочитавшій десятокъ брошюръ гордится передъ тѣмъ, который еще ничего не читалъ? Дальше. Развѣ ты не знаешь, что и между сознательными рабочими, хорошими борцами, часто происходятъ очень мелочные ссоры и споры, ведется глухая борьба за партійные чины и ордена, проявляется зависть и обидчивость со стороны однихъ и стремленіе командовать, приказывать, даже покрикивать со стороны другихъ? Развѣ все это по-твоему не буржуазныя привычки? А какіе глупые и закорузлые предразсудки еще коренятся среди рабочихъ! Хотя бы такой фактъ. На-дняхъ я зашелъ къ одной работницѣ, очень сознательной, состоящей уже два года въ организаціи. Она заболѣла тифомъ и никоимъ образомъ не соглашалась призвать доктора. Знаешь почему? Потому что, когда сосѣдки увидятъ, что къ ней пріѣхалъ докторъ, онѣ подумаютъ, что она больна недугомъ, подобающимъ только замужнимъ женщинамъ, и начнутъ сплетничать... Или другой фактъ, который и тебѣ извѣстенъ: когда Файвель столяръ, представитель кружка, избилъ своихъ сестеръ за то, что онѣ не такъ скоро послушались его, при чемъ кричалъ на всю улицу: „Я васъ кормлю—и вы должны меня слушаться!“ И развѣ это исключительныя явленія?.. И вотъ поэтому я и говорю: разъ самъ рабочій еще зараженъ буржуаз-

---

[1] Аристократы; принадлежащіе къ „знатному роду“.

ными привычками и предразсудками, онъ не имѣетъ права требовать отъ интеллигента, чтобы тотъ перевоспиталъ себя...

Онъ замолчалъ. Молчала и Бася, подавленная его репликой. Наконецъ она проговорила нерѣшительно:

— Но... отношенія? Разъ интеллигентъ называетъ себя „товарищемъ", имѣетъ же право рабочій требовать, чтобы онъ относился къ нему просто, естественно...

— А рабочій развѣ относится просто и естественно къ интеллигенту?—перебилъ ее Давидъ.—Ты вѣдь знаешь, какъ у насъ относятся къ интеллигенту. Когда рабочій или работница только что вступаютъ въ движеніе, они молятся на интеллигента, благоговѣютъ передъ нимъ, считаютъ его идеальнѣйшимъ человѣкомъ, заглядываютъ ему въ глаза и трепещутъ отъ восторга, когда онъ удостоиваетъ ихъ своимъ вниманіемъ. А побудутъ нѣкоторое время въ движеніи, убѣдятся, что интеллигентъ не Богъ, а такой же человѣкъ, какъ всѣ люди, со всѣми человѣческими недостатками, и начинаютъ топтать его въ грязь. Его ужъ называютъ „Hintelegent" [1], „тряпочка", „хозяйскій сынокъ", „крупчатная булочка", „курьи ножки"; противъ него выдвигаются всевозможныя обвиненія, устраиваются оппозиціи и т. д. Развѣ это простыя и естественныя отношенія? Можетъ быть, если бы рабочій просто и естественно подошелъ къ интеллигенту, и тотъ иначе относился бы къ рабочимъ.

---

[1] Созвучіе со словомъ „Hund"—собака.

Давидъ замолчалъ, но тотчасъ же, точно что-то вспомнивъ, снова заговорилъ съ оживленіемъ:

— Да! Я еще вотъ что хотѣлъ указать. Я вполнѣ согласенъ, что гораздо лучше было бы, если бы все рабочее движеніе вели сами рабочіе. Но для этого должны быть силы въ рабочей средѣ, а ихъ пока нѣтъ. И это вина не интеллигентовъ, а соціальнаго строя, который не позволяетъ рабочему классу выдвигать ни теоретиковъ, ни политическихъ дѣятелей. А пока ихъ нѣтъ, необходимы интеллигенты... И въ особенности намъ! Наша партія бѣднѣе, чѣмъ всѣ другія партіи, интеллигентными силами, а мы готовы и тѣхъ немногихъ интеллигентовъ, которые у насъ имѣются, затравить собаками!..

Давидъ сразу смолкъ и оглянулся съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Какъ я однако разошелся,—промолвилъ онъ, усмѣхнувшись.—Ужъ вѣрно лѣтъ десять не говорилъ столько, какъ сегодня.

Бася стояла серьезная и сосредоточенная. Она не находила, что̀ отвѣтить Давиду, но въ душѣ у нея оставалось прежнее чувство отчужденія и недовольства по отношенію къ интеллигентамъ и ощущеніе болѣзненной обиды противъ Барканова. Послѣ нѣкотораго молчанія она какъ-то рѣшительно тряхнула головой и проговорила твердо:

— Какъ бы то ни было, права ли масса или нѣтъ, но противъ всѣхъ этихъ „оппозицій“ и нападокъ на интеллигентовъ необходимо бороться самымъ рѣшительнымъ образомъ. Партійная дисциплина должна быть на первомъ планѣ!

IX.

Мирлъ вернулась домой съ „биржи“ взволнованная и счастливая. Въ этотъ вечеръ она въ первый разъ ходила на „биржу“ не такъ себѣ, не для прогулки, а по дѣлу: въ первый разъ ей была довѣрена серьезная тайна и поручено серьезное дѣло.

Дѣвочкѣ не было еще полныхъ тринадцати лѣтъ, но она успѣла уже пережить и переиспытать больше, чѣмъ иная взрослая. Уже около четырехъ лѣтъ работала она на фабрикѣ и за это время успѣла въ достаточной мѣрѣ узнать всѣ прелести фабричной жизни, съ ея эксплоатаціей, гнетомъ и всевозможными обидами, успѣла впитать въ себя глубокую ненависть и къ хозяину и къ остальному фабричному начальству, которое широко проявляло свою неограниченную власть надъ работницами. Съ самаго ранняго дѣтства Мирлъ на себѣ испытывала весь ужасъ рабочей жизни, узнала на практикѣ все значеніе классовой борьбы, и въ ея душѣ уже выработалась почва для воспріятія новаго ученія. Но Мирлъ не пришлось воспринимать идею соціализма какъ нѣчто цѣльное и новое. Находясь съ самаго дѣтства въ атмосферѣ рабочаго движенія, слыша постоянные разговоры и дебаты объ эксплоатаціи, о стачкахъ, о борьбѣ съ буржуазіей и правительствомъ, будучи свидѣтельницей обысковъ, арестовъ, избіеній рабочихъ, Мирлъ незамѣтно и безсознательно впитала въ себя, какъ устой жизни, всѣ воззрѣнія, симпатіи и антипатіи окружавшей ее рабочей среды. Нѣкоторыя явленія революціонной жизни казались ей совершенно естественными и неизбѣжными. Время отъ времени

должны были появляться прокламаціи, должны были происходить собранія и массовки, должны были случаться обыски и аресты. Благодаря усердному участію сестры въ движеніи, въ руки Мирлъ часто попадались прокламаціи, и она чуть ли не на нихъ научилась читать по-еврейски. Она знала много революціонныхъ пѣсенъ, которыя распѣвала въ субботу вмѣстѣ съ другими дѣтьми и подростками открыто на улицѣ; въ ея рѣчи попадалось много новыхъ словъ, которыя казались ей обычными, коренными словами еврейской рѣчи. „Биржа“ представлялась ей такимъ же основнымъ, національнымъ учрежденіемъ, какъ синагога, съ тою разницей, что синагога предназначалась для стариковъ, а „биржа“—для молодежи.

Мирлъ хорошо знала, что со временемъ наступитъ и ея очередь приняться за активную революціонную дѣятельность. Она знала, что для этого требуется извѣстный возрастъ, что „маленькихъ не принимаютъ въ организацію, какъ бы они ни просились“, знала, что ранѣе, чѣмъ ей исполнится семнадцать лѣтъ, съ нею серьезно и говорить не станутъ. Она считала это несправедливымъ, но подчинилась этому какъ чему-то неизбѣжному и мечтала, какъ о высшемъ счастьѣ, о томъ времени, когда она ужъ будетъ признана взрослой, будетъ принята въ организацію, получитъ своего представителя и будетъ имѣть право называться „Kempferin“ [1].

Однако очередь ея наступила раньше, чѣмъ она ожидала. Нашелся агитаторъ, который призналъ ее достаточно взрослой для революціонной дѣятельно-

---

[1] Женскій родъ отъ слова „борецъ“.

сти и обратился къ ней съ своею проповѣдью. Агитаторъ этотъ былъ не кто иной, какъ младшій сынъ Эліокума Сойфера, Гиршель, братъ Матвѣя.

Гиршелю было всего одиннадцать лѣтъ, но онъ уже былъ чуть ли не „профессіональнымъ революціонеромъ“. Обладая выдающимися способностями, онъ быстро усвоилъ основныя положенія марксистской теоріи въ ея упрощенномъ видѣ, усердно читалъ всѣ попадавшіяся ему революціонныя брошюры, занимался пропагандой и агитаціей среди подростковъ и, собравъ вокругъ себя цѣлую компанію малышей, организовалъ ихъ въ „малый бундъ“. Онъ почти не пропускалъ вечера, чтобы не явиться на „биржу“, гдѣ велъ очень серьезно какіе-то дѣла и переговоры. На „биржѣ“ Гиршель чувствовалъ себя хорошо, какъ въ родной стихіи. Онъ зналъ всѣхъ членовъ „биржи“, и его всѣ знали. Считалъ себя Гиршель „бундовцемъ“ и яростно защищалъ свою партію противъ нападокъ „противниковъ“. Иногда ему удавалось оказывать „большому бунду“ тѣ или другія услуги, расклеить прокламацію, извѣстить кого-нибудь о собраніи или о готовящемся обыскѣ, помочь перенести или спрятать какую-нибудь нелегальщину, и онъ выполнялъ свою миссію очень серьезно, толково и съ большой конспиративностью. Въ общемъ, Гиршель считалъ себя совершенно взрослымъ, былъ крайне недоволенъ глупою случайностью, что ему одиннадцать лѣтъ вмѣсто семнадцати, совершенно не понималъ, почему его не принимаютъ въ организацію, и готовился, вмѣстѣ съ своей паствой малышей, устроить „оппозицію“ противъ „большого бунда“ и выпустить по этому поводу прокламацію.

Гиршель обладалъ нѣкоторымъ ораторскимъ талантомъ. Онъ говорилъ довольно складно, очень горячо и часто увлекалъ своею рѣчью не только подростковъ, но и взрослыхъ малоразвитыхъ рабочихъ. Особенную популярность пріобрѣлъ Гиршель и на „биржѣ“ и въ своей слободкѣ одной стачкой, которую ему удалось сорганизовать, провести и выиграть. Какой-то старикъ меламедъ высѣкъ своего ученика, семилѣтняго мальчика. Гиршель, узнавъ про это, собралъ всѣхъ двѣнадцать учениковъ этого меламеда, произнесъ предъ ними зажигательную рѣчь противъ деспота-меламеда, взывалъ къ ихъ человѣческому достоинству, напомнилъ имъ, что они будущіе „борцы за свободу“, и убѣдилъ ихъ устроить стачку—прекратить ходить въ хедеръ, пока меламедъ не дастъ клятвы, что больше никогда не будетъ сѣчь учениковъ, и не извинится передъ высѣченнымъ ученикомъ. Эти требованія были предъявлены меламеду письменно, за подписью „малаго бунда“. Ученики, наэлектризованные рѣчами агитатора, дали торжественную клятву ни въ коемъ случаѣ не уступить, стойко выдержали увѣщаванія, угрозы и физическое воздѣйствіе родителей и, наконецъ, добились своего: старый сѣдой меламедъ былъ вынужденъ извиниться передъ ученикомъ и дать клятву никогда больше не сѣчь своихъ учениковъ.

Гиршель, хорошо знавшій Мирлъ, давно уже намѣтилъ ее для своей агитаціи, но все время отвлекался другими, болѣе неотложными дѣлами. И только за недѣлю передъ послѣднимъ вечеромъ онъ, встрѣтивъ ее въ субботу послѣ обѣда, рѣшилъ серьезно поговорить съ нею.

— Хорошо, Мирлъ, что я тебя встрѣтилъ! Ты мнѣ нужна! — проговорилъ онъ серьезнымъ и нѣсколько властнымъ тономъ.—Пойдемъ!

Мирлъ сразу поняла, о чемъ Гиршель будетъ съ нею говорить, и у нея замерло сердце. Она чувствовала, что Гиршель заговоритъ съ нею о „движеніи“, о „борьбѣ“, что онъ обратится къ ней, какъ къ взрослой (на Гиршеля она смотрѣла, какъ на взрослаго, и относилась къ нему съ большимъ почтеніемъ), и сердце ея затрепетало отъ страха и радости.

Гиршель отвелъ ее на небольшую площадь позади слободской синагоги, гдѣ часто устраивались собранія „малаго бунда“.

— Что ты себѣ думаешь, Мирлъ! — обратился къ ей Гиршель съ суровымъ негодованіемъ обличителя.—Тебѣ уже тринадцать лѣтъ, ты работница, ты знаешь хорошо, что происходитъ въ мірѣ, ты имѣешь сестру „Kempferin“ и ты расхаживаешься безо всякаго дѣла, какъ истинная буржуйка!

Мирлъ сдѣлала робкую попытку оправдаться, но Гиршель не далъ ей ничего сказать и продолжалъ:

— Ты вѣрно хочешь оправдаться тѣмъ, что ты еще молода? Но ты забываешь, что теперь революція! А когда революція, всѣ должны быть борцами—и старшіе, и молодые! И если ты захочешь оправдаться тѣмъ, что тебя не примутъ въ организацію, то это для меня тоже не отвѣтъ! Истинный „борецъ“ долженъ умѣть бороться, когда онъ даже не состоитъ въ организаціи! И, кромѣ всего, ты вѣдь должна помнить, что ты человѣкъ, ты вѣдь должна готовиться, чтобы стать сознательной работницей. А ты и не безпокоишься! Ужасъ!

Мирлъ глубоко чувствовала всю справедливость этихъ упрековъ и, не находя, что отвѣтить обличителю, чѣмъ оправдаться, заплакала, чувствуя себя совершенно погибшей и потерянной.

— Ну, вотъ! Начинаются слезы! Женскія слезы!— проговорилъ съ презрительной гримасой Гиршель.— Ты должна понять, что слезами ты ничего не сдѣлаешь. Плакать вѣдь можетъ и маленькій ребенокъ! Надо не плакаться, а взяться какъ слѣдуетъ за дѣло!.. Читать умѣешь?—спросилъ онъ дѣловито.

— Очень немного... еле-еле... — проговорила чуть слышно Мирлъ.

— Ну вотъ! Надо научиться хорошо читать... Я тебѣ дамъ легкую книжку, у меня есть. Что ты не поймешь, я тебѣ объясню. А потомъ я тебѣ дамъ „кусокъ агитаціи“... Или чего лучше! У тебя же дома сестра „Kempferin“, попроси ее, и она тебѣ дастъ агитацію.

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ мягче, нѣсколько поощрительнымъ тономъ:

— И не падай духомъ! Возьмешься какъ слѣдуетъ за работу, и ты еще станешь хорошей „Kempferin“! Вотъ увидишь!.. Но главное — будь человѣкомъ и отучись отъ слезъ. Борцу никогда нельзя плакать, хоть бы его рѣзали на куски! Борецъ долженъ быть твердъ какъ желѣзо!

И, чтобы ярче иллюстрировать, какъ твердо борецъ долженъ держаться, онъ протянулъ свой крѣпко сжатый кулачокъ и проговорилъ:

— Вотъ!

Проповѣдь эта произвела цѣлый переворотъ въ душѣ Мирлъ. Она сразу почувствовала себя взрос-

лой, отвѣтственной участницей жизни и сама не могла понять, какъ это она до сихъ поръ могла оставаться въ сторонѣ отъ движенія. Мысль ея была пробуждена и начала лихорадочно работать надъ вопросами, уясненіе которыхъ она раньше считала для себя необязательнымъ. Она стала съ напряженіемъ прислушиваться къ разговорамъ и дебатамъ на „биржѣ“, принялась обо всемъ разспрашивать и сестру, и другихъ, а по вечерамъ усердно сидѣла надъ книжкой, стараясь научиться плавно читать.

Наканунѣ этого дня, когда Мирлъ шла съ работы, къ ней подошелъ незнакомый мальчикъ и полутаинственно сказалъ ей:

— Гиршель велѣлъ, чтобы ты сегодня непремѣнно пришла на „биржу“... по важному дѣлу. Слышишь?

Когда Мирлъ пришла на „биржу“, она нашла тамъ Гиршеля въ компаніи мальчика, который передалъ ей приглашеніе, и еще двухъ дѣвочекъ. Гиршель читалъ своимъ товарищамъ небольшой рефератъ по рабочему вопросу, объяснялъ имъ, какимъ образомъ буржуи эксплоатируютъ рабочихъ, при чемъ для подкрѣпленія своихъ словъ онъ часто прибавлялъ: „Это говоритъ самъ Марксъ“. При появленіи Мирлъ онъ ей молча кивнулъ головой, какъ старому товарищу, и продолжалъ свою лекцію. Кончивъ ее, онъ принялся объяснять своимъ слушательницамъ и слушателямъ, что такое „борецъ“.

— Вы не думайте, что „борецъ“ — это тотъ, кто гуляетъ по „биржѣ“ и споритъ!—говорилъ онъ.— Нѣ-ѣтъ! Борецъ тотъ, кто ходитъ на демонстраціи, который устраиваетъ стачки и который... стрѣ-

ляетъ или бомбы бросаетъ!—закончилъ онъ тише.—Борецъ, первымъ дѣломъ, ничего не боится! — продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе увлекаясь.—Онъ не боится ни солдатъ, ни казаковъ, никого! Онъ всегда идетъ впереди и выставляетъ грудь противъ пуль! На, стрѣляй! А когда его арестовываютъ, онъ не пугается, не проситъ, чтобы его отпустили, а главное—не плачетъ. Онъ только смѣется солдатамъ въ глаза и кричитъ: „Да здравствуетъ свобода! Да здравствуетъ Бундъ!“ Вотъ какой бываетъ истинный борецъ!

— Но вѣдь не всегда можно удержаться отъ слезъ,—отозвалась одна изъ дѣвочекъ.—Случается, что какъ ни стараешься, а не можешь удержаться и заплачешь.

— Если сильно хотѣть, можно удержаться,—отвѣтила ей Мирлъ и прибавила тише:—надо ущипнуть себя очень-очень сильно...

Къ группѣ подошелъ еще одинъ мальчикъ, и Гиршель шопотомъ о чемъ-то поговорилъ съ нимъ.

— Пойдемте, товарищи, къ старому мостику: тамъ никого нѣтъ, и тамъ я вамъ что-то сообщу,—произнесъ таинственнымъ тономъ Гиршель.

Когда они подошли къ мостику, Гиршель потребовалъ, чтобы всѣ поклялись никому не проронить ни слова о томъ, что онъ имъ сообщитъ. И только послѣ того, какъ всѣ дали такую клятву, онъ заговорилъ медленно и значительно:

— Слушайте, товарищи! Я узналъ, что „организація“ думаетъ скоро устроить демонстрацію... Борехъ (онъ указалъ на позже всѣхъ подошедшаго мальчика) говоритъ, что онъ самъ слышалъ отъ своего брата, эсъ-эра, что и они уже рѣшили непремѣнно

устроить демонстрацію. И если организація и эсъэры рѣшили, къ нимъ навѣрное и „Искра“ пристанетъ, и другія тоже... И вотъ надо и намъ готовиться. Надо намъ всѣмъ собраться и условиться, что какъ только начнется что-нибудь, чтобы всѣ были на мѣстѣ. А главное—красное знамя! Необходимо сшить красное знамя!

Дѣвочки пришли въ полный восторгъ, и каждая предлагала свои услуги.

— Я куплю на собственныя деньги кумачу и сошью!—предложила порывисто Мирлъ.

— Въ демонстраціи мы должны итти впереди всѣхъ, — продолжалъ Гиршель и пояснилъ: — всегда меньшіе ходятъ впереди. Знамя будетъ нести кто-нибудь изъ васъ,— онъ указалъ на дѣвочекъ. — Это не дѣло мужчинъ. Всегда дѣвушка носитъ знамя.

— А ты? Что ты будешь дѣлать? Какъ ты будешь итти?—спросилъ его поспѣшно Борехъ.

— За меня не безпокойся, — отвѣтилъ ему важно Гиршель.—Я буду имѣть, съ чѣмъ итти. У меня будетъ „шпайэръ“...—проговорилъ онъ значительно и шопотомъ.—Безъ пуль, но истинный „шпайэръ“, изъ котораго стрѣляютъ. И я съ нимъ пойду!

Дѣвочки съ глубокимъ почтеніемъ взглянули на Гиршеля.

— Ну, а буквы? Надо вышить на знамени какія-нибудь буквы?—спросила Мирлъ.

— А какъ же! Надо вырѣзать и наклеить золотыми буквами надпись: „Малый Бундъ“.

— Я бы сказалъ,—отозвался нѣсколько нерѣшительно мальчикъ, бывшій въ компаніи еще до прихода Мирлъ,—что буквъ не надо...

— Почему?—удивились дѣвочки.

— Потому что если мы напишемъ „Малый Бундъ“, это уже значитъ, что мы всѣ станемъ бундовцами... А у насъ много такихъ, которые еще не знаютъ, какая партія лучше...

— Кто, кто не знаетъ?—переспросилъ его строго и съ тревогой Гиршель.

— Даже я самъ,—отвѣтилъ твердо мальчикъ.—Теперь я хожу съ тобой, а потомъ я, можетъ быть, вступлю въ „Искру“ или совсѣмъ къ эсъ-эрамъ... Не знаю. А если я пойду со знаменемъ, на которомъ написано „Малый Бундъ“, ужъ кончено, тогда мнѣ уже никогда нельзя будетъ уйти изъ „Бунда“.

— Если такъ, то и я не хочу!—отозвалась и дѣвочка.

— Я тоже нѣтъ!—поддержала ее другая.

— А я хочу! — заявила твердо Мирлъ. — У меня сестра бундовка, и я тоже хочу быть въ „Бундѣ“.

Гиршель былъ нѣсколько озадаченъ протестомъ противъ надписей и хотѣлъ начать горячо спорить, но раздумалъ и проговорилъ примирительно:

— Знаете что? Мы сдѣлаемъ два знамени: одно съ надписью, а другое безъ надписи. Хорошо?

На этомъ всѣ согласились.

— И это, что съ надписью, я буду нести!—вызвалась Мирлъ.

— Хорошо,—далъ свое согласіе Гиршель.—Но помни, что, когда несутъ знамя, красное знамя, надо быть человѣкомъ! Не надо ни-ичего бояться! И не убѣгать. Хоть бы стрѣляли! Убьютъ—убьютъ. Ты упадешь какъ „Kempferin“, со знаменемъ.

— Не безпокойся за меня!—отвѣтила ему увѣрен-

но Мирлъ, и въ ея глазахъ блеснула искра рѣшимости.

Мимо мостика, у котораго происходило совѣщаніе, прошли два человѣка: русская дѣвушка, разсказывавшая на „биржѣ“ о своей работѣ въ деревнѣ, и молодой человѣкъ, представитель эсъ-эровской организаціи. Послѣдній обратилъ вниманіе своей спутницы на группу дѣтей и, остановившись въ нѣкоторомъ разстояніи, чтобы остаться незамѣченнымъ, началъ разсказывать дѣвушкѣ о Гиршелѣ и его „организаціи“, о дѣятельности и о поразительномъ развитіи этихъ малышей. Онъ разсказывалъ съ нѣкоторымъ увлеченіемъ и съ тѣмъ любовнымъ снисхожденіемъ, съ какимъ обыкновенно разсказываютъ о дѣтскомъ остроуміи.

— И это не только у „Бунда“, у насъ тоже организовывается „партія малыхъ эсъ-эровъ“,—прибавилъ онъ съ улыбкой удовольствія.

Дѣвушка однако не раздѣляла ни его увлеченія, ни его удовольствія. Она глядѣла на дѣтей пристально, серьезнымъ взглядомъ, въ которомъ выражались и недоумѣніе и глубокое страданіе.

— Но вѣдь это ужасно!—проговорила она почти съ ужасомъ.—Подумайте, вѣдь это дѣти, крошки! Вѣдь имъ впору только въ куклы играть, учиться грамотѣ, что угодно дѣлать, только не политикой заниматься... Знаете, у меня прямо сердце обливается кровью, когда я гляжу на нихъ.

Молодой человѣкъ сразу сдѣлался серьезнымъ, взглянулъ на дѣтей такимъ взглядомъ, точно желая провѣрить свое впечатлѣніе, и послѣ нѣкотораго молчанія проговорилъ спокойно:

— А меня это нисколько не ужасаетъ...

— Вы находите это нормальнымъ?—удивилась дѣвушка.

— Да!—отвѣтилъ онъ твердо и, подумавъ немного, продолжалъ:—Я нахожу ненормальнымъ и чудовищнымъ не это (онъ подчеркнулъ слово это), а тотъ общественный строй, при которомъ такія дѣти, почти крошки, отрываются отъ своей дѣтской жизни, отъ матерей, отъ дома, отъ школы и бросаются въ водоворотъ труда и жестокой борьбы за кусокъ хлѣба. Вѣдь здѣсь передъ вами самые заправскіе работники и работницы, которые за рубль или полтора въ мѣсяцъ, т.-е. за три или пять копеекъ въ день, работаютъ въ теченіе десяти или даже всѣхъ двѣнадцати часовъ на фабрикѣ, въ мастерской, въ лавкѣ! Поймите это!..

— Товарищи, за нами слѣдятъ... Уйдемте отсюда,—проговорилъ полушопотомъ Гиршель, замѣтивъ взрослыхъ.

И, быстро снявшись съ мѣста, группа перекочевала на другое, болѣе безопасное и уединенное.

X.

На слѣдующее утро Баркановъ проснулся поздно и тотчасъ же вспомнилъ, что въ этотъ день ему предстоитъ выполнить одну изъ наиболѣе тяжелыхъ и непріятныхъ обязанностей—заняться устройствомъ среди мѣстной „сочувствующей“ интеллигенціи экстреннаго сбора въ пользу организаціи.

Въ теченіе послѣдняго года, послѣ перехода рабочаго движенія отъ кружковаго къ массовому, сильно

расширилась дѣятельность комитета и вслѣдствіе этого очень сильно увеличились его расходы. Необходимость въ вооруженіи, особенно въ виду повсемѣстнаго ожиданія погромовъ, выдвинула новую статью расхода, потребовавшую совершенно особыхъ экстраординарныхъ поступленій. Комитетъ, ведшій свои дѣла съ обычной для бундовскихъ организацій поразительной экономностью и умудрявшійся въ прежніе годы сводить концы съ концами при помощи почти однихъ только грошовыхъ взносовъ самихъ рабочихъ, теперь не могъ покрывать своихъ расходовъ даже при регулярномъ сборѣ денегъ среди буржуазнаго общества, которое, изъ сочувствія къ самооборонѣ, дѣлало, хотя и не всегда охотно, опредѣленные ежемѣсячные взносы. Приходилось изыскивать все новые и новые источники доходовъ. Въ комитетѣ былъ даже поднятъ вопросъ о насильственномъ обложеніи тѣхъ богатѣевъ города, которые отказывались дѣлать какіе бы то ни было взносы; было предложено взыскивать съ нихъ manu militari опредѣленныя, соотвѣтственныя ихъ состоянію суммы въ пользу организаціи. Подобныя „насильственныя обложенія“ кое-гдѣ ужъ практиковались комитетами бундовскими и другихъ партій и приносили значительныя суммы, хотя дѣло не обходилось безъ инцидентовъ, часто очень серьезныхъ, съ выстрѣлами, призывомъ полиціи и арестами. Однако N—скій комитетъ отвергъ эту слишкомъ рѣзкую мѣру, рѣшивъ ограничиться экстреннымъ сборомъ среди „сочувствующихъ“ и вообще „не отказывающихъ“. Кромѣ этого, Барканову пришла мысль обратиться къ гастролировавшей въ N. столичной знаменитости, о

которой было извѣстно, что она изъ „сочувствующихъ“, съ просьбой дать одинъ спектакль въ пользу бундовской организаціи. Боясь, какъ бы другая какая-нибудь организація не предупредила его въ этомъ дѣлѣ, Баркановъ принялся дѣйствовать тотчасъ же, даже не посовѣтовавшись съ товарищами по комитету. Отчасти ради этого дѣла онъ и пошелъ наканунѣ въ театръ, надѣясь встрѣтить тамъ какого-нибудь знакомаго, черезъ котораго можно было получить доступъ къ знаменитости. И онъ въ самомъ дѣлѣ встрѣтился съ подходящимъ человѣкомъ, съ докторомъ Янкевичемъ, и во время антракта переговорилъ съ нимъ. Тотъ обѣщалъ сдѣлать все, что будетъ возможно, и попросилъ Барканова на слѣдующій день зайти къ нему.

Баркановъ вышелъ изъ дому съ намѣреніемъ весь день посвятить сбору денегъ и къ вечеру зайти къ Янкевичу. Настроеніе его было напряженное и непріятное. Онъ отлично зналъ публику, къ которой собирался итти. За исключеніемъ тѣхъ интеллигентовъ, которые серьезно интересовались движеніемъ, готовы были по мѣрѣ обывательскихъ силъ содѣйствовать ему и охотно отдавали въ пользу организаціи часто послѣдній рубль, въ числѣ интеллигентовъ значился еще цѣлый разрядъ лицъ заржавѣвшихъ, жившихъ изо дня въ день, относившихся халатно и неряшливо къ жизни и событіямъ и если чѣмъ серьезно интересовавшихся, то только карточной игрой, азартнымъ „тертлъ-мертлъ“ (девятый валъ), за которымъ проводили ночи напролетъ въ клубѣ или другъ у друга. Баркановъ хорошо зналъ, что эти господа, изъ чувства какого-то трусливаго

почтенія къ революціонерамъ, встрѣтятъ его якобы радостно, съ предупредительно любезной улыбкой, кислота которой все-таки останется на опущенныхъ углахъ губъ; станутъ съ преувеличенной серьезностью, полушопотомъ, съ выраженіемъ сочувствія разспрашивать, какъ обстоятъ дѣла, и къ концу томительной и неискренней бесѣды хозяинъ или хозяйка какъ-то торопливо протянутъ ему ту или другую бумажку, при чемъ будутъ съ сокрушеннымъ видомъ высказывать сожалѣніе, что не могутъ теперь дать больше, и въ этомъ сожалѣніи будутъ звучать нотки обыкновеннаго маклачества, старающагося выторговать на грошъ дешевле. И такъ же хорошо зналъ Баркановъ, что, какъ только за нимъ закроется дверь, всѣ эти любезныя, предупредительныя улыбки сбѣгутъ съ лицъ, смѣнятся сердитыми и злыми выраженіями, и господа, только что такъ горячо выражавшіе ему свое сочувствіе, будутъ—въ особенности, если они наканунѣ проигрались въ карты—посылать къ чорту и его и весь Бундъ, будутъ громко возмущаться нахальствомъ—иные прибавятъ „жидовскимъ",—съ которымъ эти бундовцы рвутъ за полы своими ординарными и экстренными сборами. И ему была до глубины души противна вся эта отвратительная комедія, въ которой ему придется участвовать.

„Ужъ, ей-Богу, гораздо пріятнѣе имѣть дѣло съ Моте-Беръ Гриншайномъ, — подумалъ Баркановъ.— Съ Гриншайномъ, богатымъ старымъ евреемъ, дѣло ведется на чистоту. Если къ нему придешь отъ „организаціи" за взносомъ, онъ встрѣтитъ фразой: „Что, опять пришли шкуру драть съ меня?" Потомъ спро-

ситъ, сколько съ него требуютъ, скажетъ съ возмущеніемъ: „Вы—истинные разбойники!“ поторгуется и, наконецъ, дастъ двадцать пять рублей, при чемъ непремѣнно прибавитъ: „Ну, пусть мнѣ кажется, что у меня поставили солдатъ на постой! Я ничего не могъ бы сдѣлать! А что я съ вами могу сдѣлать, когда я васъ боюсь какъ огня?“

Баркановъ съ минуту стоялъ въ нерѣшимости, не зная, съ кого начать свои визиты. Вдругъ онъ услыхалъ, что кто-то окликнулъ его, и, обернувшись, увидѣлъ молодого человѣка съ бритымъ подбородкомъ и худымъ мускулистымъ лицомъ, крѣпкимъ и нервнымъ. Это былъ представитель одного изъ бундовскихъ кружковъ, слесарь Мееръ. Барканову бросился въ глаза его взволнованный видъ.

— А?.. что скажешь?..—воскликнулъ шопотомъ съ захватывающимъ волненіемъ Мееръ, почти подбѣжавъ къ Барканову.

— А что такое? Что случилось?—спросилъ съ удивленіемъ и тревогой Баркановъ.

— Ты ничего не знаешь?—сильно удивился въ свою очередь Мееръ.—Ты не знаешь, что произошло сегодня ночью? Во всемъ городѣ были повальные обыски и аресты. Двѣнадцать обысковъ было за одну эту ночь. Еще никогда этого не бывало здѣсь...

— Изъ нашихъ кого-нибудь взяли?—перебилъ его поспѣшно съ тревогой Баркановъ.

— Нѣтъ!—отвѣтилъ, какъ-то сразу успокоившись и съ улыбкой удовольствія, Мееръ.—Слава Богу, никого не взяли! Обыски были у троихъ изъ нашихъ: у Менделя Капилъ, у Хаима Бера, булочника, и еще

у одного, недавно только перешедшаго къ намъ отъ „Искры“, Хаима Скортуна.

У Барканова ёкнуло сердце, когда онъ услышалъ имя Менделя Капила. Въ томъ же дворѣ, гдѣ жилъ Мендель, помѣщалась тайная типографія, и сдѣлай жандармы еще пять шаговъ, они бы ее открыли.

— Нашли нѣсколько прокламацій, пару книжекъ, но никого не забрали,—продолжалъ Мееръ.—Зато эсъ-эровъ окончательно разгромили!.. Забрали восемь человѣкъ, двухъ изъ комитета, Бориса и Осипа, а главное—нашли цѣлый складъ оружія, штукъ тридцать револьверовъ, двѣ готовыя бомбы и динамитъ... У нихъ тамъ цѣлая лабораторія была!..

— То-то они говорили, что у нихъ заготовлено много „галушекъ“ [1]...—произнесъ нѣсколько задумчиво Баркановъ и прибавилъ живѣе:—Очевидно, у нихъ была какая-то серьезная провокація...

— Нѣтъ, я думаю, что все это случайно открыли. А суматоха началась изъ-за убитаго полицейскаго,—отвѣтилъ Мееръ. — А можетъ быть, изъ-за Пейшки вора... Ты знаешь, его вчера вечеромъ кто-то схватилъ на дамбѣ, намялъ ему бока какъ слѣдуетъ и бросилъ въ ровъ Онъ теперь лежитъ въ больницѣ съ вывихнутой ногой и разсказываетъ басню, что онъ будто выслѣдилъ убійцу Степана, уже собирался призвать полицейскаго, какъ вдругъ на него напала цѣлая компанія съ револьверами, избила его и бросила въ ровъ. Вѣроятно, это и послужило причиной обысковъ... А теперь, когда они нашли бомбы, они совсѣмъ начнутъ бѣсноваться...

---

[1] Бомбъ.

— Д-да, — проговорилъ задумчиво и нѣсколько тяжело Баркановъ.—Теперь могутъ опять выскочить какія-нибудь событія...

— И еще какъ легко!—согласился поспѣшно Мееръ. — Ты читалъ про избіеніе въ Н.? — вспомнилъ онъ. — Въ сегодняшнихъ петербургскихъ газетахъ имѣется подробное описаніе. Прямо волосъ дыбомъ становится! Казаки стрѣляли безъ предупрежденія, рубили нагайками, топтали лошадьми женщинъ и дѣтей... Убитыхъ и раненыхъ оказывается гораздо больше, чѣмъ значилось во вчерашней телеграммѣ.

— Это ужъ послѣдняя конвульсія самодержавія!— отозвался увѣренно Баркановъ.—Такія безумствованія возможны только передъ самымъ концомъ...

— Кто его знаетъ...—замѣтилъ нерѣшительно Мееръ. — Конечно, послѣднія конвульсіи, но я допускаю, что еще могутъ быть и очень кровавыя событія... Между прочимъ въ городѣ довольно настойчиво говорятъ о погромѣ, — продолжалъ онъ дѣловымъ тономъ. — Особенно послѣ убійства Степана усиленно заговорили о погромѣ. Среди русской массы уже ходятъ различные слухи и легенды: на базарѣ уже разсказываютъ, что сюда понаѣхала цѣлая компанія евреевъ, которая взялась перебить всѣхъ полицейскихъ; что она получаетъ по сту рублей за полицейскаго, по полутораста рублей за помощника пристава и по триста за пристава; что эти пріѣзжіе каждый день переодѣваются, носятъ наклеенныя бороды и имѣютъ какую-то жидкость, которую достаточно плеснуть куда-нибудь, чтобы тамъ произошелъ взрывъ... Короче, всѣ обычныя басни, которыя распускаются передъ погромами...

— Э, погрома у насъ не будетъ!—произнесъ увѣренно Баркановъ.—Губернаторъ хорошо понимаетъ, что въ случаѣ погрома ему не сдобровать... Къ тому же, какъ бы то ни было, времена Плеве безвозвратно минули...

Попрощавшись съ Мееромъ, Баркановъ съ минуту стоялъ въ нерѣшимости. Новости объ обыскахъ, арестахъ и погромныхъ слухахъ встревожили его. По усвоенной привычкѣ его мысль сейчасъ же начала усиленно работать надъ вопросомъ: какъ долженъ комитетъ отнестись къ этимъ событіямъ? Баркановъ хорошо зналъ, что эти событія сильно взволнуютъ рабочихъ и они потребуютъ отъ комитета какихъ-нибудь директивъ, заявленій, активныхъ дѣйствій. „Конечно, необходимо будетъ выпустить прокламацію,—думалъ онъ.—А что касается демонстраціи...“.

Онъ не кончилъ своей мысли. У него еще не было опредѣленнаго рѣшенія по этому вопросу. Онъ лично былъ бы противъ устройства демонстраціи, но обстоятельства вѣдь могутъ такъ сложиться, что необходимо будетъ ее устроить.

Ему захотѣлось увидать рабочихъ, присмотрѣться къ ихъ настроенію. И, рѣшительно повернувъ въ другую сторону, онъ направился къ „биржѣ“.

По пятницамъ многіе кончали работу въ полдень, и на „биржѣ“ поэтому находилось довольно много народа. Публика была нервно настроена. Теоретическихъ дебатовъ почти не слышно было. Зато въ кружкахъ горячо обсуждались событія дня, обыски, аресты и въ особенности извѣстія объ избіеніи рабочихъ и интеллигентовъ въ Н., почему-то сильнѣе всего взволновавшія рабочихъ.

— Это не слыхано! Не слыхано!—горячился худой нервный юноша.—Это не просто разбой, это—провокація!

— Это еще только начало!—поддержалъ его другой.—Увидите, теперь пойдутъ такія же избіенія по всей Россіи.

— И у насъ будетъ это же самое, вотъ увидите!—прибавилъ третій.—Сегодняшніе обыски и аресты—хорошій признакъ, хорошее начало!

— За N. можете быть со-овершенно спокойны!—отозвалась стоявшая въ кружкѣ высокая дѣвушка-работница съ большими черными глазами, блестѣвшими еле сдерживаемымъ гнѣвомъ.—У насъ ничего не будетъ! И знаете почему? Потому что мы не борцы, не революціонеры, а тряпки!!—воскликнула она со страстнымъ негодованіемъ. — Вѣдь это позоръ! Во всей странѣ происходитъ революція, всюду идутъ волненія, возстанія, всюду льется кровь! А мы? Мы ходимъ себѣ какъ мирные буржуйчики на „биржу“ и спокойно пережевываемъ наши „вопросы“ объ автономіи и федераціи или о націонализмѣ и территоріализмѣ! Можно сквозь землю провалиться отъ одного стыда!

Рѣчь ея произвела впечатлѣніе на окружающихъ, и одинъ высокій рабочій съ энергичнымъ лицомъ такъ же нервно и горячо поддержалъ ее:

— Права!.. Вполнѣ права!—воскликнулъ онъ отрывисто.—Мы только и умѣемъ что разговаривать! А доходитъ до дѣла—насъ нѣтъ! Мы все ругаемъ эсъэровъ, а они, честное слово, во сто разъ бо́льшіе революціонеры, чѣмъ мы! Они...

— ...убили Степана!—закончилъ съ ироническимъ смѣхомъ другой

— Не безпокойся! Они и кое-кого повыше тоже пробовали убивать! У нихъ, какъ оказывается, имѣются и бомбы, и динамитъ, и все! А у насъ что есть?..

— Откуда ты, Лейвикъ, знаешь, что у насъ нѣтъ бомбъ и динамита!—отозвался еще одинъ.—Хочешь, чтобъ объ этомъ барабанили по „биржѣ“?

— Я знаю, что у насъ ничего нѣтъ!—настаивалъ Лейвикъ.—Если бы у насъ было что-нибудь, наши вожаки не боялись бы устроить демонстрацію!

И онъ черезъ голову товарищей бросилъ вызывающій взглядъ въ сторону Барканова, стоявшаго поодаль и разговаривавшаго съ работницей.

— Вонъ эсъ-эры еще мѣсяцъ тому назадъ предлагали устроить демонстрацію,—продолжалъ онъ.—Говорятъ, они теперь опять собираются! И если мы теперь опять откажемся, если мы ничѣмъ не отвѣтимъ на злодѣйства правительства, то это будетъ преступленіе, и ничего больше!

— Тогда ничего не остается, какъ опять устроить „оппозицію“! Честное слово! — воспламенился еще одинъ.

— Нѣ-ѣтъ, я ни въ какую „оппозицію“ не пойду, — проговорилъ спокойно угрожающимъ тономъ Лейвикъ,—я просто возьму и перейду къ эсъ-эрамъ!

— И ступай себѣ къ нимъ на здоровье!—крикнулъ какъ-то визгливо, съ раздраженіемъ низенькій худой рабочій съ смуглымъ лицомъ и аскетическимъ выраженіемъ.—„Организація“ ничего не потеряетъ, если ты перейдешь къ эсъ-эрамъ!

— Откуда ты знаешь, потеряетъ „организація“ или не потеряетъ, если онъ изъ нея уйдетъ? — возму-

тилась въ свою очередь высокая работница. — Ты не имѣешь права такъ говорить о товарищѣ!

— Я имѣю право!—стоялъ гнѣвно на своемъ низенькій рабочій. — Если соціалъ-демократъ позволяетъ себѣ сказать, что какъ только „организація“ не поступитъ такъ, какъ онъ того требуетъ, онъ сейчасъ перебѣжитъ къ эсъ-эрамъ, то я повторяю, и еще десять разъ повторю, что такой товарищъ ничего не стоитъ для „организаціи!“

— Вѣрно!—раздалось одобрительное восклицаніе.— Истинный соціалъ-демократъ не имѣетъ права...

— Какой я „истинный соціалъ-демократъ“, ко всѣмъ чертямъ!—воскликнулъ съ сильнымъ раздраженіемъ Лейвикъ.—Знаю я, что значитъ соціалъ-демократъ? Маркса я читалъ, что ли? Это они, интеллигенты, читали и Маркса, и всякія другія книги. Они и могутъ называть себя истинными соціалъ-демократами. А нашъ братъ, рабочій, что онъ читалъ? Что онъ знаетъ? Что представитель и агитаторъ ему наговорятъ, то онъ и знаетъ, тому онъ и вѣритъ. А завтра придетъ къ нему другой агитаторъ, эсъ-эръ, разскажетъ ему свою теорію, свою программу, и онъ начнетъ считать, что та теорія самая истинная... Да и что мнѣ за дѣло до теоріи! — воскликнулъ онъ вдругъ съ особенною страстностью.— Мнѣ никакихъ теорій не нужно! Мнѣ нужно дѣло, нужна борьба, нужна революція!..

— Ну, вотъ! Остановились всѣ слушать его!—воскликнула вдругъ весело пожилая работница съ угловатымъ, но умнымъ лицомъ. — Нашли кого слушать! Не знаютъ они Лейвика-сумасшедшаго! Онъ вѣдь каждый разъ, чуть что, начинаетъ кричать,

что перейдетъ то къ эсъ-эрамъ, то въ „Искру“. Не безпокойтесь, онъ еще не такъ скоро выйдетъ изъ „организаціи“.

— Чтобъ Треповъ еще такъ долго лежалъ на одномъ боку, какъ долго я еще останусь въ „организаціи“,—проговорилъ сразу успокоившійся Лейвикъ.— Но я все-таки стою на своемъ, что демонстрацію устроить необходимо!—прибавилъ онъ рѣшительно.— И таки общую, вмѣстѣ съ „искровцами“ и эсъ-эрами.

— И съ поалей-ціонистами...[1]—прибавилъ нерѣшительно кто-то.

— Можно и безъ нихъ обойтись! Какіе они соціалисты? Какіе они революціонеры?—отозвался низенькій рабочій.

— Не безпокойся, мы не худшіе революціонеры и соціалисты, чѣмъ ты, — сердито отозвался стоявшій нѣсколько поодаль молодой человѣкъ, аккуратно одѣтый, похожій на приказчика. И, подойдя къ кружку, прибавилъ:—А въ демонстраціи мы, можетъ быть, и сами не пойдемъ съ вами!

— Сочтете для себя унизительнымъ? — отвѣтила ему съ ироническимъ смѣхомъ пожилая работница.

— Да, унизительнымъ! — воскликнулъ вдругъ громко и страстно приказчикъ.—Намъ будетъ стыдно итти съ вами, если вы устроите демонстрацію по поводу избіенія въ Н.! Намъ будетъ стыдно за васъ, что вы, евреи, устраиваете демонстрацію по поводу избіенія въ Н. и не устроили демонстраціи по поводу погрома въ Житомірѣ! Когда рѣзали евреевъ,

---

[1] Поалей-ціонисты (по древнееврейски „рабочіе Сіона“) одна изъ соціалистическихъ фракцій въ сіонизмѣ.

тогда вы не выходили изъ себя, не считали необходимымъ протестовать на весь міръ! А теперь, когда избили русскихъ, вы сразу почувствовали глубокое оскорбленіе! Мнѣ стыдно, что вы называетесь евреями!!

Послѣднюю фразу онъ прокричалъ почти истерически, со слезами на глазахъ.

Рѣчь его произвела впечатлѣніе на нѣкоторыхъ, но остальная публика выражала жестами и восклицаніями свое возмущеніе. Низенькій рабочій съ аскетическимъ лицомъ быстро выбрался изъ кружка и подошелъ къ говорившему.

— Ша, не кричи и не стыдись за насъ,—проговорилъ онъ съ какимъ-то жестокимъ спокойствіемъ.— Ваши крики мы уже слышали. И я тебѣ вотъ что скажу: я, конечно, ничего не имѣлъ бы противъ демонстраціи по поводу Житоміра...

— „Ничего не имѣлъ бы противъ...“—повторилъ съ горькой ироніей приказчикъ.

— Ша! Дай ему говорить!—крикнулъ сердито кто-то изъ кружка.

— ...но я считаю,—продолжалъ рабочій,—что демонстрація по поводу избіенія въ Н. въ десять разъ важнѣе! Если бы мы устроили демонстрацію по поводу погрома, нашъ протестъ былъ бы принятъ исключительно какъ протестъ евреевъ, и въ немъ видѣли бы только выраженіе національной солидарности. Между тѣмъ какъ протестъ по поводу избіенія въ Н. будетъ имѣть чисто революціонное значеніе, и въ немъ выскажется солидарность чисто пролетарская...

Баркановъ, стоявшій все время поодаль отъ кружка вмѣстѣ съ нѣсколькими рабочими, внимательно прислушивался къ дебатамъ. Онъ хорошо понималъ, что

спорящіе ждутъ его вмѣшательства въ дебаты и что страстныя рѣчи Лейвика были направлены главнымъ образомъ противъ него; но онъ тѣмъ не менѣе не подошелъ къ кружку и не вмѣшался въ споръ, не желая высказываться передъ массой ни за, ни противъ демонстраціи раньше, чѣмъ этотъ вопросъ будетъ рѣшенъ на комитетскомъ собраніи.

Споръ съ приказчикомъ поалей-ціонскаго толка мало интересовалъ Барканова, и онъ пошелъ дальше по саду. Настроеніе его было тяжелое, подавленное. На этотъ разъ онъ какъ-то особенно рельефно почувствовалъ, насколько онъ далекъ отъ товарищей-рабочихъ какъ по настроенію, такъ и по всему своему психическому складу. На извѣстіе объ избіеніи въ Н. онъ реагировалъ прежде всего какъ политикъ; прежде всего оцѣнилъ значеніе этого факта для общереволюціоннаго движенія и съ этой же точки зрѣнія обсуждалъ вопросъ о демонстраціи: будетъ ли она полезна или вредна для общаго дѣла и въ частности для организаціи. Рабочіе же отнеслись къ этому событію со всею свѣжестью и силой непосредственнаго чувства и сразу же примѣнили къ нему не политическую, не принципіальную, а этическую мѣрку: „позорно, преступно оставаться спокойными, когда товарищей избиваютъ“. Какъ тутъ сговориться!.. Барканову и раньше неоднократно приходилось наталкиваться на это глубокое различіе въ отношеніяхъ профессіональныхъ революціонеровъ и рядовыхъ борцовъ къ событіямъ революціоннаго характера, и каждый разъ на этой почвѣ выходили неудовольствія, недоразумѣнія, приводившія иногда къ столкновеніямъ и „оппозиціямъ“.

XI.

Баркановъ направился къ Янкевичу, жившему неподалеку отъ сада.

Докторъ Янкевичъ считался однимъ изъ нотаблей города. Человѣкъ пожилой, сравнительно богатый, съ нѣкоторыми причудами, онъ считался однимъ изъ самыхъ честныхъ людей въ городѣ. Практикой онъ занимался мало, совершенно не интересуясь ею въ матеріальномъ отношеніи. Зато онъ много занимался общественными дѣлами, состоялъ во всѣхъ обществахъ и комиссіяхъ, филантропическихъ и городскихъ, бывалъ на всѣхъ общественныхъ собраніяхъ, и всюду онъ кричалъ, горячился, суетился, требовалъ отчета, обличалъ, укорялъ и вообще „стоялъ за правду". Въ первое время онъ яростно ругалъ революціонеровъ, называлъ ихъ мальчишками и крикунами. Но однажды, послѣ того какъ бундовская организація заставила одну богатую даму, обругавшую служанку „помойницей", извиниться передъ этой служанкой, онъ вдругъ проникся горячимъ сочувствіемъ къ „Бунду", сталъ называть себя „безпартійнымъ бундовцемъ" и по мѣрѣ силъ оказывать услуги организаціи.

Барканова онъ встрѣтилъ у дверей привѣтливо и шумно:

— Ну, вотъ и вы! Ждалъ васъ! Я еще вчера, сейчасъ послѣ спектакля, пробрался при помощи Ѳедора Игнатьича къ барынѣ. Да только ничего не вышло! Честное слово, святая истина! Барынька оказалась хитрѣе насъ съ вами! Самихъ бундовцевъ, шельма, перехитрила! Разсыпалась въ любезностяхъ

Такъ и такъ: всей душой сочувствуетъ революціоннымъ партіямъ, особенно „Бунду“, удивляется, восторгается его дѣятельностью и такъ далѣе, но спектакль въ его пользу дать не можетъ. Всѣ вечера у нея разсчитаны и запроданы антрепренеру, какъ у любого пролетарія... Короче—улизнула шельма. А двадцать пять рублей все-таки дала! Честное слово, святая истина!—заключилъ онъ побѣдоносно.

Вытащивъ изъ кармана бумажникъ, онъ опять заговорилъ оживленно:

— А это пожертвованіе у меня чуть не перебили проклятые „искровцы“! Но я имъ „пшикъ! — и прогналъ“! Честное слово, святая истина! Не люблю ихъ! Разбойники и антисемиты!

Баркановъ, знавшій Янкевича и его манеру выражаться, улыбнулся послѣдней его фразѣ.

— Смѣетесь? А я серьезно говорю!—воскликнулъ горячо Янкевичъ. — Я имъ вовѣки не прощу ихъ вѣроломства по отношенію къ „Бунду“! Сколько они обязаны „Бунду“, а взяли и заставили его уйти изъ партіи, чуть ли не прогнали! Почему? А потому что они антисемиты!.. Не спорьте, не повѣрю! Я искровскую породу хорошо знаю! Хуже всѣхъ! Вотъ эсъэры—шальной народъ, безъ царя въ головѣ, а люди хорошіе, рубахи парни. Прямые и отчаянные! Терроръ такъ терроръ!.. Слыхали, какую фабрику у нихъ накрыли? Цѣлыхъ пятьдесятъ бомбъ, динамита...

— Не пятьдесятъ, а всего двѣ бомбы,—вставилъ Баркановъ.

— А мнѣ сказали пятьдесятъ... Ну, двѣ такъ двѣ! И двумя бомбами можно шуму надѣлать! Шумливый народъ, честное слово, святая истина!.. А вотъ что

они городового убили—это напрасно! У насъ полиція смирная, и ее грѣхъ трогать. У меня недалеко отъ дома стоитъ городовой, прекрасно говоритъ по-еврейски, лучше меня! А въ субботу, когда идутъ изъ синагоги, онъ всѣмъ знакомымъ хозяевамъ дѣлаетъ подъ козырекъ и говоритъ имъ: „Гутъ шабесъ [1], ребъ Нахманъ или ребъ Лейзеръ!“ За что же такихъ трогать?.. Ахъ, да, кстати! — вспомнилъ онъ вдругъ и сдѣлалъ особенно серьезное лицо.— Знаете, нашъ балбесъ губернаторъ совсѣмъ взбеленился изъ-за убійства полицейскаго. Сегодня онъ призвалъ къ себѣ нашего „пред-ста-ви-те-ля“ Илью Григорьича и наговорилъ ему кучу угрозъ по адресу рабочихъ. Кричалъ, что онъ отвѣчаетъ передъ государемъ не только за всякаго своего подчиненнаго, но и за всякій шорохъ, который происходитъ во ввѣренной ему губерніи. Грозилъ, что приметъ крутыя мѣры, и заявилъ, что онъ шутить не любитъ, и если дѣло пошло на стрѣльбу, онъ покажетъ, что полиція и казаки тоже умѣютъ стрѣлять! Потомъ правитель канцеляріи открылъ Ильѣ Григорьичу секретъ: губернатору вчера донесли, что на него готовится покушеніе, и онъ заметался.

Было уже около четырехъ часовъ, когда Баркановъ вышелъ отъ Янкевича. Онъ рѣшилъ забѣжать домой.

Дома его встрѣтила мать и нѣсколько конфиденціальнымъ тономъ сообщила ему:

— Тебя ждетъ здѣсь ужъ около часа какой-то еврей.

Баркановъ зашелъ въ столовую, и ему навстрѣчу

---

[1] Добрая суббота.

поднялся невысокій крѣпкій человѣкъ лѣтъ пятидесяти, съ краснымъ затылкомъ и въ испачканномъ известью платьѣ.

— Я имѣю къ вамъ дѣло,—сказалъ онъ дѣловито.

Баркановъ пригласилъ его къ себѣ въ комнату.

— Я ужъ былъ у васъ вчера и не засталъ васъ, — проговорилъ тотъ. — Я — подрядчикъ Хаимъ-Беръ Цегельникъ. Беру подряды на постройки и ставлю рабочихъ. И вотъ я пришелъ просить васъ, чтобы „организація" хоть немного уняла моихъ рабочихъ. Больше у меня ужъ силъ нѣтъ! Въ прежніе годы они работали сколько приходилось—и двѣнадцать часовъ, и больше. Теперь они ввели новую моду — работаютъ не больше девяти часовъ. Въ началѣ лѣта устроили они стачку, потребовали прибавки. Пришлось уступить. Теперь они опять требуютъ прибавки по десяти копеекъ въ день... Но я не могу! Я не могу! Я самъ теряю на подрядахъ! Чего они хотятъ отъ меня, эти лѣсные разбойники!

Послѣднія фразы онъ прокричалъ со злобой и отчаяніемъ.

— Не зачѣмъ такъ кричать, можете говорить немного спокойнѣе, — остановилъ его сухо Баркановъ.

— Какъ мнѣ не кричать, какъ мнѣ говорить спокойно, когда они меня разоряютъ?—продолжалъ однако гораздо тише подрядчикъ. — Слушайте только! Несчастныхъ девять часовъ, которые они стоятъ на работѣ, они не столько работаютъ, сколько проводятъ въ спорахъ и пѣніи. А сказать имъ слово — не говорю уже: прикрикнуть, а просто слово сказать— избави Богъ! нельзя! Потомъ въ десяти баняхъ отъ нихъ не отмоешься!.. И каждую недѣлю новыя тре-

бованія! А когда я хочу взять другихъ рабочихъ, они не допускаютъ, угрожаютъ, запугиваютъ ихъ, не подпускаютъ къ работѣ! Вѣдь это разбой, дневной разбой! У меня подряды по контракту, съ неустойкой...

— Что же вы хотите отъ „организаціи?“—перебилъ его съ нетерпѣніемъ Баркановъ.

— Что я хочу отъ „организаціи?“ Я хочу, чтобы она сдѣлала толкъ! Пусть она насъ разсудитъ! Конецъ! Я принесу всѣ контракты, всѣ счета, все... пусть она посмотритъ, могу я дѣлать прибавки или нѣтъ. И на все, что она рѣшитъ, я заранѣе соглашаюсь! Скажетъ она, что я имъ долженъ платить по пяти рублей въ день, а они работать только одинъ часъ, я и на это соглашусь, какъ я еврей! Только положить конецъ этому мученію!

— Хорошо, я передамъ „организаціи“,— отвѣтилъ Баркановъ.—Она переговоритъ съ рабочими, вызоветъ васъ и представителя отъ нихъ и вынесетъ свое рѣшеніе.

— Только поскорѣе сдѣлайте это! У меня уже силъ нѣтъ, у меня желчь ужъ готова лопнуть!—добавилъ подрядчикъ, уходя.

Баркановъ рѣшилъ отложить денежные сборы на какой-нибудь другой день, остаться дома и нѣсколько часовъ, оставшихся до собранія комитета, долженствовавшаго состояться вечеромъ, посвятить составленію прокламаціи.

XII.

Собранія комитета происходили обыкновенно разъ въ недѣлю, по вечерамъ, на квартирѣ Барканова.

Баркановъ долго сидѣлъ надъ составленіемъ прокламаціи по поводу избіенія въ Н. и послѣднихъ арестовъ въ городѣ. Работа ему не давалась, и онъ рвалъ одинъ черновикъ за другимъ. Только ужъ поздно вечеромъ ему удалось взять надлежащій тонъ и войти въ настроеніе. Онъ лихорадочно писалъ, когда услышалъ тихій стукъ въ дверь и вопросъ матери изъ-за двери:

— Хаимъ, пойдешь ужинать? Подали къ столу.

— Некогда сейчасъ!.. Послѣ!..—отвѣтилъ онъ отрывисто.

Закончивъ черновой набросокъ, которымъ онъ, наконецъ, остался доволенъ, Баркановъ спряталъ написанные листки подъ книгой и вышелъ въ столовую. Тамъ за накрытымъ по-праздничному столомъ, при свѣтѣ шести свѣчей, надъ которыми хозяйка дома благословила наступившую субботу, сидѣли за ужиномъ дѣдъ, отецъ и мать Барканова, какой-то бѣдный еврей, обязательный нахлѣбникъ субботнихъ трапезъ, и старушка кухарка.

Когда Хаимъ вошелъ въ столовую, ужинъ ужъ былъ оконченъ и сидѣвшіе за столомъ читали шопотомъ длинное послѣтрапезное благословеніе. Хаимъ поспѣшно сѣлъ къ столу и принялся торопливо ѣсть оставленный ему отдѣльно на тарелкѣ кусокъ фаршированной рыбы. Отъ супа онъ отказался и принялся съ тою же торопливостью за курицу, которую молча придвинула ему мать, шептавшая „благословеніе“.

Въ столовую вошла Бася. Найдя Хаима за ужиномъ, въ кругу семьи, она сильно смѣшалась, точно совершила какую-то безтактность. Но Хаимъ поспѣш-

но всталъ ей навстрѣчу и еще съ полнымъ ртомъ проговорилъ рѣшительно:

— Я кончилъ!

— Ужинайте! Ужинайте! Я подожду!—проговорила торопливо Бася.

— Ей-Богу, кончилъ!—заявилъ еще рѣшительнѣе Хаимъ, съ усиліемъ проглатывая кусокъ. — Пойдемте!

И онъ ушелъ вмѣстѣ съ нею къ себѣ въ комнату.

Бася пришла нѣсколько раньше условленнаго времени. Она была сильно взволнована. Обыски и аресты, изъ которыхъ большинство произошло на ея слободкѣ и даже по сосѣдству съ ея домомъ, сильно взволновали ее и вызвали у нея опасеніе, что это начало полнаго и общаго разгрома. Послѣ встрѣчи и разговоровъ съ рабочими на фабрикѣ и на улицѣ настроеніе ея сдѣлалось еще болѣе нервнымъ. Она одновременно и испытывала тревогу за цѣлость „организаціи“, и жаждала какого-нибудь активнаго протеста противъ насилія надъ далекими товарищами въ Н. и близкими, арестованными этою ночью. Но особенно сильно встревожило ее то, что, проходя сейчасъ по „биржѣ“, она замѣтила тамъ за садомъ цѣлый нарядъ полиціи съ приставомъ, которые стояли какъ-то особенно спокойно и неподвижно, точно притаившись и чего-то выжидая.

Она поэтому и поспѣшила къ Барканову. Ей хотѣлось поскорѣе увидать товарищей, обсудить съ ними положеніе дѣлъ и успокоиться на какомъ-нибудь рѣшеніи.

Проходя по столовой, Бася неожиданно вспомнила ро вчерашнюю встрѣчу Барканова у театра, по тот-

часъ же какъ-то сурово и торопливо отогнала отъ себя это воспоминаніе, какъ личное, привередливое, совершенно не соотвѣтствующее ея серьезному революціонному настроенію въ этотъ моментъ.

— Ну, какъ вамъ нравятся событія? — заговорилъ оживленно Баркановъ.—Заработала машина! Они, очевидно, готовятъ полный разгромъ...

— Навѣрное готовятъ! — подтвердила съ тревогой Бася.—Я только что видѣла возлѣ „биржи“ цѣлый отрядъ полицейскихъ.

— Да?—обезпокоился Баркановъ.—Но они никого не трогаютъ?..

— Пока никого. Стоятъ спокойно неподалеку отъ выхода... Но, чортъ ихъ знаетъ, зачѣмъ-нибудь да поставили же ихъ туда...

— Ну, мало ли...—отозвался успокоительно Баркановъ. — Насколько мнѣ помнится, и раньше возлѣ „биржи“ появлялись отряды полицейскихъ, но никого не трогали... Не надо все-таки преувеличивать...

Басѣ былъ знакомъ оптимизмъ Барканова. Хотя она не всегда раздѣляла этотъ оптимизмъ, онъ почему-то обыкновенно успокаивалъ ее. И не только рѣчи Барканова, но и весь его видъ, его открытое лицо съ жизнерадостнымъ выраженіемъ, даже самая обстановка его небольшой, но чистой и уютной комнаты,— все это дѣйствовало на нее какъ-то ласково и успокоительно.

Она сѣла на свое любимое мѣсто, въ углу, между столомъ и стѣной, и протянула руку за лежавшей на столѣ книгой. Поднявъ ее, она увидѣла листки исписанной бумаги и спросила оживленно:

— Не прокламація ли?

— Да. Но только еще не обработана. Хотите послушать?

И, заранѣе увѣренный въ ея утвердительномъ отвѣтѣ, онъ тотчасъ же началъ читать.

Прокламація, какъ и все, что писалъ Баркановъ, плохо владѣвшій еврейскимъ языкомъ, была написана по-русски, и Давиду предстояло перевести ее по-еврейски. Басѣ прокламація очень понравилась. И ей трудно было бы опредѣлить, что ей больше понравилось: содержаніе ли прокламаціи или ея гладкій, звучный и правильный русскій языкъ.

— Однако отчего это нѣтъ Давида? — вспомнилъ Баркановъ.—Сегодня предстоитъ обсудить много вопросовъ.

— У меня цѣлая масса дѣлъ,—отозвалась Бася.— Въ особенности эти судебныя дѣла, они прямо все время отнимаютъ. У меня за это время набралось цѣлыхъ восемнадцать жалобъ, поступившихъ на разсмотрѣніе „организаціи“.

— У меня тоже наберется съ десятокъ, — поддержалъ ее Баркановъ.—А сколькихъ жалобъ я не принялъ! Вчера, напримѣръ, пришла какая-то женщина просить, чтобъ „организація“ запретила ея старику-отцу жениться. А третьяго дня пришелъ одинъ лавочникъ жаловаться на другого, что тотъ у него отнялъ кліэнта да при этомъ еще обругалъ „собачьимъ музыкантомъ“.

— Да, такихъ жалобъ масса! Нѣсколько дней тому назадъ прибѣжала ко мнѣ живущая на нашей слободкѣ русская баба, сапожница Фроська. Прибѣжала вся избитая, съ крикомъ: „Родненькая, Христомъ

Богомъ молю тебя, пусть „организація“ утишитъ моего разбойника! Никакого сладу съ нимъ нѣту!“

— Это отнимаетъ массу времени,—заговорилъ Баркановъ.—А между тѣмъ и минуты свободной нѣтъ. Вы знаете, сколько у меня было дѣлъ за эти восемь дней. Провелъ четыре собранія, двѣ массовки. Имѣлъ двѣ дискуссіи и, кромѣ этого, велъ обычныя занятія въ кружкахъ.

„И все-таки нашлось время вчера пойти въ театръ съ Соней Сендерсонъ“, быстро промелькнуло въ мысляхъ Баси.

— Если бы было лишнее время,—продолжалъ Баркановъ,—необходимо было бы поѣздить по области, прочесть рефераты въ нѣкоторыхъ группахъ. На-дняхъ я получилъ требованіе отъ М—скаго комитета непремѣнно пріѣхать туда на будущей недѣлѣ выступать оппонентомъ противъ извѣстнаго „искровца“, который тамъ будетъ читать о выступленіи „Бунда“ изъ партіи. И тоже не знаю, удастся ли поѣхать.

— И вообще у насъ ужасный недостатокъ въ силахъ, — продолжалъ, нѣсколько разойдясь, Баркановъ. — Вѣдь каждый день получаются письма изъ мѣстечекъ, изъ городовъ, отовсюду, съ просьбой прислать агитаторовъ, организаторовъ, референтовъ, оппонентовъ. Отовсюду пишутъ, что массы прекрасно настроены, жаждутъ дѣла, но некому организовать ихъ... А послать некого! Вѣдь сами знаете, некого!..

— Да, некого,—согласилась Бася, и у нея по душѣ прошло чувство глубокой обиды. И вдругъ ей захотѣлось поговорить именно съ Баркановымъ по вопросу, который такъ часто волновалъ ее.

— Почему это у насъ такъ мало интеллигентныхъ силъ?—задала она ему вопросъ.

— Очень просто: аресты,—отвѣтилъ, не подумавъ, Баркановъ.—Сосчитайте-ка, сколько интеллигентовъ было у насъ арестовано только за послѣдніе полгода...

— Но вѣдь аресты были и у „партіи", и у эсъ-эровъ. А у нихъ все-таки больше интеллигентовъ, чѣмъ у насъ.

— Это только кажется. У нихъ не больше, чѣмъ у насъ,—отвѣтилъ Баркановъ. И, подумавъ немного, онъ прибавилъ:—А впрочемъ, тутъ особыя причины имѣются. Вѣдь нашъ еврейскій интеллигентъ готовъ итти куда угодно, только не къ еврейской массѣ. Это фактъ! И въ „партіи", и у эсъ-эровъ, и у „пепе-эсъ"—всюду еврейскіе интеллигенты...

— Почему это по-вашему?—спросила съ большимъ интересомъ Бася.

— Почему? Потому что нашъ еврейскій интеллигентъ ищетъ все, чтобы ему доставались міровыя роли, большія, огромныя, и не можетъ удовлетвориться скромной и усидчивой работой. Я знаю нѣкоторыхъ товарищей, которые перешли въ „партію" и къ эсъ-эрамъ не изъ-за принципіальныхъ мотивовъ, а потому, что имъ было тѣсно въ „Бундѣ". Что въ самомъ дѣлѣ за интересъ возиться съ пролетаріатомъ маленькаго шестимилліоннаго народа, когда можно играть роль у стасорокамилліоннаго народа, когда можно обращаться къ стамилліонному крестьянству... Нѣкоторые мнѣ сами это говорили... Э-эхъ! — закончилъ онъ съ горечью.—Наша интеллигенція! Сколько масса ее ни ругаетъ, все мало!

Разговоръ былъ прерванъ приходомъ Давида. Онъ вошелъ поспѣшно, какъ сильно запоздавшій человѣкъ, и проговорилъ отрывисто:

— Запоздалъ?.. Задержали меня...

Онъ имѣлъ свой обычный, спокойно-будничный видъ. Однако въ его голосѣ и выраженіи глазъ можно было замѣтить сдержанное волненіе. Баркановъ и Бася замѣтили это и приписали „событіямъ дня“.

Давидъ разстегнулъ пальто и снялъ съ себя три пачки, которыя держались на груди и подъ мышками благодаря тому, что пальто было глухо застегнуто.

— Тутъ полугодовой отчетъ организаціи и прокламація Ц. К., по триста экземпляровъ. Теперь набирается листокъ по поводу стачки чулочницъ. Вечеромъ кончатъ... Надо будетъ завтра дать что-нибудь другое для набора.

— Вотъ я набросалъ прокламацію. Надо будетъ ее обсудить,—отозвался Баркановъ.

— Ладно!..

Баркановъ взглянулъ на Давида и спросилъ:

— Что это ты какъ будто разстроенъ?

— Такъ... ничего... Послѣ скажу...—отвѣтилъ отрывисто Давидъ, и лицо его сразу приняло уже совершенно спокойное выраженіе.

— Ну, приступимъ!—сказалъ онъ дѣловито и сѣлъ у стола.—Какія у насъ сегодня дѣла? Какіе экстренные вопросы, которые нужно сейчасъ же рѣшить?

— Слѣдовало бы прежде всего обсудить вопросъ о демонстраціи,—отозвалась Бася.—Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ оставить безъ протеста эти ужасы, ко-

торые произошли въ Н. Да и рабочіе требуютъ демонстраціи, даже однодневной забастовки... Я считаю, что непремѣнно слѣдуетъ устроить демонстрацію. Тѣмъ болѣе, что эсъ-эры и „искровцы“, какъ я слышала, уже рѣшили устраивать и собираются предложить намъ участвовать. Слѣдовало бы предупредить ихъ, чтобы не они намъ, а мы имъ предложили...

Давидъ выслушалъ ее и пожалъ плечами.

— Я рѣшительно не вижу необходимости въ демонстраціи,—сказалъ онъ.—Выразить солидарность съ н—скими рабочими и протестъ противъ ихъ избіенія можно и въ другой формѣ. Устраивать демонстрацію теперь, когда начались обыски, когда найдены бомбы, это значитъ вызвать разгромъ „биржи“ и разгромъ организаціи. Можетъ даже и погромъ выскочить.

— Ну, если мы будемъ бояться погрома, тогда намъ ничего нельзя будетъ дѣлать,—отозвалась рѣшительно Бася.—Сама рабочая масса не останавливается передъ боязнью погромовъ. И было бы позорно, если бы мы стали ее пугать ими.

— Масса не останавливается передъ многими такими вещами, передъ которыми комитетъ обязанъ останавливаться,—холодно отвѣтилъ Давидъ.

Бася молча пожала плечами и черезъ минуту прибавила:

— Я знаю одно: масса требуетъ демонстраціи.

— Я тоже знаю, что она ея требуетъ... Масса, чуть что, всегда требуетъ то демонстраціи, то забастовки, то террористическихъ актовъ. И если бы слушаться всѣхъ ея требованій, можно было бы двадцать разъ на

день провалить организацію, провалить всю работу... „Масса требуетъ“! Она кричитъ на „биржѣ“! И кричатъ далеко не тѣ, которые наиболѣе революціонно настроены. Сегодня утромъ я слышалъ, какъ Фройке Цукеръ—знаете этого „яраго революціонера“!—кричалъ на слободкѣ, что если не будетъ демонстраціи, онъ чуть ли не покончитъ съ собой отъ стыда. А когда я шелъ сюда, я видѣлъ, какъ онъ съ цѣлой компаніей очень спокойно направлялся къ Двейрѣ-Двосѣ въ погребокъ устраивать „ляму“ [1]. Вообще, я считаю, что мы должны итти не въ хвостѣ массы, а впереди ея. Мы должны заставлять ее подчиняться партійной дисциплинѣ... А если начнется оппозиція,— прибавилъ онъ, — будемъ бороться съ нею, какъ и раньше! Я всегда держался этого мнѣнія и теперь держусь его!

Нѣсколько минутъ всѣ молчали. Бася раза два взглянула на Барканова, ожидая, чтобы онъ высказался.

— Видишь ли, Давидъ...—заговорилъ не совсѣмъ рѣшительно Баркановъ, и въ его голосѣ прозвучала примиряющая нотка, — все, что ты говоришь о дисциплинѣ, конечно вполнѣ справедливо. Но ты все-таки разсуждаешь слишкомъ по-старинному. Не забудь, что теперь движеніе сдѣлалось массовымъ, партійная работа наполовину потеряла свою конспиративность.

— И напрасно,—вставилъ Давидъ.

— Напрасно не напрасно, но намъ надо считаться съ фактами. Итти въ хвостѣ массы, конечно, не слѣдуетъ, но сообразовываться съ ея требованіями

---

[1] Попойку.

все-таки необходимо. И я думаю, что демонстрацію устроить придется. Но надо устроить ее не торопясь и такъ организовать, чтобы она не вызвала провала... Я предлагаю поэтому созвать на завтра собраніе представителей кружковъ, выслушать ихъ мнѣнія, и если они выскажутся за демонстрацію, тогда войти въ сношеніе съ другими партіями и начать организовывать дѣло. А массу можно будетъ пока успокоить глухимъ обѣщаніемъ, что демонстрація подготовляется.

— Я согласна!—отозвалась Бася.

Давидъ съ минуту подумалъ.

— Я пока соглашаюсь на первую половину предложенія,—сказалъ онъ:—опросить представителей кружковъ. А потомъ увидимъ... Между прочимъ, мы на этой недѣлѣ вѣроятно получимъ нѣкоторые директивы отъ Ц. К.

На этомъ и порѣшили.

— Теперь давайте обсудимъ прокламацію, а затѣмъ приступимъ къ текущимъ дѣламъ, — предложилъ Баркановъ.

Давидъ посмотрѣлъ на часы и проговорилъ:

— Я предлагаю текущія дѣла и прокламацію отложить на завтра. Намъ теперь предстоитъ обсудить другой экстренный вопросъ.

— Какой?—съ удивленіемъ спросили Баркановъ и Бася.

Давидъ не сразу отвѣтилъ.

— Дѣло вотъ въ чемъ,—заговорилъ онъ такимъ тономъ, точно ему стоило усилія заговорить:—оказывается, что полицейскаго убилъ вчера членъ нашей организаціи, и намъ надо обсудить это дѣло...

— Кто это?—воскликнула Бася.

— Гершонъ...—отвѣтилъ нѣсколько глухо, подавленнымъ голосомъ Давидъ.

Извѣстіе это ошеломило и Барканова и Басю своею неожиданностью. Гершонъ считался однимъ изъ самыхъ испытанныхъ партійныхъ работниковъ и теперь занималъ въ высшей степени отвѣтственный и конспиративный постъ: онъ былъ завѣдующимъ и наборщикомъ подпольной типографіи. И вдругъ онъ пошелъ убивать полицейскаго.

— Быть того не можетъ! — воскликнулъ Баркановъ.

— Откуда вы это узнали?—спросила Бася тономъ глубокаго недоумѣнія.

— Онъ самъ мнѣ признался...

— Какъ было дѣло? Какъ ты узналъ? Разскажи подробно!—началъ настаивать Баркановъ.

— Сегодня днемъ, — заговорилъ негромко и съ внѣшнимъ спокойствіемъ Давидъ, — встрѣтилъ я Эльке молочницу. Она отвела меня въ сторону и сказала, что сама видѣла, какъ Степанъ вышелъ изъ своего дома, какъ Гершонъ, шедшій ему навстрѣчу, быстро выхватилъ револьверъ, три раза выстрѣлилъ въ него въ упоръ и, повернувъ за уголъ, скрылся въ переулкѣ. Все это продолжалось нѣсколько секундъ, и она не успѣла даже опомниться. Я выслушалъ ее и пошелъ въ „те“ [1]. Нашелъ я тамъ одного Гершона. Стоитъ и набираетъ. Я подошелъ и спрашиваю его: „Гершонъ, ты знаешь, кто убилъ полицейскаго?“ Съ минуту онъ мнѣ не отвѣчалъ, потомъ, не поворачиваясь ко мнѣ, спрашиваетъ: „А

---

[1] Типографія на конспиративномъ нарѣчіи.

ты знаешь?“—„Да, знаю“, говорю я ему. „Ну, если знаешь, зачѣмъ спрашиваешь“, отвѣчаетъ онъ мнѣ спокойно. Тогда я прямо задалъ ему вопросъ: „За что ты убилъ его?“ А онъ мнѣ отвѣчаетъ: „Это мое дѣло“. — „Дѣло это, говорю, конечно твое, но ты то самъ человѣкъ партійный и долженъ отдавать организаціи отчетъ во всѣхъ своихъ поступкахъ“. — „Нѣтъ, говоритъ, не во всѣхъ, а только въ тѣхъ, которые я дѣлаю, какъ партійный работникъ. Вѣдь я не отдаю организаціи отчета въ томъ, что я ѣмъ и пью“... Короче, я не добился отъ него никакого опредѣленнаго отвѣта и сказалъ ему, чтобы онъ пришелъ сюда, на собраніе. Дѣло слишкомъ серьезное. Надо, чтобы онъ далъ отвѣтъ всему комитету...

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:

— Если онъ будетъ съ комитетомъ говорить, какъ со мной, и если онъ откажется дать какія-нибудь объясненія, то его, пожалуй, придется отстранить отъ дѣла.

— Какъ! Такого работника?! — воскликнулъ Баркановъ.

— Ты вѣдь видишь, какой онъ работникъ! Могъ провалить „те“!—отвѣтилъ сухо Давидъ.—Впрочемъ, услышимъ, что онъ скажетъ. Онъ, вѣроятно, уже ждетъ меня на улицѣ. Я пойду за нимъ.

Давидъ вышелъ. Баркановъ и Бася остались сидѣть молча, подавленные, недоумѣвающіе.

— Никогда не повѣрила бы,—промолвила Бася.— Недавно я какъ-то говорила съ нимъ, и онъ очень рѣзко высказался противъ террора.

Давидъ вернулся въ сопровожденіи молодого человѣка, высокаго, чуть-чуть сутуловатаго, съ худымъ

лицомъ и рѣдкой рыжеватой бородкой. Выраженіе его лица было какое-то неподвижное, застывшее, равнодушное. Войдя, онъ небрежно кивнулъ головой присутствовавшимъ и сѣлъ на кровать.

Наступило тяжелое молчаніе.

— Зачѣмъ вы меня звали?—прервалъ молчаніе Гершонъ спокойнымъ вопросомъ.

Баркановъ пристально взглянулъ на него и проговорилъ твердо:

— Давидъ намъ сказалъ, что ты убилъ полицейскаго. Мы хотимъ узнать, почему ты его убилъ.

— Такъ...—отвѣтилъ неопредѣленно Гершонъ.

— Что это значитъ „такъ“? — заговорила строго Бася. — Вы вѣдь партійный человѣкъ, и раньше, чѣмъ итти на такое дѣло, вы, кажется, должны были спросить на это разрѣшеніе комитета...

— Я вѣдь зналъ, что комитетъ не разрѣшитъ, зачѣмъ бы я сталъ спрашивать?—отвѣтилъ нѣсколько небрежно Гершонъ.

— Тѣмъ болѣе вы не должны были этого дѣлать!—настаивала Бася.

— Да вѣдь я уже говорилъ Давиду, что я это дѣлалъ самъ... то-есть какъ свое собственное, не партійное дѣло,—промолвилъ Гершонъ тономъ человѣка, которому надоѣло повторяться.

— Какъ вы можете называть террористическій актъ личнымъ дѣломъ!—воскликнула съ возмущеніемъ Бася.—Вѣдь, кромѣ всего, вы могли провалить „те“!

— „Те“ я бы не провалилъ,—отвѣтилъ съ спокойною увѣренностью Гершонъ.—Если бы меня схватили, никогда бы не узнали, что я имѣю отношеніе

къ „те“. За это я спокоенъ. А на допросѣ я бы сказалъ, что я это сдѣлалъ не какъ бундовецъ... А впрочемъ, рѣшайте, какъ знаете,—добавилъ онъ безучастно.—Можете меня исключить изъ организаціи...

— Вѣдь тутъ идетъ рѣчь не о наказаніи,—перебилъ его горячо Баркановъ.—Мы же говоримъ съ тобой, какъ товарищи. Мы хотимъ, по крайней мѣрѣ, уяснить себѣ, чѣмъ ты руководствовался. Ну, почему ты убилъ именно Степана?

— Почему?.. Такъ...—отвѣтилъ, какъ бы ничего ни понимая, Гершонъ и сейчасъ же прибавилъ:—потому, что онъ полицейскій.

— Но вѣдь полицейскихъ много. Почему ты именно его убилъ? Ты зналъ что-нибудь о немъ...

— Я даже не знаю, кто онъ, и никогда не видалъ его... Попался бы на его мѣстѣ другой полицейскій или приставъ или казакъ, я бы того убилъ.

Воцарилось глубокое и тяжелое молчаніе, длившееся нѣсколько минутъ.

Баркановъ вдругъ выпрямился, точно стряхнулъ съ себя что-то, и промолвилъ рѣшительно:

— Я предлагаю вотъ что: дѣло это прошлое, не воротишь его. Ты, Гершонъ, дашь обѣщаніе, что больше такихъ вещей не будешь дѣлать, отдашь намъ свой „шпайэръ“,—и конецъ! И дѣло будетъ оставлено безъ послѣдствій!

Гершонъ поднялъ на него свой неподвижный взглядъ и проговорилъ холодно и твердо:

— Нѣтъ, такого обѣщанія я не дамъ и съ моимъ браунингомъ я не разлучусь... Я не могу этого...

Никто ему ничего не отвѣтилъ. Помолчавъ съ минуту, онъ поднялся и проговорилъ спокойно:

— Ну, я пойду. Вы тутъ безъ меня рѣшите, какъ быть со мною.

И, обратившись къ Давиду, онъ прибавилъ обычнымъ дѣловымъ тономъ:

— Дашь что-нибудь для набора? Вечеромъ закончу листокъ и завтра нечего будетъ дѣлать.

— Пришлю завтра утромъ съ Менделемъ,—отвѣтилъ подавленнымъ голосомъ Давидъ.

Гершонъ слабо мотнулъ головой товарищамъ и вышелъ изъ комнаты. За нимъ вслѣдъ вышелъ Баркановъ.

— Зайдемъ на минутку сюда,—пригласилъ онъ его въ сосѣднюю комнату.

Гершонъ послушно послѣдовалъ за нимъ.

— Подумай, Гершонъ, что ты дѣлаешь!—обратился къ нему горячо Баркановъ.—Подумай, въ какое положеніе ты ставишь комитетъ! Ты самъ много разъ говорилъ, что ты рѣзкій противникъ террора, а дѣлаешь такія вещи. Неужели ты считаешь, что убійство паршиваго полицейскаго можетъ имѣть какое-нибудь вліяніе на ходъ движенія?

— Я же тебѣ сказалъ, что я это дѣлалъ не какъ террористическій актъ. Я какъ и былъ, такъ и остался противникомъ террора.

— Но почему, почему же ты убилъ полицейскаго?!—воскликнулъ почти въ отчаяніи Баркановъ.—Вѣдь была же этому какая-нибудь причина! Вѣдь что-нибудь да толкнуло же тебя на это!

Гершонъ вдругъ поднялъ голову, взглянулъ въ упоръ на Барканова, и въ его глазахъ блеснуло что-то дикое, почти безумное.

— Если бы ты былъ на моемъ мѣстѣ, ты посту-

палъ бы, какъ и я!—отчеканилъ онъ точно металлическимъ голосомъ.

— Я тебя не понимаю...—промолвилъ нѣсколько упавшимъ голосомъ Барканов.

— Ты меня сейчасъ поймешь! Ты меня поймешь, когда я разскажу тебѣ, что я пережилъ два мѣсяца тому назадъ! — произнесъ Гершонъ медленно, повышая голосъ, съ угрожающей ноткой въ тонѣ, и впился глазами въ Барканова.

Барканова охватила дрожь. Онъ сразу почувствовалъ, что передъ нимъ сейчасъ раскроется что-то мрачное и роковое. А Гершонъ уже продолжалъ:

— Я былъ только что освобожденъ изъ тюрьмы и поѣхалъ на родину въ N.N., гдѣ у меня были отецъ и сестра. А черезъ два дня послѣ моего пріѣзда тамъ произошла бойня. Помнишь? Тамъ тогда было убито восемь человѣкъ и девятнадцать ранено. Среди этихъ убитыхъ была моя сестра, среди раненыхъ—отецъ. Сестра была сознательная работница, преданная Kempferin... Для меня она была больше, чѣмъ сестра: она была для меня самымъ дорогимъ человѣкомъ въ мірѣ... И вотъ ее на моихъ глазахъ убили. А отца, почтеннаго старика-учителя, засѣкли нагайками, выбили ему глазъ и вырвали сѣдую бороду... Да... Слушай, какъ это было. Шла демонстрація, мирно, торжественно. Я шелъ вмѣстѣ съ сестрой, потомъ насъ раздѣлили. И вдругъ налетѣлъ нарядъ полицейскихъ, стали бить, хватать, рвать. Одинъ ударилъ сестру кулакомъ по головѣ, схватилъ ее за волосы и потащилъ за собой. Я бросился къ ней. Въ это время налетѣли казаки, налетѣли какъ вихрь, сбили меня съ ногъ, понеслись на толпу, начали ру-

бить, топтать демонстрантовъ, раздались выстрѣлы. На площади произошло нѣчто невообразимое по своему ужасу и дикому бѣшенству. Когда я пришелъ въ себя, я бросился искать сестру. Я долго не могъ ее найти. Только черезъ два часа я нашелъ ее на одномъ пустырѣ, у какого-то разрушеннаго сарая... Она была мертвая. Платье на ней было изорвано, совершенно растерзано, черепъ былъ разбитъ и лицо запачкано кровью. Должно быть, съ размаху бросили ее головой о камень или чѣмъ-нибудь ударили по головѣ... Вѣроятно, боролась... Кулаки у нея были сжаты, одинъ глазъ почти открытъ, и въ немъ выражался смертельный ужасъ... И лежала она распластанная, истерзанная... Страшно было... Всего страшнѣе было видѣть, какъ она лежала... Помню, я прежде всего сорвалъ съ себя сюртукъ, накрылъ ее. Потомъ я понесъ ее на рукахъ домой. Живая она была худенькая, тонкая, легкая. А тутъ тяжелая стала. Еле донесъ... А дома я нашелъ отца съ выбитымъ глазомъ, вырванной бородой и исполосованной спиной. Попался случайно казакамъ на пути, и они взяли его въ нагайки... Отецъ лежалъ въ кровати безъ сознанія и стоналъ... Какія-то сосѣдки были при немъ, ухаживали. Я только разъ взглянулъ на его взбухшую, окровавленную спину, на выкатившійся страшный глазъ — и больше не могъ... Страшно было. Сердце сжалось... Сестру я положилъ на диванъ, обвязалъ ей голову платкомъ и обмылъ лицо. Хотѣлось, чтобы она и мертвая была красивой... то-есть не красивой, а строгой, серьезной, какъ подобаетъ для Kempferin. Лицо ея было блѣдное, въ открытомъ глазу выражался ужасъ. Губы были полуоткрыты, и зубы крѣпко сжаты...

Я сѣлъ возлѣ нея и сталъ смотрѣть ей въ лицо. Такъ я всю ночь просидѣлъ, не спуская съ нея глазъ. И мнѣ казалось, что она мнѣ что-то говоритъ и глазомъ, и лицомъ, и крѣпко сжатыми зубами. И я хорошо понималъ, что говорила она одно только слово: „Rache!“ [1].—Гершонъ произнесъ это слово рѣзко, точно каркнулъ.—Я чувствовалъ это слово во всемъ своемъ существѣ. Два раза я даже отчетливо, ясно слышалъ это слово, такъ ясно, какъ теперь слышу свой голосъ. Можетъ быть, я самъ произнесъ его. Можетъ быть, непрерывные стоны отца, его тяжелое „о-о-ахъ“ для меня прозвучали какъ „Rache“, но я ясно слышалъ это слово... И оно точно въѣлось въ меня, вплавилось въ моей душѣ, горѣло во мнѣ!.. Ну, просидѣлъ я всю ночь возлѣ сестры. Утромъ я поднялся со стула, зашелъ въ комнату, вынулъ изъ комода браунингъ сестры, — она была въ боевомъ отрядѣ и имѣла браунингъ, — положилъ его въ карманъ и съ тѣхъ поръ не разлучаюсь съ нимъ ни днемъ, ни ночью. И я теперь не знаю, что мнѣ ближе, что я больше чувствую и ощущаю: сердце ли въ груди или этотъ браунингъ. У меня какъ будто даже и нѣтъ сердца. Я точно сдѣлался чужимъ для самого себя. И только вотъ, когда я встрѣчаю кого-нибудь изъ нихъ... все равно кого, только бы въ мундирѣ... у меня сердце точно заливается горячей волной, передъ глазами дѣлается красно, и я... стрѣляю... Знаешь, за эти два мѣсяца я четверыхъ убилъ: двухъ полицейскихъ, одного жандармскаго офицера и четвертаго даже не знаю

---

[1] Месть.

кого—казака или драгуна... Все равно. Трехъ я въ первую же недѣлю одного за другимъ убилъ на улицѣ. Я даже не убѣгалъ, и меня не схватили. Можетъ быть, потому именно, что не убѣгалъ... Когда я сюда пріѣхалъ и засѣлъ въ „те“, мнѣ казалось, что у меня начинаетъ отходить отъ сердца. Всѣ эти полтора мѣсяца я не вынулъ браунинга изъ кармана... Можетъ быть, потому, что почти не выходилъ на улицу. А вчера только вышелъ, а этотъ полицейскій идетъ мнѣ навстрѣчу, и опять въ груди какая-то горячая волна разлилась, и я выстрѣлилъ... И такъ будетъ, вѣроятно, и дальше, пока передъ моими глазами будетъ стоять образъ сестры и отца и пока меня не возьмутъ... А когда возьмутъ, я имъ спокойно плюну въ лицо всѣмъ, что я сдѣлалъ, и пойду на висѣлицу...

Гершонъ сразу смолкъ, съ минуту стоялъ неподвижно, съ опущенной головой, словно охваченный думой, и вдругъ повернулся и, не проронивъ больше ни слова, вышелъ изъ комнаты.

Баркановъ все время стоялъ на одномъ мѣстѣ блѣдный и неподвижный и глядѣлъ широко раскрытыми глазами на Гершона. И только когда тотъ повернулся уходить, онъ прошепталъ побѣлѣвшими губами:

— Ужасно!

Вернувшись къ себѣ въ комнату, онъ остановился, сильно потеръ себѣ лобъ и снова, точно про себя, повторилъ это слово: „Ужасно!“.

— Въ чемъ дѣло? Что онъ тебѣ разсказалъ? — сталъ его допрашивать Давидъ.

Баркановъ не могъ сразу заговорить и, только нѣ-

сколько оправившись, съ глубокимъ волненіемъ передалъ товарищамъ страшную повѣсть Гершона.

Давидъ и Бася долго сидѣли молча, подавленные разсказомъ.

— Д-да!..—резюмировалъ наконецъ Давидъ свои мысли и прибавилъ, мрачно глядя внизъ: — И все-таки, если нельзя будетъ какъ-нибудь привести его въ себя, заставить опомниться, его придется отстранить отъ „те“ и, пожалуй, даже... удалить изъ организаціи...

Бася вдругъ поднялась и проговорила съ глубокимъ волненіемъ въ голосѣ:

— Я считаю, что тутъ не можетъ быть и рѣчи объ удаленіи его изъ организаціи! Есть вещи, которыя не только мы, но и самъ Ц. К. и сама „партія“ не имѣютъ права ни судить, ни осуждать...

XIII.

Бася ушла отъ Барканова сильно разстроенной. Предложеніе Давида, хотя и осторожное и условное, объ удаленіи Гершона изъ организаціи сильно взволновало ее, показалось ей жестокимъ и несправедливымъ по отношенію къ преданному работнику, такъ страшно пострадавшему. Но передъ нею тутъ же выступилъ вопросъ въ общей формѣ: „а какъ же все-таки быть съ членомъ организаціи, который прямо заявляетъ, что онъ не подчинится партійной дисциплинѣ?“ И чѣмъ больше она думала объ этомъ вопросѣ, тѣмъ болѣе тяжелымъ и сложнымъ онъ ей казался. Вѣдь въ сущности дѣятельность организаціи направлена главнымъ образомъ на то, чтобы пробу-

ждать, развивать и укрѣплять въ массѣ сознаніе права и справедливости, чуткое отношеніе къ своему человѣческому достоинству, чувство возмущенія противъ насилія и произвола, потребность въ активной борьбѣ противъ этого произвола. И масса, огромная часть ея, уже прониклась тѣмъ высокимъ сознаніемъ своего человѣческаго достоинства, при которомъ ни одно насиліе, ни одно оскорбленіе не могутъ пройти безнаказанными.

Басѣ вдругъ припомнилось четверостишіе популярной народной колыбельной пѣсни:

Если кто тебя, сыночекъ,
оскорбитъ плевкомъ,
дай врагу отвѣтъ достойный:
плюнь назадъ свинцомъ!

А Гершонъ вѣдь именно такой „отвѣтъ“ и даетъ врагу: на кровное, звѣрское оскорбленіе онъ отвѣчаетъ „плевками свинца“. Имѣетъ ли организація право хватать его за руку, насильно вырывать изъ нея браунингъ и, въ случаѣ неповиновенія, подвергать товарища самому жестокому наказанію—исключенію изъ организаціи?.. Но, съ другой стороны, развѣ членъ партіи, принадлежа ей и тѣломъ и душой, имѣетъ право руководствоваться чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ какъ интересами партіи? Развѣ онъ не обязанъ приносить этимъ интересамъ въ жертву все, все, до своего человѣческаго достоинства включительно? Вѣдь въ этомъ и заключается вся партійная этика!.. Но опять-таки имѣетъ ли партія право требовать отъ каждаго своего члена и при всякихъ обстоятельствахъ такого подвига, такого героизма?

Бася шла, поглощенная своими думами. На поворотѣ большой улицы ей бросилось въ глаза освѣщенное окно книжнаго магазина. По обычной привычкѣ, почти инстинктивно подошла она къ окну посмотрѣть выставленныя интересныя новинки. Тамъ уже стояло нѣсколько человѣкъ, между которыми находился одинъ худенькій, невысокій молодой человѣкъ съ блѣднымъ чахоточнымъ лицомъ, маленькой черной бородкой и острымъ взглядомъ черныхъ глубокихъ глазъ. Увидѣвъ его, Бася почти воскликнула:

— Сендеръ!

Сендеръ быстро обернулся, оглянулся съ удивленіемъ и, увидѣвъ Басю, радостно улыбнулся ей:

— А-а, Бася!—сказалъ онъ, протягивая ей руку.— Какъ поживаешь?

Сендеръ былъ другомъ дѣтства Баси. Затѣмъ они одновременно вступили въ организацію и нѣсколько лѣтъ работали совмѣстно, какъ товарищи. Года полтора тому назадъ, во время какой-то оппозиціи, Сендеръ вдругъ рѣзко порвалъ съ организаціей и перешелъ къ эсъ-эрамъ. Онъ тогда порвалъ со всѣми старыми товарищами, сохранивъ дружескія отношенія съ одной только Басей. Вскорѣ онъ уѣхалъ изъ N., и Бася съ тѣхъ поръ совершенно потеряла его изъ виду. Встрѣтивъ его теперь неожиданно на улицѣ, она сильно обрадовалась ему, какъ родному.

— Давно ты пріѣхалъ?—спросила она.

— Ужъ больше мѣсяца.

— Какъ же ты ни разу не зашелъ?—удивилась она.

— Собирался, да какъ-то... расположенія не было,— отвѣтилъ онъ нетвердо.

И, взглянувъ вверхъ, онъ проговорилъ тише и нѣсколько мечтательно:

— Какая чудная ночь сегодня!

Бася подняла голову, съ нѣкоторымъ любопытствомъ взглянула на небо, усѣянное яркими звѣздами и облитое стальнымъ свѣтомъ полной луны, и согласилась съ Сендеромъ:

— Да, ночь очень хорошая...

— Хочешь пройтись немного?—предложилъ онъ.

— Пожалуй...

— Только не по улицамъ... Надоѣла мнѣ эта толкотня,—произнесъ почти брезгливо Сендеръ.—Выйдемъ на шоссе, пройдемъ къ водяной мельницѣ, а оттуда полемъ до слободки... Хорошо теперь въ полѣ!

Бася съ минуту колебалась. Пойти къ мельницѣ, въ поле—это ужъ похоже на какую-то спеціальную прогулку ради удовольствія. Ей это показалось страннымъ и непривычнымъ. Совсѣмъ другое дѣло—ходить по улицѣ, по „биржѣ". Тамъ главная цѣль не прогулка, а разговоры, дебаты, дѣла. Тамъ къ тому же можно встрѣтить нужнаго человѣка. Однако она сейчасъ же согласилась, и оба отправились за городъ.

— Какъ же это все-таки? Ужъ больше мѣсяца, какъ ты здѣсь, и тебя нигдѣ не видно было?—вернулась къ своему прежнему вопросу Бася.

— Гдѣ же ты могла меня видѣть? На „биржѣ" я не бываю, на собранія тоже не хожу...

— Почему это?.. У тебя какія-нибудь спеціальныя занятія?—спросила, понизивъ голосъ, Бася.

— Нѣ-ѣтъ!..—отвѣтилъ, махнувъ рукой, Сендеръ.—Такъ не хожу... Надоѣло!

— Что надоѣло?—не поняла Бася.

Сендеръ не сразу отвѣтилъ, точно не слышалъ ея вопроса. Потомъ онъ вдругъ проговорилъ нервно, съ ноткой раздраженія въ голосѣ:

— Все надоѣло!.. А въ особенности разговоры надоѣли! Вѣчное повтореніе, вѣчное пережевываніе одного и того же!.. Тошно!

Бася съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянула на него и, подумавъ немного, сказала негромко, но увѣренно:

— Вѣдь не только говорятъ... кажется, кое-что и дѣлаютъ.

— Не дѣлаютъ, а дѣлается!—почти перебилъ ее Сендеръ.—То, что происходитъ, произошло бы и безъ этихъ разговоровъ, безъ этой суеты и толкотни... Началась революція, великая, огромная, міровая. А тутъ какіе-то крошечные людишки суетятся въ своемъ муравейникѣ, разговариваютъ—и думаютъ, что это они двигаютъ впередъ революцію.

— Я тебя не понимаю!—заговорила болѣе горячо Бася. — „Крошечные людишки“... Люди крошечны только до тѣхъ поръ, пока они разрознены. А когда они объединены въ одну общую организацію...

— „Въ ор-га-ни-за-цію“!—перебилъ ее съ саркастической усмѣшкой Сендеръ.—Подумаешь только, какую огромную силу представляетъ собой ваша организація, вашъ „Бундъ“, весь онъ, отъ великаго Эйшешока до знаменитой Креславки!.. Да! „Бундъ“ былъ силой, но это было раньше, когда революція еще не началась, когда сама Россія была неподвижна. Тогда какая-нибудь стачка еврейскихъ рабочихъ въ Дубровнѣ была событіемъ, демонстрація въ нѣсколько десятковъ человѣкъ создавала эпоху.

Тогда перевозка нѣсколькихъ пудовъ литературы черезъ границу учитывалась какъ революціонная побѣда, выпускъ книжки или прокламаціи считался серьезной революціонной дѣятельностью. А теперь, послѣ девятаго января, все это поблѣднѣло, сдѣлалось крошечнымъ и ничтожнымъ. Теперь, когда революція сразу выводитъ на улицы десятки и сотни тысячъ борцовъ, когда стачки охватываютъ чуть ли не полмилліона рабочихъ, когда движеніе втягиваетъ въ свой водоворотъ огромные броненосцы,—какое значеніе имѣетъ теперь весь вашъ „Бундъ“ съ его горсточкой сомнительныхъ „пролетаріевъ“, съ его крошечными стачками, съ его борьбой противъ десятка разорившихся фабрикантовъ и сотенъ нищихъ лавочниковъ?.. Маленькое все это, жалкое, мизерное! Понимаешь?.. И когда это маленькое начинаютъ раздувать и о немъ ведутся большіе и бурные споры, горячіе несмолкаемые дебаты, становится и обидно, и тошно!..

И, схвативъ Басю за руку, онъ сейчасъ же прибавилъ мягче и искренно:

— Ты не думай, Бася, что я это говорю, какъ противникъ „Бунда“, что я хочу тебя задѣть своими словами... Ей-Богу, нѣтъ! Я это говорю...

— Я не думаю этого,—остановила его серьезно Бася.—Но я опять-таки повторю, что ты очень странно разсуждаешь, когда выдѣляешь еврейскій пролетаріатъ изъ общаго революціоннаго движенія...

— Не я выдѣляю, а „Бундъ“ самъ себя выдѣляетъ!—остановилъ ее Сендеръ.—Я не осуждаю его, что онъ выступилъ изъ „партіи“, я его прекрасно понимаю, но я въ то же время понимаю, почему

теперь изъ „Бунда“ многіе переходятъ въ „Искру“ и къ эсъ-эрамъ! Если ужъ бросаться въ волны революціи, то въ волны широкаго океана, а не въ бурлящій ручеекъ!..

Бася вспомнила слова Барканова о причинахъ, почему еврейская интеллигенція уходитъ отъ еврейской массы, и, нахмурившись, произнесла:

— Можно и по большому океану плыть въ своемъ собственномъ челнокѣ и съ своимъ собственнымъ рулемъ...

Сендеръ почти не слушалъ ея и съ минуту шелъ молча, поглощенный собственной мыслью.

— Понимаешь ли, чего я хочу?—проговорилъ онъ вдругъ съ болѣзненной поткой въ голосѣ, точно моля Басю понять его.—Я хочу равномѣрности, симметріи... Ты знаешь, что такое симметрія?

— Знаю.

— Ну вотъ, я этого и хочу, и жажду... Я не могу тебѣ этого объяснить, не могу какъ слѣдуетъ выразить... Когда я слышу львиный ревъ и вижу, что онъ исходитъ изъ муравьиной кучи, меня это оскорбляетъ. Я хочу, чтобы человѣкъ соотвѣтствовалъ событіямъ. Въ великой революціи я ищу великихъ революціонеровъ или же великія массы, сплоченныя, крѣпкія какъ скалы. А у насъ я не нахожу ни того, ни другого. Масса раздроблена на сотни групокъ и партій; каждый революціонеръ въ отдѣльности считаетъ себя теоретикомъ, рѣшаетъ всѣ міровые вопросы, волнуется и горячится, точно онъ-то и есть центральная фигура, вождь, герой. А посмотри на него вблизи. Что онъ такое? Маленькій, хилый человѣчекъ, который не годится ни въ герои, ни для массоваго дѣла!..

Сендеръ тяжело перевелъ духъ и продолжалъ:

— Вотъ посмотри на русскихъ. У нихъ есть массы и есть интеллигенты. У тѣхъ и другихъ я нахожу и силу, и простоту, и цѣльность здоровой натуры. Русскій, что бы онъ ни дѣлалъ,—идетъ ли онъ на подвигъ или бьетъ свою жену,—онъ это дѣлаетъ какъ цѣльный человѣкъ, всей душой. И въ этомъ я страшно завидую ему... Вчера утромъ прошелъ я мимо монопольки. Вышелъ русскій рабочій со шкаликомъ, нагнулся, сразу сбилъ горлышко, задралъ голову и тутъ же выпилъ весь шкаликъ. Это мнѣ понравилось: это просто, красиво, по-человѣчески! Нашъ еврей тоже выпьетъ шкаликъ. Но онъ непремѣнно откупоритъ его, сотретъ полою сургучъ съ горлышка, зайдетъ во дворъ, оттуда выглянетъ, не замѣтилъ ли его кто-нибудь изъ знакомыхъ, и затѣмъ только выпьетъ шкаликъ, да и то въ нѣсколько пріемовъ. Даже и въ этомъ выражается отсутствіе силы и размаха у еврея.

Бася слушала его молча, съ скорбнымъ выраженіемъ на лицѣ и наконецъ проговорила съ холодною горечью:

— Я бы на твоемъ мѣстѣ ушла, совершенно бы ушла отъ евреевъ... Если тебѣ тяжело съ этими изломанными и безсильными, отчего тебѣ не уйти отъ нихъ къ здоровымъ и сильнымъ?

Сендеръ не замѣтилъ всей горечи, съ какою эти слова были сказаны, и воскликнулъ съ болѣзненной ноткой въ голосѣ:

— Пробовалъ, Бася, и не могъ! Я полгода работалъ среди русскихъ рабочихъ, затѣмъ занимался пропагандой въ деревнѣ,—и ушелъ, сбѣжалъ! Я самъ

еврей, такой же хилый, изломанный, какъ и они. И я не могу жить безъ нихъ. Съ ними жить не могу и безъ нихъ не могу...

Они подходили къ мельницѣ. Кругомъ не было ни души, ни огонька, не слышно было ни звука. Подъ сказочнымъ свѣтомъ луны какъ-то странно и таинственно замерли и узкая рѣчка, и мельница, и лежавшія по обоимъ отлогимъ берегамъ рѣки ржаныя поля. И среди этой огромной въ своемъ безмолвіи, холодной и сильной природы какъ-то особенно болѣзненно звучала тоска маленькаго и хилаго человѣка по великой силѣ.

Бася не находила, что сказать Сендеру. Она ясно чувствовала, что рѣчи Сендера продиктованы ему не убѣжденіемъ, а настроеніемъ, и у нея не было охоты спорить съ нимъ. Они перешли мостъ и долго шли молча по широкой дорогѣ между стѣнами спѣлыхъ колосьевъ.

— Участвуешь въ борьбѣ? Работаешь?—спросила, наконецъ, негромко Бася.

— Нѣтъ... Я выступилъ и изъ эсъ-эровской организаціи,—отвѣтилъ онъ.—Не могъ!.. Очевидно, я по натурѣ не партійный человѣкъ.

— Чего ты ищешь? Чего ты хочешь?—вырвалось вдругъ какъ-то глубоко и задушевно у Баси.

— Я ищу силы, Бася! Я ищу большой силы, которая бы меня покорила! Я ищу Бога! А партіи? Онѣ мнѣ даютъ маленькихъ божковъ, сытыхъ, самодовольныхъ, съ брюшками... А большого, сильнаго, всемогущаго Бога ни одна изъ нихъ не даетъ и не можетъ дать!

Онъ помолчалъ съ минуту и опять заговорилъ:

— Знаешь, Бася, я только одинъ разъ въ жизни чувствовалъ себя счастливымъ и спокойнымъ. Это было въ прошломъ году. Я былъ тогда въ Х. и состоялъ въ тамошней эсъ-эровской боевой дружинѣ. Подготовлялось покушеніе на губернатора. Шло на него три человѣка, въ ихъ числѣ былъ и я. У всѣхъ у насъ были въ рукахъ бомбы. Рѣшено было, если одному не удастся, тогда другой броситъ. И вотъ я помню свои ощущенія, когда я шелъ тогда по улицѣ. Я чувствовалъ себя чуть ли не богомъ. Я держалъ въ рукѣ небольшую коробку и сознавалъ, что я полновластный хозяинъ огромной силы, что достаточно одного движенія моей руки, чтобы кругомъ наступили смерть и разрушеніе! И мнѣ казалось, что я точно самъ состою изъ стали и динамита, и въ душѣ у меня было такъ огромно и спокойно, какъ никогда! Точно я вернулъ себѣ нѣчто такое, что у меня было отнято, ограблено всѣми этими сильными и властными. Я тогда вспомнилъ нашу слободку, жалкую, несчастную, придавленную, которую всякій пьяный полицейскій безнаказанно оскорбляетъ и топчетъ ногами. И мнѣ казалось, что я иду какъ ея посланецъ, но не приниженный, молящій и безсильный, а какъ властный и могучій. И весь я былъ охваченъ великимъ восторгомъ силы и мощи!.. О, какой это былъ моментъ, Бася!

— Ну?..—спросила она его дрогнувшимъ голосомъ.

— Ну, что же...—продолжалъ упавшимъ голосомъ Сендеръ.—Затѣмъ я услышалъ трескъ, увидѣлъ, какъ провезли раненаго губернатора. И я пошелъ искать мѣста, гдѣ бы спрятать... „мою силу“, то-есть бомбу...

Бася обернулась и пристально заглянула въ худое лицо Сендера, въ его горѣвшіе чахоточнымъ блескомъ глаза.

— Слушай, Сендеръ,—заговорила она задушевно,— я тебя хорошо поняла. Поняла я тебя потому, что я тоже ставлю очень высоко силу. Я тоже ненавижу все жалкое, хилое, изломанное. Для меня нѣтъ бо́льшаго преступленія, чѣмъ слабодушіе, робость, нерѣшительность. Но я расхожусь съ тобой въ пониманіи того, что такое сила. Быть сильнымъ съ бомбой въ рукѣ — это по-моему не сила, а слабость. Надо быть сильнымъ безъ бомбы. Надо быть самому изъ стали. Ты понялъ?

— Да, понялъ,—отвѣтилъ задумчиво Сендеръ.

— Я тебѣ вотъ что скажу, Сендеръ,—продолжала она болѣе рѣшительно.—Всѣ эти разговоры и крики о „силѣ", о „Богѣ" я не отъ тебя перваго уже слышу, и скажу тебѣ прямо, что они мнѣ всегда напоминаютъ плаксивые мотивы молитвы „Тхиносъ"... Мнѣ кажется, что кричать: „я хочу си-илы!.. надо быть си-ильнымъ!!.." могутъ только люди слабенькіе, изломанные, ни на что негодные... Да!.. Я видѣла сильныхъ людей, совершавшихъ поразительныя дѣла, и я отъ нихъ никогда не слыхала ни одного слова о „силѣ". Вообще, это были самые молчаливые люди, какихъ я только знала.

— Въ чемъ проявлялась сила этихъ молчаливыхъ людей?—спросилъ нѣсколько сурово Сендеръ.

— Въ чемъ?—переспросила дрогнувшимъ голосомъ Бася и быстро взглянула на Сендера. — Ты помнишь Хонона длиннаго? Какъ по-твоему, сильный онъ былъ человѣкъ, если сумѣлъ просидѣть

десять мѣсяцевъ совершенно одинъ въ сыромъ и мрачномъ погребѣ, гдѣ была „те“, и за это время ни разу не вышелъ на свѣтъ Божій? А Самуилъ, который два года только и дѣлалъ, что перетаскивалъ черезъ границу литературу, рискуя каждый часъ быть застрѣленнымъ? А такихъ сильныхъ у насъ вѣдь тысячи и десятки тысячъ... Да развѣ только въ этомъ проявляется сила нашихъ товарищей? Я тебѣ скажу истинную правду: я вижу самую большую силу нашихъ организованныхъ рабочихъ въ томъ, что они не идутъ на террористическіе акты, несмотря ни на какія провокаціи правительства. Ты понимаешь, сколько для этого надо силы? Какъ по-твоему, кто сильнѣе: тотъ ли, который идетъ на террористическій актъ, или тотъ, который, по приказу организаціи, не идетъ на такой актъ, даже... даже когда на его глазахъ убили и опозорили его сестру и все въ его душѣ кричитъ одно слово—„месть“? А?

Сендеръ нѣсколько минутъ шелъ молча, съ поникшей головой.

— Да,—проговорилъ онъ наконецъ медленно и задумчиво.—Я признаю, что сила, о которой ты говоришь,—большая, огромная... Но эта сила старая,—та самая, которая поддерживала нашихъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Это сила вѣры, сила повиновенія, сила терпѣнія и самоотреченія... А мнѣ... мнѣ эта сила ненавистна. Мнѣ нужна иная сила—свободная, личная, такая сила, которую никакая партія не могла бы душить своими уставами и приказами... Ты поняла?

— Да, поняла,—отвѣтила холодно Бася.—Ты—анархистъ.

— Сейчасъ еще нѣтъ, но вѣроятно стану имъ. Дру-

гого пути нѣтъ...—отвѣтилъ послѣ нѣкотораго молчанія Сендеръ.

Они вошли въ слободку. Было уже около часа ночи. Сендеръ вдругъ остановился и протянулъ руку Басѣ.

— Куда же ты?—спросила она его.

— Пойду обратно въ поле. Душно здѣсь и... гадко!

Бася взглянула на Сендера и сразу почувствовала, что между нею и имъ порвалась та нить, которая съ дѣтства связывала ихъ, что онъ сдѣлался ей чужимъ и далекимъ. Она молча пожала ему руку.

Онъ тоже ничего не сказалъ ей и, молча повернувшись, пошелъ обратно въ поле.

Бася поспѣшно, съ тяжелымъ, гнетущимъ чувствомъ въ душѣ, направилась домой. Вдругъ она увидѣла бѣгущую ей навстрѣчу дѣвочку, въ которой тотчасъ же узнала сестру.

— Что случилось?—крикнула она ей издали съ тревогой.

Мирлъ подбѣжала къ ней ближе. Она была блѣдна, и въ ея широко раскрытыхъ глазахъ выражался ужасъ.

— Ой, Басенька, гдѣ ты была?—воскликнула она.—Ужъ два часа, какъ я ищу тебя! Я всюду была! Приходили тебя искать! Ужъ думали, что тебя забрали...

— Да что случилось? что случилось? Говори!—прикрикнула на нее въ сильномъ волненіи Бася.

— Да вѣдь „биржу“ разогнали!—вырвалось воплемъ у Мирлъ.

— Что-о ты говоришь?!—воскликнула пораженная Бася.

— Ой, Басенька, то, что слышишь! Я была при этомъ! „Биржа“ кончалась, уже собирались расходиться, какъ вдругъ налетѣли полицейскіе... цѣлый полкъ!.. Стали разгонять, бить, кричать!.. Ужасъ, ужасъ, что тамъ творилось!.. Разбѣжались! Нѣкоторыхъ затоптали ногами, многихъ полицейскіе убили.. Я еле-еле выбралась... Я знала, что тебя не было на „биржѣ“, и побѣжала тебя искать. Потомъ прибѣжали сюда тебя спрашивать Мееръ, Генехъ и еще одинъ, котораго я не знаю. А полчаса тому назадъ здѣсь былъ Баркановъ. Сказалъ, чтобы ты завтра утромъ въ девять часовъ пришла къ нему... Ой, Басенька, что теперь будетъ?! — закончила она восклицаніемъ, полнымъ глубокаго отчаянія.

Бася ничего ей не отвѣтила. Она была взволнована извѣстіемъ и въ душѣ укоряла себя, что ушла вдругъ на прогулку съ Сендеромъ. „Стоило потерять ночь, чтобы слушать его анархическія бредни!“ думала она.

— А мама? — вспомнила она вдругъ. — Вѣроятно, еще не спитъ?

— Она, слава Богу, ничего не знаетъ! Заснула раньше, чѣмъ я вернулась домой, и спитъ,—отвѣтила Мирлъ.

— Ну, пойдемъ и мы спать, поздно! — сказала ей вдругъ настойчиво и сухо Бася.

Онѣ зашли потихоньку въ домъ, раздѣлись и легли.

Бася долго не могла уснуть: она обдумывала планъ дѣйствія. Вдругъ до нея донеслись изъ кухни, гдѣ спала Мирлъ, сдержанныя, подавленныя рыданія. Она неслышно слѣзла съ дивана, вышла въ кухню и, на-

гнувшись къ Мирлъ, проговорила негромко, твердо, но съ ласковой ноткой въ голосѣ:

— Не плачь! Небо еще не ложится на землю. Ничего страшнаго не случилось. Нѣсколько дней не будутъ пускать на „биржу“, а потомъ опять все пойдетъ по-старому. Съ рабочими они не справятся!..

XIV.

Разгонъ „биржи“, да еще въ такой рѣшительной формѣ, вызвалъ сильное волненіе во всемъ городѣ а въ особенности, конечно, въ рабочихъ кварталахъ. Рабочая масса была почти ошеломлена этимъ событіемъ, которое въ первый моментъ представилось ей въ видѣ большого и неожиданнаго стихійнаго несчастья. Къ „биржѣ“ всѣ до того привыкли, до того сжились съ нею, что никто не могъ себѣ представить, какъ можно будетъ существовать безъ нея. Въ первый моментъ рабочіе какъ-то забыли, что и до учрежденія „биржи“ движеніе существовало и находило способы для объединенія и взаимнаго общенія рабочихъ, и большинство, особенно массовая публика, чувствовало себя пришибленнымъ, разъединеннымъ, точно осиротѣвшимъ.

На слѣдующій день послѣ разгона „биржи“, въ субботу, съ самаго ранняго утра въ рабочихъ слободкахъ, а въ особенности въ „Подлѣсьи“, началось оживленное движеніе по улицамъ и переулкамъ. Движеніе это шло двумя различными потоками. Старое поколѣніе—отцы и дѣды, пожилыя женщины и старухи съ дѣтьми и подростками, празднично одѣтые—шло медленно и спокойно, направляясь въ синагоги.

И рядомъ съ этимъ невозмутимымъ теченіемъ, въ которомъ чувствовалось что-то вѣковѣчное и незыблемое, шло другое—нервное, поспѣшное, раздробленное. Рабочіе и работницы, чуть поднявшись, бросались на улицу, начинали искать своихъ представителей, товарищей, знакомыхъ. У всѣхъ была потребность быть на людяхъ, услышать откликъ своимъ мыслямъ, своему настроенію. У всѣхъ было сознаніе, что произошло что-то рѣшительное, что должно непремѣнно вызвать рѣшительныя же дѣйствія и со стороны организаціи, и каждому хотѣлось поскорѣе узнать, что думаютъ объ этомъ товарищи, что предлагаютъ представители, что предпринимаютъ комитеты. Въ первые часы настроеніе рабочихъ было неопредѣленное, растерянное. Большинство еще не вполнѣ освоилось съ совершившимся фактомъ, еще не овладѣло первымъ волненіемъ, и между встрѣчавшимися на улицѣ рабочими, какъ и въ группахъ и кружкахъ, которые быстро образовывались и такъ же быстро расплывались, шли взволнованные разсказы о случившемся, передавались детали и частичные эпизоды событія. Сперва носились слухи объ убитыхъ и раненыхъ, о массовыхъ арестахъ, но вскорѣ выяснилось, что ни убитыхъ, ни тяжело раненыхъ не было, только нѣсколько человѣкъ было избито, а одинъ арестованъ за „сопротивленіе“. Среди другихъ эпизодовъ съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчались случаи, что рабочіе дрались съ полицейскими и одного даже серьезно избили; но въ глубинѣ души всѣ сознавали, что „биржа“ была отдана врагу безъ сопротивленія.

Когда первое волненіе улеглось, настроеніе рабочихъ сдѣлалось болѣе серьезнымъ и опредѣленнымъ.

Понемногу сходились свои со своими. Во дворахъ, квартирахъ, даже на улицѣ образовывалось нѣчто въ родѣ небольшихъ собраній, на которыхъ началось обсужденіе положенія. Сперва всѣ искали представителей, но потомъ сдѣлалось извѣстнымъ, что представители всѣхъ партій ушли на экстренныя комитетскія собранія для рѣшенія вопроса, что предпринять. Это значительно успокоило рабочихъ, и они, въ ожиданіи возвращенія представителей, обмѣнивались мыслями. Въ нѣкоторыхъ кружкахъ выступали ораторы, и такимъ образомъ случайныя собранія превращались въ небольшіе митинги. Часовъ въ девять-десять началъ циркулировать слухъ, что нѣкоторые ораторы пошли въ синагоги, чтобы тамъ произносить рѣчи. Слухъ этотъ подтвердился тѣмъ, что члены „боевого отряда", обыкновенно сопровождавшіе такихъ ораторовъ, какъ-то сразу исчезли со всѣхъ собраній. Многіе рабочіе отправились въ ближайшія синагоги. Не зная въ точности, въ какихъ синагогахъ выступятъ ораторы, большинство отправилось въ „старую синагогу", самую большую въ городѣ, въ увѣренности, что гдѣ-гдѣ, а ужъ тамъ навѣрное выступитъ ораторъ и изъ лучшихъ.

„Старая синагога" могла считаться достопримѣчательностью города N. Она была построена еще при Екатеринѣ и сохранилась среди всѣхъ стихійныхъ бурь и грозъ, которыя за это время проносились надъ городомъ. Она была свидѣтельницей нашествія французовъ, нѣсколькихъ погромовъ и многочисленныхъ пожаровъ. Вокругъ нея выгорали улицы и кварталы; цѣлыя поколѣнія домовъ хирѣли, сносились, а она, точно находясь внѣ вліянія времени и собы-

тій, оставалась нетронутой; только ея стѣны становились болѣе угрюмыми, болѣе тяжелыми и мрачными. Она была старинной архитектуры, вѣрнѣе—безъ всякой архитектуры, безъ купола, безъ украшеній, безъ внѣшнихъ отличій, а между тѣмъ каждый прохожій съ перваго взгляда узнавалъ въ ней синагогу. Находилась она нѣсколько въ сторонѣ отъ жилыхъ строеній, вокругъ нея не было ни забора, ни ограды. Одинокая и угрюмая, стояла она точно поглощенная многовѣковой думой.

И внутри синагоги также все оставалось нетронутымъ ни временемъ, ни событіями. Холодныя голыя стѣны съ надписями, среди которыхъ выдѣлялась написанная на стѣнѣ большими, полинявшими отъ времени, буквами „Молитва за царя", въ которой ярче другихъ словъ выдѣлялись имена царя, царицы и наслѣдника, вписанныя вмѣсто прежнихъ именъ. У восточной стѣны стоялъ кивотъ со свитками Завѣта, возлѣ него — небольшая эстрада для кантора. Посреди синагоги находилась большая высокая эстрада для чтенія свитковъ, а надъ нею спускалась съ высокаго потолка большая, въ нѣсколько десятковъ свѣчей, люстра съ кристалликами. У стѣнъ и посреди синагоги стояли ряды скамей съ пюпитрами, а наверху были хоры для женщинъ. И вся эта обстановка синагоги—и люстра, и кивотъ, и эстрады, и скамьи—была старинная, массивная, почернѣвшая отъ времени, закапанная воскомъ.

Въ синагогѣ было довольно много народа. Молящіеся въ своихъ „талесахъ" [1] стояли всѣ лицомъ

[1] Шерстяное четырехугольное одѣяніе, которымъ окутываютъ себя во время утренней молитвы женатые прихожане.

къ востоку и, раскачиваясь, молились. У самой восточной стѣны по обѣимъ сторонамъ кивота стояли наиболѣе почтенные, богатые, набожные прихожане, почти все старики, въ числѣ которыхъ былъ и раввинъ. Старики, съ „талесами“ черезъ головы, съ согбенными спинами, читали молитвы съ обычнымъ безконечно унылымъ напѣвомъ, съ глубокими вздохами. И казалось, что эти старики, какъ и синагога и вся ея обстановка, тоже остались внѣ времени; казалось, что, прибитые волнами жизни къ самой стѣнѣ, стоятъ они здѣсь какъ изваянія, какъ памятники прошлаго.

Однако на другихъ молящихся уже лежалъ отпечатокъ новой жизни. Среди нихъ уже встрѣчались люди въ короткихъ сюртукахъ, съ подстриженными бородами или бритые; нѣкоторые молились вяло, равнодушно, другіе совсѣмъ молча расхаживали по синагогѣ. И только у противоположной, западной, стѣны, у дверей, стояли опять-таки старики и пожилые люди, бѣдные, оборванные, въ разодранныхъ, засаленныхъ „талесахъ“, съ болѣзненными, исхудалыми лицами и негромко, робко, но всей измученной душой молили у своего жестокаго Бога хоть искру милосердія, хоть блѣдный лучъ счастья и радости.

Шла утренняя субботняя молитва. Канторъ выводилъ свои рулады по разъ навсегда установленному шаблону, и прихожане то читали за нимъ молитву то слушали его пѣніе молча и по окончаніи каждой молитвы произносили хоромъ: „Аминь!“.

Когда первая часть молитвъ („Schachris“) была окончена, изъ кивота были вынуты свитки Завѣта и были развернуты на столѣ большой эстрады. Нача-

лось чтеніе установленныхъ для каждой субботы семи главъ „пятикнижія“, при чемъ для каждой главы призывался къ свиткамъ другой прихожанинъ.

Едва только началось чтеніе свитковъ, какъ въ синагогу начали входить поодиночкѣ и небольшими компаніями рабочіе, молодые люди и юноши, въ синихъ блузахъ и картузахъ. Они входили въ синагогу какъ-то особенно: буднично, смѣло, дѣловито, безъ тѣни почтенія къ молитвенному дому, и, очутившись среди молящихся, рѣзко выдѣлялись и своимъ костюмомъ и еще больше своимъ видомъ, ясно свидѣтельствовавшимъ, что они здѣсь чужіе, посторонніе, безучастные къ молитвѣ. Рабочая молодежь, продолжая прибывать, стала окружать тѣснымъ кольцомъ эстраду. Чтеніе свитковъ продолжалось, но въ синагогѣ началось безпокойное движеніе, сопровождаемое тревожнымъ шопотомъ. Молящіеся сразу обратили вниманіе на появленіе незваныхъ гостей, начали смутно безпокоиться, а затѣмъ и ясно поняли, съ какою цѣлью явились сюда въ такомъ количествѣ эти рабочіе въ блузахъ. Явились они затѣмъ, чтобы сейчасъ по окончаніи чтенія свитковъ начать произносить революціонныя рѣчи. Такого рода захватъ синагогъ революціонерами сталъ практиковаться только въ самое послѣднее время. Въ первый разъ появленіе рабочихъ съ ораторомъ въ синагогѣ вызвало переполохъ и панику, закончившіеся свалкой и истериками. Затѣмъ понемногу стали привыкать и къ этому явленію, но все-таки при каждомъ новомъ нашествіи революціонеровъ молящихся охватывало сильное волненіе.

По мѣрѣ прибыванія рабочихъ настроеніе публики

становилось все болѣе тревожнымъ. Особенно нервные кидались то къ тому, то къ другому, перешептывались, бросали испуганные взгляды на рабочихъ и не знали, что предпринять. Другіе поспѣшно снимали съ себя „талесы“, одѣвались и направлялись къ выходу. Но у дверей уже стояли двое рабочихъ, рослыхъ и сильныхъ, съ суровыми лицами и напряженнымъ выраженіемъ, и при приближеніи кого-нибудь изъ прихожанъ къ дверямъ они спокойно, но властно и сурово заявляли:

— Теперь не выходятъ!

И большинство безъ вопросовъ и споровъ, лишь съ выраженіемъ протеста на лицахъ возвращалось на свои мѣста. Нѣкоторые однако, не обращая вниманія на это заявленіе, подходили къ дверямъ и пытались открыть ихъ. Но двери оказались запертыми снаружи. И когда одинъ изъ прихожанъ началъ стучать въ дверь, требуя, чтобы его выпустили, одинъ изъ стражи заявилъ ему такъ же властно и безстрастно, какъ и раньше:

— Безполезно! Вы теперь не выйдете!

— Но мнѣ надо итти домой!—началъ горячиться прихожанинъ.

— Потерпите!

— Что значитъ: потерплю? Вы насильно заставите меня оставаться въ синагогѣ и слушать ваши рѣчи?!—возмутился еще больше прихожанинъ.

— Да! — отвѣтилъ спокойно, глядя ему прямо въ глаза, стражъ.

Прихожанинъ съ минуту стоялъ молча, потомъ вдругъ плюнулъ въ сторону и воскликнулъ съ глубокимъ возмущеніемъ:

— Ой! Ужъ въ десять разъ лучше попасть въ руки къ погромщикамъ, чѣмъ къ вамъ!

И поспѣшно отошелъ, сопровождаемый тѣмъ же безстрастно-холоднымъ взглядомъ стражей.

Чтеніе свитковъ, а затѣмъ установленной главы изъ пророковъ продолжалось долго. Но какъ только оно кончилось и одинъ изъ прихожанъ, сѣдой старикъ, поднялъ со стола высоко вверхъ свитки Завѣта и произнесъ: „Вотъ тора, которую Моисей предоставилъ сынамъ Израиля!"—какъ на эстраду поспѣшно взошелъ, въ сопровожденіи двухъ рабочихъ, ораторъ и, ударивъ по столу, крикнулъ громко на всю синагогу:

— Birger!! [1]

Въ синагогѣ сразу поднялся невообразимый шумъ и крики протеста, среди которыхъ выдѣлялись отдѣльныя восклицанія:

— Не надо! Не надо!

— Не хотимъ слушать! Не хотимъ!

— Дайте окончить молитву, а затѣмъ говорите себѣ сколько угодно!

Ораторъ снова и сильнѣе ударилъ по столу и еще громче крикнулъ:

— Граждане! Отъ имени бундовской организаціи я требую, чтобы вы меня выслушали!

— Не шумѣть!! Молчать!!—раздались властныя и негодующія восклицанія рабочихъ.

Однако прихожане не унимались и продолжали кричать:

— Мы знаемъ, мы сами хорошо знаемъ все, все, что вы намъ скажете!

---

[1] Граждане!

— Зачѣмъ вы приходите мѣшать намъ молиться? Что вы хотите отъ насъ?

Но рядомъ съ этими возгласами стали раздаваться и другіе:

— Да дайте ужъ ему говорить! Иначе вѣдь конца не будетъ!

— Дайте говорить! Чего вы испугались? Вѣдь не съѣдятъ васъ!

И шумъ постепенно стихъ.

Ораторъ еще разъ ударилъ по столу и началъ говорить громко и медленно, отчеканивая каждое слово:

„Граждане! Мы явились сюда не затѣмъ, чтобы мѣшать вашей молитвѣ, а потому, что возмутительный самодержавный режимъ не даетъ возможности гдѣ бы то ни было въ другомъ мѣстѣ обращаться къ вамъ съ нашимъ словомъ.

„Граждане! Еврейскій пролетаріатъ рука объ руку съ пролетаріатомъ другихъ національностей выступилъ авангардомъ великой революціи. Этотъ авангардъ наноситъ все болѣе сильные, болѣе страшные удары расшатанному самодержавному строю. День побѣды уже близокъ, но до его наступленія еще прольется много крови, падетъ много жертвъ.

„Еврейскій пролетаріатъ борется за свои классовые интересы, но, борясь за нихъ, онъ вмѣстѣ съ этимъ борется за свободу и жизнь всего еврейскаго народа. И если евреи получатъ наконецъ права человѣка и гражданина, то этимъ они будутъ обязаны только пролетаріату. Если съ еврейскаго населенія будетъ снятъ вѣчный ужасъ и трепетъ передъ избіеніемъ и разореніемъ, если погромы

сдѣлаются невозможными, то это будетъ опять-таки только благодаря тому, что организованный еврейскій пролетаріатъ вооруженной рукой остановитъ шайки громилъ, заслонитъ своею грудью, своими тѣлами еврейскіе дома отъ разоренія, стариковъ и дѣтей — отъ избіенія, женщинъ — отъ позора. И да будетъ стыдно тѣмъ изъ присутствующихъ здѣсь, которые, зная это, не хотѣли дать сегодня одному изъ представителей пролетаріата возможность сказать нѣсколько словъ!"

Послѣ этого вступленія ораторъ указалъ на безпощадную борьбу правительства противъ революціоннаго пролетаріата, на безпрерывныя избіенія даже мирнаго населенія и на всевозможныя провокаціи по отношенію къ рабочимъ. Вчерашній разгонъ „биржи" безъ причинъ, безъ предупрежденія не можетъ быть названъ иначе, какъ провокаціей. Правительство, конечно, на этомъ не остановится. Послѣ разгона „биржи" оно, вѣроятно, примется за устройство погрома. Организованный пролетаріатъ, конечно, не будетъ всѣмъ этимъ устрашенъ. Онъ будетъ продолжать, какъ и раньше, свою борьбу и сумѣетъ дать отпоръ наемнымъ бандамъ убійцъ и грабителей. Но для того, чтобы онъ имѣлъ возможность выполнить свой трудный подвигъ, онъ долженъ встрѣчать глубокое сочувствіе и всевозможную поддержку со стороны всѣхъ слоевъ еврейскаго населенія.

Ораторъ говорилъ плавно и горячо, и публика слушала его молча, постепенно все болѣе заинтересовываясь его рѣчью, все ближе придвигаясь къ эстрадѣ. Высокій старикъ, стоявшій на эстрадѣ со свитками, слушалъ оратора съ старческимъ удивле-

ніемъ въ прищуренныхъ ослабѣвшихъ глазахъ и съ раскрытымъ ртомъ, въ которомъ виднѣлся единственный зубъ.

Послѣ „бундиста“ говорилъ представитель поалейціонистовъ. За нимъ пытался заговорить еще одинъ ораторъ, но свои же остановили его и сошли вмѣстѣ съ нимъ съ эстрады.

На высокой эстрадѣ остался одинъ старикъ съ сѣдой бородой, съ прижатыми къ груди свитками Завѣта, а эстраду кругомъ плотно охватывала чернымъ кольцомъ рабочая молодежь. И казалось, что на этомъ возвышеніи, какъ на одинокомъ островкѣ, стоитъ символъ всего стараго еврейства, окруженный бурными волнами новой жизни, молодой и сильной, страстно рвущейся впередъ, стремящейся въ своемъ порывѣ затопить этотъ, съ виду маленькій и беззащитный, но высокій, скалистый островокъ.

Рабочіе хлынули вонъ изъ синагоги. А канторъ уже стоялъ на эстрадѣ и читалъ рыдающимъ напѣвомъ, въ которомъ звучала страстная мольба, установленное „Благословеніе наступающаго мѣсяца“:

„Кто творилъ чудеса нашимъ предкамъ и освободилъ ихъ отъ рабства къ свободѣ, Тотъ да освободитъ насъ вскорѣ и да соберетъ нашихъ, разбросанныхъ и разсѣянныхъ, со всѣхъ четырехъ концовъ міра! Всѣ евреи—товарищи! И скажемъ: Аминь!“

XV.

Въ то самое время, когда въ синагогѣ говорилъ ораторъ, у Барканова на квартирѣ происходило экстренное засѣданіе комитета совмѣстно съ представителями кружковъ.

Всего собралось, вмѣстѣ съ членами комитета, человѣкъ двѣнадцать; засѣданіе было обставлено нѣкоторою официальностью. Были выбраны предсѣдатель и секретарь. Предсѣдательствовалъ Давидъ. Изложивъ кратко и сухо обстоятельства, вызвавшія необходимость экстреннаго собранія, и намѣтивъ вопросы, поставленные на обсужденіе собранія, онъ, раньше чѣмъ дать кому-либо слово, напомнилъ собравшимся, что, по общимъ директивамъ Ц. К., слѣдуетъ воздерживаться отъ частичныхъ выступленій и беречь силы для предполагаемаго въ близкомъ будущемъ общаго организованнаго выступленія. Вслѣдствіе этого онъ совѣтовалъ товарищамъ отнестись болѣе хладнокровно къ событіямъ и не особенно поддаваться настроенію массы.

Это предисловіе показалось нѣсколько обиднымъ представителямъ, которые и безъ того были настроены болѣе или менѣе оппозиціонно противъ комитета за его слишкомъ большое, по ихъ мнѣнію, самовластіе и недостаточно активную и планомѣрную дѣятельность, и первый взявшій слово, вмѣсто того, чтобы высказаться относительно поставленныхъ вопросовъ, вдругъ сухо и сурово заявилъ:

— Раньше, чѣмъ говорить по существу, я желаю высказаться о дѣятельности комитета...

— Я тоже!—поддержалъ его тотчасъ же другой.

— И я!—прибавилъ еще одинъ.

Давидъ, не ожидавшій теперь такой оппозиціи, въ первую минуту хотѣлъ запротестовать, но онъ тотчасъ же сообразилъ, что это ни къ чему не поведетъ и только еще больше обострить положеніе, и проговорилъ спокойно:

— Ну, что же, высказывайтесь, если находите это важнымъ... Хотя я полагалъ бы, что это можно было бы отложить на другой разъ.

— Я придерживаюсь на этотъ счетъ иного мнѣнія,—стоялъ на своемъ представитель.—Достаточно откладывали!

— Говори, имѣешь слово,—отвѣтилъ ему кратко Давидъ и, подперевъ голову обѣими руками, устремилъ глаза на столъ и приготовился терпѣливо слушать.

Представитель началъ спокойно и холодно излагать претензіи, которыя имѣлись противъ комитета. Комитетъ слишкомъ рѣдко совѣщается съ представителями и часто безъ ихъ вѣдома принимаетъ очень важныя рѣшенія, которыя трудно, иногда невозможно проводить; онъ недостаточно чутко относится къ настроенію массы, къ ея нуждамъ и запросамъ. Литература доставляется нерегулярно и неравномѣрно. Работа въ кружкахъ, по винѣ комитета, ведется неправильно и безпорядочно. Часто приходится распускать собраніе только изъ-за того, что „товарищъ Сергѣй (говорившій указалъ на Барканова) не изволилъ явиться“, а когда онъ приходитъ, то непремѣнно съ опозданіемъ на часъ или два. Представители часто оказываются въ очень неловкомъ или неудобномъ положеніи изъ-за излишней конспиративности Давида, который, помимо представителей, ведетъ дѣла съ нѣкоторыми членами кружковъ и вообще не выказываетъ достаточнаго довѣрія къ товарищамъ. Противъ Давида было выдвинуто еще обвиненіе, что онъ часто бываетъ крайне рѣзокъ въ разговорѣ съ рабочими. Въ болѣе мягкой формѣ это обвиненіе

было выставлено и противъ Баси. Работницы жалуются, что, когда къ ней обращаются по дѣлу, она, вмѣсто того, чтобы подробно растолковать и поговорить, отвѣчаетъ кратко и сухо; что съ тѣхъ поръ, какъ она въ комитетѣ, къ ней доступа нѣтъ, „шестомъ головы не достать“.

Члены комитета выслушали свой обвинительный актъ молча, съ неподвижно суровымъ выраженіемъ на лицахъ. Одинъ только Баркановъ, когда представитель коснулся его неаккуратности въ посѣщеніи собраній, неловко и виновато улыбнулся и пробормоталъ: „Д-да, грѣшокъ этотъ за мной водится!“ Въ общемъ и Баркановъ и Бася признавали справедливость большинства обвиненій и въ душѣ оправдывали себя недостаткомъ времени, невольными ошибками, несовершенствомъ формъ организаціи. Давидъ же относился къ обличеніямъ болѣе скептически и усматривалъ сквозь нихъ честолюбивыя поползновенія оппозиціонера самому попасть въ комитетъ.

За первымъ обличителемъ выступилъ второй, который дополнилъ обвинительный актъ еще другими фактами. Затѣмъ хотѣлъ говорить на эту же тему третій, но изъ среды самихъ же представителей стали раздаваться протесты и восклицанія:

— Довольно! Надо покончить съ этимъ и перейти къ дѣлу!

— Теперь не время объ этомъ распространяться! Рабочіе ждутъ указаній, что дѣлать, а мы здѣсь будемъ до вечера заниматься организаціонными дѣлами.

Третій обличитель отказался отъ слова. Тогда хотѣлъ заговорить Давидъ, но Баркановъ попросилъ дать ему раньше сказать нѣсколько словъ.

Баркановъ сразу взялъ искренній, задушевный и примирительный тонъ. Онъ призналъ, что бо́льшая часть обвиненій вполнѣ заслужена комитетомъ. Да, комитетъ не стоитъ на высотѣ своей задачи! О причинахъ этого можно было бы очень многое сказать. Но всѣ, конечно, согласятся, что въ данный моментъ нѣтъ времени заниматься этимъ. Онъ, Баркановъ, хочетъ только указать, что и въ другихъ комитетахъ тоже происходятъ недоразумѣнія съ „центральной сходкой“ представителей, что во всѣхъ партіяхъ существуетъ недовольство дѣятельностью руководящихъ органовъ. Значитъ, для этого есть какія-нибудь общія причины, обусловленныя вѣроятно тѣмъ, что при самомъ сильномъ желаніи нельзя поставить нелегальную работу такъ правильно и регулярно, какъ легальную. Конечно, во многомъ виноваты и сами члены комитета; по крайней мѣрѣ, относительно себя онъ это признаетъ безъ оговорокъ. Извѣстную роль въ этомъ играетъ то, что комитеты не выборные, а назначенные центральнымъ комитетомъ. Но теперь условія измѣнились, и можно надѣяться, что въ очень близкомъ будущемъ, черезъ мѣсяцъ-два, партія сможетъ реорганизоваться на болѣе демократическихъ началахъ и комитеты смогутъ быть выборными. Тогда работа, конечно, пойдетъ правильнѣе. До тѣхъ же поръ надо будетъ просто начать чаще сходиться и по-товарищески обсуждать, какъ бы устранить недоразумѣнія и лучше наладить работу. Сговориться не трудно будетъ, такъ какъ у всѣхъ, и у комитета и у представителей, одна цѣль и одно страстное желаніе—какъ можно лучше служить одинаково всѣмъ дорогому и святому дѣлу.

— Я хотѣлъ сказать то же самое,—проговорилъ Давидъ, почувствовавъ, что слова Барканова могутъ успокоить представителей и положить конецъ инциденту.

Бася, у которой отъ рѣчи Барканова разгладились глубокія морщинки на лбу и съ лица сошло выраженіе скорби и огорченія, прибавила отъ себя:

— Я тоже вполнѣ согласна съ высказаннымъ.

Представители, ожидавшіе отпора, протеста, борьбы, были обезоружены рѣчью Барканова, почувствовали себя нѣсколько смущенными, и главный обличитель, искренно тронутый товарищескимъ тономъ Барканова, самъ первый вызвался:

— Ну, довольно! Кончимъ объ этомъ! Въ самомъ дѣлѣ, теперь не время для этихъ разговоровъ! Приступимъ къ дѣлу!

Инцидентъ точно очистилъ атмосферу, и дальнѣйшіе разговоры велись миролюбиво, уступчиво и были проникнуты взаимнымъ довѣріемъ. Вопросъ объ однодневной забастовкѣ, который былъ предложенъ нѣкоторыми представителями и который они собирались защищать очень настойчиво и энергично, былъ снятъ съ очереди безъ особыхъ дебатовъ послѣ указанія Давида, что такую забастовку придется устроить девятаго іюля, въ полугодовщину девятаго января, и что не слѣдуетъ особенно часто прибѣгать къ этой довольно трудно проводимой и не дешево обходящейся рабочимъ формѣ протеста. Нѣсколько больше разговоровъ было по вопросу о „биржѣ“. Одни предлагали тотчасъ же перенести „биржу“ на другое мѣсто, на одну изъ центральныхъ улицъ. Другіе предлагали переждать дня два и попытаться снова

собраться на старой „биржѣ“. Послѣднее предложеніе было мотивировано тѣмъ, что подобная настойчивость можетъ заставить мѣстныя власти уступить. Перекочевываніе же на новое и далеко не столь удобное мѣсто будетъ, пожалуй, понято какъ безпрекословное подчиненіе насилію. Принято было второе предложеніе.

Обсужденіе главнаго вопроса — о демонстраціи — было оставлено на самый конецъ. Этотъ вопросъ былъ рѣшенъ какъ-то сразу, безъ дебатовъ. Всѣ, не исключая Давида, согласились, что демонстрацію устроить необходимо, что устроить ее можно будетъ только черезъ нѣсколько дней, чтобы имѣть время сговориться съ другими партіями и организовать ее. Рѣшено было вступить въ переговоры съ „искровцами“ и эсъ-эрами (поалей-ціонскую и сіонистско-соціалистическую организаціи рѣшено было только извѣстить о демонстраціи), образовать смѣшанную комиссію, которая назначитъ день и часъ для демонстраціи, выработаетъ опредѣленный маршрутъ, распредѣлитъ пункты, гдѣ каждая организація должна будетъ концентрировать свою массу и гдѣ всѣ демонстранты должны будутъ затѣмъ сойтись. Когда этотъ планъ будетъ выработанъ, комитетъ сообщитъ его представителямъ, и они выработаютъ диспозиціи для своихъ группъ, назначатъ вожаковъ, которымъ наканунѣ вечеромъ передъ демонстраціей будутъ сообщены часъ и мѣсто сбора каждой группы, пункты встрѣчъ съ другими группами и т. д. Пока же представители должны начать подготовлять массу къ демонстраціи, намѣчать вожаковъ, заготовить знамена. Кромѣ того, они должны сейчасъ же заняться мобилизаціей самообороны,

намѣтить пункты для патрулей въ мѣстахъ, наиболѣе опасныхъ въ смыслѣ погромовъ, увеличить численно боевой отрядъ и выработать планъ самообороны въ случаѣ начала погрома.

Собраніе кончилось часамъ къ двѣнадцати, и представители поспѣшно разошлись по своимъ кварталамъ.

Бася, оставшаяся очень довольной и принятыми рѣшеніями, и тѣмъ, что инцидентъ съ представителями былъ такъ быстро и полюбовно улаженъ, отправилась въ бодромъ настроеніи на слободку. Сообщивъ ожидавшимъ ее на одной квартирѣ рабочимъ рѣшеніе комитета, она отправилась домой.

Эстеръ, узнавъ утромъ о разгонѣ „биржи", сразу прониклась глубокимъ безпокойствомъ за дѣтей, стала ждать самыхъ грозныхъ событій, полагая, что съ утра же начнутся волненія, демонстраціи, можетъ быть, и стрѣльба. Тревога ея еще болѣе усилилась въ синагогѣ, когда туда явились рабочіе съ ораторомъ и тамъ поднялась суматоха. Она была увѣрена, что это ужъ „начало" и что теперь уже „пойдетъ". И, вернувшись домой изъ синагоги, она чувствовала себя совершенно пришибленной. Она и не ожидала, чтобы дѣти пришли къ обѣду, не знала, гдѣ искать ихъ, и собиралась одна сѣсть къ столу. И вдругъ совершенно неожиданно пришла Бася вмѣстѣ съ Мирлъ, которую встрѣтила на улицѣ. Дѣвушки вошли въ домъ спокойныя, почти веселыя. Поздравивъ мать съ субботой, онѣ заявили, что очень голодны, и сѣли къ столу.

Эстеръ сразу ожила, повеселѣла, хотя тревожное чувство у нея въ душѣ не совсѣмъ улеглось, и она

исподтишка бросала пытливые взгляды на Басю, стараясь угадать ея истинное настроеніе. Не сразу и какъ-то мимоходомъ, вынимая изъ печи зажаренную картошку съ кусочкомъ мяса, она спросила равнодушнымъ тономъ:

— Ну, что слышно?

— Ничего, все уладится!—отвѣтила ей съ спокойною увѣренностью Бася.

— А что будетъ съ „биржей“? — продолжала она спрашивать и прибавила съ возмущеніемъ:—А! Разбой какой!

— Что съ „биржей“? ничего!—отвѣтила почти безпечно Бася. — Нѣсколько дней не будутъ ходить на „биржу“, а затѣмъ опять начнутъ... Не вѣчно же они будутъ сторожить при ней!

— Такъ значитъ сегодня ничего не будетъ?—рѣшилась Эстеръ задать самый страшный вопросъ.

— Рѣшительно ничего!—отвѣтила твердо Бася.— Комитетъ постановилъ!—прибавила она значительно.

Зная правдивость Баси, Эстеръ совершенно успокоилась и въ душѣ даже посмѣялась надъ своими тревогами.

Обѣдъ прошелъ въ оживленной бесѣдѣ о событіяхъ вчерашняго вечера. Послѣ субботняго обѣда Эстеръ обыкновенно, по традиціи, ложилась отдыхать. На этотъ разъ она рѣшила сдѣлать отступленіе отъ правила и посидѣть съ дѣтьми: такъ рѣдко случается посидѣть спокойно всѣмъ вмѣстѣ.

— Знаете что, дѣтки? — заговорила она какъ бы безпечно и нѣсколько заискивающе.—Посидимте сегодня дома всѣ вмѣстѣ. У меня въ печи горячая вода, заваримъ чай. Вчера я принесла съ базара

пару яблокъ... Право, дѣточки! Когда это намъ удается посидѣть вмѣстѣ!

— Нѣтъ, мама, мнѣ необходимо пойти,—отвѣчала ей серьезно Бася.

Эстеръ ничего не возразила ей и только какъ-то сразу пригорюнилась.

— Я тоже пойду,—заявила рѣшительно Мирлъ.

— Куда ты пойдешь? Ты вѣдь не такъ занята. Ты вѣдь можешь посидѣть часокъ съ матерью! — слабо запротестовала Эстеръ.

— Нѣтъ, маменька, мнѣ не-об-хо-ди-мо, — отчеканила Мирлъ очень настойчиво.

— Ну, иди...—проговорила тихо и обидчиво Эстеръ и отвернулась.

Мирлъ почувствовала жалость къ матери, подошла и обняла ее. Эстеръ слабо воспротивилась и все еще обидчиво сказала:

— Ступай... ты злая... ты меня не любишь...

— Даю тебѣ слово, маменька, что мнѣ необходимо пойти! — воскликнула съ большой искренностью Мирлъ.—Я не могу тебѣ сказать куда и зачѣмъ, но такъ необходимо, какъ никогда!

И, крѣпко поцѣловавъ мать, она выбѣжала изъ дому.

Бася отправилась на слободку. Обыкновенно по субботамъ устраивались днемъ собранія. На этотъ разъ представители условились устраивать собранія въ теченіе всего дня и вечера, чтобы призывать рабочихъ къ спокойному подготовленію къ демонстраціи. Басѣ предстояло выступать на нѣкоторыхъ изъ этихъ собраній, и она туда отправилась.

Рабочіе въ общемъ остались довольны рѣшеніемъ

комитета. (Почти аналогичныя рѣшенія были приняты и комитетами другихъ организацій.) Кое-гдѣ раздавались протесты противъ постановленія не ходить пока на „биржу“, высказывалось возмущеніе, что заставляютъ „прятаться“, „сидѣть за печью“, но такіе протестанты обыкновенно получали отпоръ отъ самихъ же рабочихъ:

— Если ты такой революціонеръ, почему ты не выступилъ вчера, когда разгоняли „биржу“? Тутъ, на слободкѣ, легко быть революціонеромъ!

И протестантъ умолкалъ.

Послѣ обѣда большинство рабочихъ пошло на собранія. Однако часамъ къ четыремъ многимъ надоѣло слушать рѣчи ораторовъ, и они уходили съ собраній. Всѣхъ тянуло къ „биржѣ“, каждому хотѣлось посмотрѣть, что происходитъ теперь тамъ, въ этомъ небольшомъ родномъ царствѣ, гдѣ еще только вчера каждый чувствовалъ себя какъ дома, полновластнымъ хозяиномъ, и куда доступъ теперь запрещенъ, и не только вражеской властью, но и своею организаціей. И поодиночкѣ потянулись рабочіе съ разныхъ улицъ къ завѣтному мѣсту.

Входы въ садъ охранялись съ самаго утра небольшими нарядами полицейскихъ, которые никого не впускали въ садъ. И съ самаго же утра передъ этими входами на тротуарахъ толпились любопытные. Послѣ обѣда число любопытныхъ сильно увеличилось, появились подростки. Полицейскіе время отъ времени разгоняли публику, но она тотчасъ же снова собиралась и, точно чего-то ожидая, останавливалась, не спуская глазъ съ сада. При всей бдительности полицейскихъ нѣкоторымъ изъ публики

удалось проскользнуть въ садъ. Подростки ухитрялись ловко и незамѣтно перебираться черезъ высокую ограду. Нѣкоторыхъ изъ публики полицейскіе пропускали въ садъ безпрепятственно—по знакомству или за нѣсколько копеекъ. Въ сущности никто не отдавалъ себѣ отчета, зачѣмъ ему пробираться въ садъ, но каждый старался туда проникнуть, и тотъ, кому это удавалось, чувствовалъ себя побѣдителемъ. И хотя въ саду совершенно нечего было дѣлать, никто не уходилъ оттуда.

Въ первые часы полицейскіе болѣе или менѣе настойчиво выполняли свои обязанности, разгоняли публику, не подпускали никого ко входу въ садъ и вообще проявляли всю „полноту власти". Затѣмъ они вдругъ какъ-то ослабѣли, сдѣлались апатичными и въ теченіе нѣсколькихъ минутъ почти безпрепятственно пропускали публику въ садъ, а потомъ вдругъ съ яростью набрасывались на перваго попавшагося, прогоняли его съ руганью и угрозами и снова впадали на нѣкоторое время въ прежнюю апатію. Съ особеннымъ остервенѣніемъ набросился одинъ изъ полицейскихъ на худенькаго, бѣдно одѣтаго юношу, почти мальчика, который долго стоялъ у входа и съ жалобной мольбой глядѣлъ то на садъ, то на его стражу. Полицейскій, точно сорвавшись съ цѣпи, сразу бросился, погнался за нимъ, ударилъ его наотмашь кулакомъ въ спину и, вернувшись на свое мѣсто, проговорилъ съ глубокимъ возмущеніемъ:

— Ишь, паршивецъ! Штаны сзади порваны, голая задница видна, а тоже лѣзетъ на „биржу"!

Постепенно въ саду набралось довольно много пу-

блики, среди которой было не мало подростковъ; въ ихъ числѣ находились также Гиршель и Мирлъ.

Сперва публика держалась робко, пряталась въ отдаленныхъ аллеяхъ, но по мѣрѣ того, какъ прибывали новыя лица, она становилась смѣлѣе. Стали образовываться группы и кружки, начались разговоры, перешедшіе вскорѣ въ споры и дебаты, которые становились все болѣе оживленными. Настроеніе публики стало постепенно нарастать, дѣлаться болѣе напряженнымъ, болѣе революціоннымъ. Всякій чувствовалъ, что однимъ тѣмъ, что онъ пробрался въ садъ вопреки запрещенію полиціи, онъ уже совершилъ какой-то революціонный актъ, проявилъ протестъ противъ разгона „биржи“, и каждому хотѣлось подчеркнуть, формулировать этотъ протестъ. Рядомъ съ возмущенными возгласами противъ властей стали раздаваться критическія и насмѣшливыя замѣчанія по адресу комитетовъ, которые рекомендовали не ходить на „биржу“ и воздерживаться отъ какихъ бы то ни было проявленій протеста. Комитеты постоянно рекомендуютъ рабочимъ прятаться и воздерживаться отъ революціонныхъ выступленій! А между тѣмъ развѣ не лучше было бы пойти напроломъ, сейчасъ же устроить демонстрацію, какъ протестъ противъ разгона „биржи“?

На центральной аллеѣ въ большомъ кружкѣ говорилъ рабочій. Онъ не былъ профессіональнымъ ораторомъ, говорилъ нескладно, сбивался, повторялъ по нѣскольку разъ одно и то же слово, одну и ту же фразу, но въ его голосѣ звучала искренняя и страстная нотка, которая заразительно дѣйствовала на слушателей. Онъ говорилъ о насиліяхъ правительства надъ

рабочими въ Н., объ арестахъ, о разгонѣ „биржи“ и съ дрожью въ голосѣ спрашивалъ товарищей: можно ли оставлять все это безъ отвѣта, безъ протеста? За первымъ ораторомъ выступилъ второй, затѣмъ третій, и съ каждымъ новымъ ораторомъ рѣчи становились все болѣе страстными, болѣе революціонными. Постепенно къ этому кружку стягивалась и остальная публика, разсѣянная по другимъ аллеямъ, и въ центрѣ сада образовалась большая сплоченная группа человѣкъ во сто. Публика слушала рѣчи ораторовъ съ нарастающимъ напряженіемъ, сдержанно, словно ожидая чего-то рѣшительнаго.

И вдругъ посреди рѣчи одного изъ ораторовъ на садовую скамейку вскочилъ юноша съ возбужденнымъ лицомъ и горящими глазами, крикнулъ какъ-то особенно громко и властно: „Товарищи!“ и началъ бросать въ толпу отрывочныя бичующія фразы, проникнутыя глубокимъ и страстнымъ негодованіемъ. Публика сразу точно встрепенулась, точно выпрямилась, началось движеніе, послышались отдѣльныя восклицанія... И тутъ же сейчасъ на скамейку, гдѣ стоялъ ораторъ, вскочилъ другой юноша, такой же взволнованный, рѣшительнымъ жестомъ поднялъ вверхъ и махнулъ надъ толпой полосой краснаго кумача и воскликнулъ:

— Долой самодержавіе!

Точно электрическій токъ пробѣжалъ по толпѣ. Всѣ какъ-то сразу взволновались, заговорили, закричали, задвигались, какъ бы охваченные однимъ общимъ бурнымъ стремленіемъ.

Юноша, имѣвшій въ рукѣ полосу кумача, наскоро прикрѣпилъ ее къ палкѣ, поднялъ высоко вверхъ

это импровизированное красное знамя и, ринувшись впередъ, крикнулъ властно и вдохновенно:

— За мной!.. На улицу!

Съ минуту въ толпѣ продолжалось какъ бы безпорядочное движенiе, въ которомъ безъ руководства, безъ плана формировались ряды. Наиболѣе энергичные, смѣлые, экспансивные проталкивались впередъ, въ авангардъ. Туда же ловко и настойчиво пробирались и проскальзывали подростки...

Мы правую руку на сердце кладемъ
и грозную клятву на совѣсть даемъ!..

раздалось вдругъ стройное пѣнiе бундовскаго гимна „Ди Швуэ“. И толпа, охваченная однимъ чувствомъ, сплоченная и сильная, сразу хлынула изъ сада, отбросила оторопѣвшихъ полицейскихъ и двинулась стройными рядами по улицѣ. Впереди выступали уже два знаменоносца. Рядомъ съ юношей шла и Мирлъ, тоже съ краснымъ знаменемъ. Дѣвочка, точно охваченная религiознымъ экстазомъ, прижимая къ груди древко знамени, выступала большими мѣрными шагами, не сгибая колѣнъ и глядя впереди себя широко раскрытыми глазами.

Какъ бы въ отвѣтъ на бундовскiй гимнъ раздалось пѣнiе:

Вы жертвою пали въ борьбѣ роковой...

И подъ это двойное хоровое пѣнiе медленно и торжественно двинулась процессiя по широкой улицѣ. И съ каждымъ шагомъ впередъ она росла, увеличивалась, притягивая къ себѣ властной, чарующей силой всѣхъ попадавшихся на ея пути. Изъ домовъ, съ улицъ и переулковъ сбѣгались мужчины и жен-

щины, взрослые и подростки, интеллигенты и рабочіе, евреи и русскіе, и поспѣшно, радостно становились въ ряды демонстрантовъ. Гуляющая по тротуарамъ публика останавливалась, съ оживленнымъ любопытствомъ и глубокимъ сочувствіемъ глядѣла на процессію и постепенно проникалась ея торжественнымъ настроеніемъ. Окна въ домахъ поспѣшно раскрывались и оттуда высовывались люди съ радостными, счастливыми лицами, принимались усердно махать платками и посылать демонстрантамъ въ видѣ привѣтствій возгласы:

— Да здравствуетъ свобода!

— Долой самодержавіе!

И все кругомъ было охвачено однимъ общимъ праздничнымъ настроеніемъ, великимъ и торжественнымъ.

И вдругъ издали началъ доноситься быстрый топотъ лошадиныхъ копытъ, и по всей длинной улицѣ понесся, какъ раскатистый вой, крикъ, полный смятенія и ужаса:

— Казаки!!!

. . . . . .

XVI.

Послѣ ухода дѣтей Эстеръ долго сидѣла на одномъ мѣстѣ, сгорбленная, грустная и обиженная. „Дѣти... вскормила, воспитала ихъ...—думала она съ тоскливою безнадежностью.—Какая польза, что онѣ честныя дѣти, трудолюбивыя, тихія, когда онѣ... не мои?“ закончила она неожиданно для самой себя. И ей сразу очень ясно представилось, что вѣдь въ самомъ

дѣлѣ она имѣетъ очень мало основаній считать дѣтей своими. Каждый часъ, каждую минуту можетъ нагрянуть та грозная и мрачная сила, которая не знаетъ человѣческихъ чувствъ, остается холодной къ материнскимъ страданіямъ, можетъ вырвать у нея дѣтей, бросить ихъ въ мрачныя тюрьмы, въ Сибирь, на край свѣта, можетъ ихъ искалѣчить, даже убить. А пока этого еще не случилось, пока Господь своей великой милостью оставляетъ дѣтей при ней,—развѣ она ихъ когда-нибудь видитъ? развѣ она когда-нибудь имѣетъ возможность спокойно посидѣть съ ними, порадоваться на нихъ? Утромъ чуть свѣтъ онѣ уходятъ на работу; вечеромъ, сейчасъ послѣ ужина, иногда и безъ ужина, онѣ бѣгутъ на „биржу", на собранія, гдѣ остаются до поздней ночи. И даже въ субботу, въ этотъ единственный день отдыха и покоя, онѣ тоже уходятъ изъ дому. Конечно, у Баси дѣла, серьезныя, важныя. Но если бъ она все-таки хотѣла, она могла бы остаться на часокъ. Тогда и Мирлъ не ушла бы—и онѣ втроемъ сидѣли бы теперь у стола, пили бы чай и мирно бесѣдовали. Бася, можетъ быть, почитала бы одну изъ тѣхъ книжечекъ, въ которыхъ такъ правдиво и страшно описана горькая доля бѣдняка... Какъ хорошо, свѣтло и радостно было бы! А вотъ не захотѣли остаться, разлетѣлись, оставили ее, старую мать, одной...

Эстеръ прониклась глубокою жалостью къ самой себѣ и прошептала, пригорюнившись:

— Одинока, какъ изъ камня... Если бъ хотѣла излить свое горе сердечное, тоже не передъ кѣмъ было бы...

„Прилечь", надумала она съ тяжелымъ чувствомъ и, глубоко вздохнувъ, прилегла, не раздѣваясь, на

кровать. Безотрадныя думы, какъ обрывки низкихъ, тяжелыхъ и медленныхъ тучъ, ползли въ ея мысляхъ и не давали ей задремать.

Полежавъ нѣкоторое время, она слѣзла съ кровати и отыскала свою единственную книгу, толстую, растрепанную и замусленную. Это былъ „Тайтшъ-хумешъ“ [1]. Эстеръ была еле грамотна, читала съ трудомъ и ошибками, но любила читать по субботамъ свою книгу, въ которой находилось столько интересныхъ разсказовъ, столько мудрыхъ изреченій и поученій.

Прошло нѣсколько часовъ, пока Эстеръ осилила установленныя для данной субботы главы. Чтеніе успокоило и умиротворило ее. Ея прежнее горестно-обидчивое настроеніе смѣнилось мечтательно-грустнымъ, почти умильнымъ. Ее потянуло на улицу. Она вышла изъ дому и присѣла на завалинку.

Солнце спустилось уже довольно низко, зной спалъ, и въ мягкомъ свѣтѣ уходящаго дня было теперь разлито нѣчто ласковое, спокойное и праздничное. Почти всѣ обитатели слободки находились на улицѣ. Чуть ли не у каждаго домика сидѣли цѣлыя семьи, старики и пожилые люди. Тутъ же бѣгали, играли и копошились дѣти. Всѣ — и старъ и малъ — были одѣты „по-субботнему“, нѣсколько чище и лучше обыкновеннаго. Шли оживленныя, но мирныя бесѣды, кое-гдѣ раздавался смѣхъ, кое-откуда доносилась тихая пѣсня. Изъ нѣсколькихъ домовъ то и дѣло

---

[1] Разсказы изъ „пятикнижія“ вперемежку съ легендами и поученіями изъ Талмуда. Книга эта составлена на разговорно-еврейскомъ языкѣ спеціально для женщинъ, не знающихъ древне-еврейскаго языка.

выходила поодиночкѣ и небольшими компаніями рабочая молодежь, юноши и дѣвушки, останавливалась посреди улицы, образовывала небольшія группы, бесѣдовала, расходилась то обратно въ дома, то въ городъ. На лицахъ молодежи не было теперь замѣтно ни тревоги, ни волненія; въ движеніяхъ не было той торопливости и растерянности, что были утромъ. И подъ мягкими лучами усталаго солнца слободка казалась умиротворенной и праздничной, хотя подъ этимъ внѣшнимъ видомъ покоя и праздника, какъ подъ обманчивымъ румянцемъ тяжело-больного, бился обычный лихорадочный пульсъ великой житейской драмы.

Эстеръ обвела медленнымъ взглядомъ слободку— и всюду встрѣчала только близкія и знакомыя лица. Эстеръ была роднымъ дѣтищемъ этой слободки. Здѣсь она родилась, выросла и прожила всѣ свои пятьдесятъ три года. Она впитала въ себя всѣ устои этой слободки, ея понятія и вѣрованія, ея любовь и ненависть, ея надежды и чаянія; она знала всѣхъ обитателей слободки отъ мала до велика, знала жизнь каждаго въ отдѣльности, знала всѣ личныя и семейныя драмы, знала, какъ каждый несетъ свой тяжелый крестъ, знала, кто палъ и кто готовъ пасть въ страшной жизненной борьбѣ. И слободка, со всѣмъ ея населеніемъ, казалась въ эту минуту для Эстеръ однимъ большимъ и роднымъ семействомъ, сплоченнымъ общей тяжелой судьбой.

Въ умѣ Эстеръ зароились тѣ большія мысли, которыя часто приходятъ въ голову одинокимъ старикамъ въ минуты мечтательно-грустнаго настроенія. Она думала о жизни. Какъ много ея прошло

здѣсь, въ этой слободкѣ, и какъ быстро она прошла. Давно ли она, Эстеръ, бѣгала тутъ, по этой же улицѣ, ребенкомъ... Кажется, только вчера это было... А между тѣмъ цѣлая жизнь прошла. Какая большая, какая тяжелая, а что она оставила за собой? Ничего, кромѣ могилъ. Много могилъ... Старики всѣ повымерли, молодые постарѣли и тоже приближаются къ могилѣ.

Эстеръ вспомнила старую народную пѣсню, которую она въ юности часто распѣвала:

Міръ весь—не больше какъ сонъ.
Смертный для смерти рожденъ.

— Да-а, сонъ, дѣтскій сонъ... глупый и мрачный...—прошептала про себя Эстеръ съ глубокимъ вздохомъ.

И снова обводя глазами слободку, она остановилась долгимъ задумчивымъ взглядомъ на одной фигурѣ, сидѣвшей на завалинкѣ одного изъ домовъ на противоположной сторонѣ улицы. Это былъ глубокій старикъ, ребъ Шепе, бывшій въ теченіе полувѣка меламедомъ въ слободкѣ и теперь доживавшій свой вѣкъ совершенно одинокимъ и нищимъ. Старикъ сидѣлъ на завалинкѣ нѣсколько поодаль отъ другихъ въ старенькомъ, почти безформенномъ, тепломъ халатѣ, сидѣлъ, сильно согнувшись, точно стараясь дотянуться головой до земли.

Эстеръ долго глядѣла на старика. Съ тѣхъ поръ, какъ она помнитъ себя, она помнитъ и ребъ Шепе. Онъ какъ будто никогда и не былъ молодымъ. Онъ въ свое время считался строгимъ меламедомъ и ученики боялись его. Но видъ у него никогда не былъ ни

строгимъ, ни грознымъ. Онъ всегда ходилъ сильно согнувшись, точно нося на спинѣ большую тяжесть, на лицѣ его постоянно лежало выраженіе безнадежной скорби, и по улицѣ онъ всегда пробирался неувѣренно, робко, оглядываясь.

Эстеръ остановилась неподвижнымъ взглядомъ на старикѣ, и въ ея воспоминаніи стали одинъ за другимъ воскресать, точно поднимаясь изъ могилъ, давно ею забытые ровесники и ученики старика Шепе, прежніе хозяева слободки, творцы ея жизни. Всѣ они были такіе же согбенные, такіе же робкіе, такіе же испуганные и жалкіе, какъ и Шепе.

И, оглядывая мысленнымъ взоромъ это старое, прежнее поколѣніе, Эстеръ вспомнила тогдашнюю жизнь въ цѣломъ. Вся она тоже была робкая и испуганная, согбенная и безнадежная. Вся она была проникнута трепетомъ и скорбью. Пугались громкаго слова, рѣзкаго движенія; смѣхъ считался распущенностью; пѣсня, грустная и безнадежная, распѣвалась вполголоса, какъ нѣчто преступное...

— Боялись тогда...—прошептала Эстеръ, безсознательно резюмируя весь характеръ тогдашней жизни.

Боялись тогда всѣхъ и всего; трепетали передъ каждымъ мундиромъ, передъ каждымъ сюртукомъ, передъ человѣкомъ, у котораго былъ въ карманѣ лишній рубль, передъ всякимъ, кто обладалъ большей физической силой, нѣкоторою смѣлостью, даже болѣе громкимъ голосомъ; пугались иновѣрца, пугались солдата. И этотъ страхъ и трепетъ не были напрасными. Все, что было кругомъ сколько-нибудь сильнаго и властнаго, набрасывалось съ яростью и остервенѣніемъ на беззащитную слободку, терзало ее,

сосало изъ нея кровь, топтало ее ногами. И ни отъ кого, ниоткуда не встрѣчала она ни защиты, ни сочувствія. Все сильное и смѣлое, что рождалось въ ея нѣдрахъ, отшатывалось, убѣгало отъ нея съ ненавистью, съ проклятіями и становилось въ ряды ея враговъ и пожирателей...

— Что, Бася дома?—прозвучало вдругъ въ ушахъ Эстеръ.

Она встрепенулась, какъ отъ сильнаго толчка, быстро подняла голову и увидѣла передъ собою молодого человѣка, высокаго, стройнаго, съ бритымъ подбородкомъ, энергичнымъ мускулистымъ лицомъ и большими черными и оживленными глазами, глядѣвшими какъ-то особенно бодро и смѣло. Эстеръ сразу не поняла, откуда онъ явился, не поняла, что̀ онъ спросилъ: до того неожиданно ворвался онъ въ далекій міръ ея мечты. Но она сейчасъ же узнала въ немъ внука Бореха банщика, слесаря, товарища Баси по организаціи. И, узнавъ его, она угадала, о чемъ онъ ее спросилъ.

— Нѣтъ, ушла... Можетъ быть, скоро придетъ,— отвѣтила она.

— Когда придетъ, скажите ей, что мнѣ надо ее видѣть.

И онъ поспѣшно ушелъ.

Эстеръ, точно проснувшаяся, проводила его нѣсколько удивленнымъ взглядомъ, какъ бы продолжая не понимать, откуда онъ могъ явиться. Затѣмъ она обвела взглядомъ улицу и увидѣла другихъ молодыхъ людей, такихъ же стройныхъ и сильныхъ, съ такими же открытыми лицами и смѣлыми взгля-

дами. И съ тѣмъ же удивленіемъ переводила она глаза съ одного на другого, точно спрашавая, откуда они явились.

Ей хотѣлось вернуться къ прежнимъ мыслямъ, такъ неожиданно прерваннымъ, но она не могла уловить конца ихъ оборванной нити.

— Да! — вспомнила она наконецъ, — я думала о прошлой жизни, о былой...

И, вздохнувъ, она прибавила:

— Нѣтъ ужъ тѣхъ людей, нѣтъ больше той жизни... Новый, совсѣмъ новый міръ насталъ...

Ей казалось въ эту минуту страннымъ и непонятнымъ, какъ и откуда явился этотъ совершенно новый міръ, съ новыми людьми, у которыхъ такія прямыя спины, такіе смѣлые взгляды, такія рѣшительныя рѣчи. Она не могла припомнить, когда и при какихъ условіяхъ они впервые появились, что они говорили и дѣлали. Но ей живо и ярко припомнилось то впечатлѣніе, какое произвело тогда на слободку ихъ появленіе.

— Испугались тогда, затрепетали...—прошептала она.

Слободка испугалась появленія новой молодежи, испугалась какимъ-то особеннымъ испугомъ, огромнымъ, всеобъемлющимъ. Испугалась она за самоё молодежь, которая полѣзла въ огонь, пошла на вѣрную гибель; испугалась она и за себя, что эта отчаянная молодежь своимъ громкимъ голосомъ выдастъ ее, притаившуюся, собравшуюся въ комокъ, спрятавшуюся въ своихъ пещеркахъ и норкахъ; что своими безумно дерзкими рѣчами она разгнѣваетъ, приведетъ въ ярость всѣ вражескія силы, которыя до

сихъ поръ встрѣчали со стороны слободки только приниженныя рѣчи, льстивые поклоны, стоны, слезы и мольбу. Испугалась она наконецъ—и, можетъ быть, всего больше—самой этой молодежи, которая „сбросила съ себя ярмо“, отвергла сразу всѣ старыя вѣрованія и традиціи, все, въ чемъ старое поколѣніе черпало силы для жизни, все, что замѣняло этому поколѣнію свѣтъ и воздухъ; испугалась этой новой молодежи, въ которой она сразу почуяла силу и поэтому почуяла новаго врага. Развѣ можетъ сила, какая бы она ни была, не быть враждебной слободкѣ? Вѣдь этого еще никогда не бывало!

„И что только творилось тогда, что творилось! Думали, что міръ рушится, небо опускается на землю“, вспоминала дальше Эстеръ.

Къ старому аду нужды и голода, страха и гнета прибавились новыя муки, новыя драмы. Началась борьба двухъ поколѣній—отцовъ и дѣтей. Борьба эта была цѣпкая и жалкая, велась она во мракѣ, но съ настойчивостью великаго отчаянія. Отцы цѣплялись за дѣтей своими безсильными руками, грозили имъ собственнымъ испугомъ и безсиліемъ, грозили гнѣвомъ своего нищаго и глухого Бога, молили, плакали. Но молодежь не поддавалась ни мольбѣ, ни угрозамъ и твердо шла своимъ путемъ.

Эстеръ глубоко задумалась, припоминая различныя перипетіи этой великой трагедіи, и наконецъ прошептала съ примирительною грустью:

— И привыкли... Присмотрѣлись и увидѣли, что они совсѣмъ не такіе ужъ дикіе люди, какъ казалось, совсѣмъ не такіе разбойники...

Слободка прежде всего, еще въ самый разгаръ

борьбы, замѣтила, что проходили мѣсяцы за мѣсяцами, а міръ не рушился, небо не опускалось на землю. Смѣлая молодежь умѣла укрываться отъ врага не хуже, чѣмъ робкіе старики, а если она и попадалась ему въ руки, то ее тоже не „обезглавливали“, не „рубили на куски“, какъ опасались отцы. И, поддавшись настроенію самихъ борцовъ, старики все съ меньшимъ и меньшимъ ужасомъ стали относиться къ набѣгамъ властей, арестамъ и ссылкамъ молодежи. Затѣмъ слободка постепенно убѣдилась, что безумно смѣлое выступленіе молодежи не вызвало противъ стариковъ никакой ярости враждебныхъ силъ, что эти силы стали даже съ меньшимъ спокойствіемъ сосать кровь изъ слободки, съ меньшею наглостью распоряжаться ея жизнью. Болѣе того, онѣ, эти вражескія силы, какъ будто даже сдѣлались болѣе милостивыми, даже принялись хвалить и величать старую слободку за ея смиреніе и покорность, за ея испугъ и безмолвіе и начали ставить ее въ примѣръ дерзкой и строптивой молодежи. И наконецъ слободка еще увидѣла, что вышедшая изъ ея нѣдръ сила не отшатнулась отъ нея, не выступила противъ нея съ ненавистью и враждой, не бросилась на нее съ жадностью и наглостью обычной вражеской силы.

Эстеръ пожала плечами и прошептала съ нѣкоторымъ удивленіемъ:

— Вѣдь вначалѣ даже не понимали какъ слѣдуетъ, чего они хотятъ!

Старая слободка не понимала, какъ это можетъ новая сила не стать во враждебныя отношенія къ ней. Затѣмъ она робко высунула голову и стала съ

все еще неулегшейся тревогой и недовѣріемъ прислушиваться къ рѣчамъ, присматриваться къ дѣятельности молодежи. И мало-по-малу она убѣждалась, что эта молодежь вступила въ борьбу съ исконными врагами слободки—съ властными, сильными и богатыми. Неужели она заступается именно за нее? Слободка въ первый моментъ не вѣрила собственнымъ глазамъ, не вѣрила очевиднымъ фактамъ. Но молодежь съ каждымъ днемъ и часомъ давала все новыя свидѣтельства своего заступничества за бѣдныхъ и обездоленныхъ, за униженныхъ и обиженныхъ. Она не только заступалась, но и одерживала побѣды надъ враждебными силами, которыя вчера еще считались непобѣдимыми, всемогущими, подсудными одному только Богу.

— А когда присмотрѣлись, то увидѣли, что они таки въ самомъ дѣлѣ всей душой стоятъ за бѣдняка,— шептала дальше Эстеръ.

Слободка наконецъ убѣдилась, что молодежь выступила именно въ ея защиту. И, убѣдившись въ этомъ, она всей своей истомленной душой потянулась къ этой новой силѣ и понесла ей свою великую скорбь, свою нужду, обиды и горе. Молодежь по мѣрѣ своихъ силъ принялась за устроеніе запущенной жизни, взяла въ свои руки судьбы старой слободки, стала на стражѣ ея интересовъ, ея безопасности, ея человѣческаго достоинства. И слободка, изболѣвшая и истерзанная, признала надъ собой власть дѣтей, стала гордиться ими, стала повторять ихъ рѣчи, радоваться ихъ радостями, отчаиваться ихъ горемъ. Постепенно она начала проникаться и ея глубокой вѣрой въ свѣтлое будущее.

Эстеръ вспомнила свою Басю, вспомнила, какъ она всѣ свои силы, всю жизнь отдаетъ великому дѣлу борьбы за бѣдныхъ и обездоленныхъ. И сердце ея преисполнилось материнской гордостью и счастьемъ. И отъ Баси это чувство перешло на ея товарищей, на всѣхъ, кто борется за правду и справедливость, не останавливаясь передъ самыми страшными жертвами.

— Вѣдь они поистинѣ честные и дорогіе люди!— произнесла она восторженно.—О себѣ они забываютъ и всѣ свои молодыя силы отдаютъ для другихъ, для того, чтобы наступила наконецъ лучшая жизнь.

Эстеръ почувствовала, что въ ея старой, истомленной душѣ уже давно затеплилась великая вѣра, которую исповѣдуетъ вмѣстѣ съ ея Басей вся новая молодежь,—вѣра въ лучшее будущее, свѣтлое, свободное и справедливое.

И передъ глазами Эстеръ предстала картина, которую ей такъ часто рисовала Бася,—картина новой и свѣтлой жизни. Не будетъ тогда ни голода, ни холода, ни непосильнаго труда, ни зачахшихъ дѣтей, ни безпризорныхъ стариковъ; не будетъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни властныхъ, ни подвластныхъ, ни палачей, ни жертвъ; не будетъ ни вражды, ни безнадежнаго отчаянія, ни трепетнаго испуга. Всѣ будутъ жить въ великомъ Божьемъ мірѣ какъ братья, какъ одна великая трудовая семья. И на обагренной кровью, оскверненной преступленіями, враждой и насиліемъ землѣ воцарятся миръ и любовь...

Эстеръ встрепенулась, проникнутая религіознымъ восторгомъ. И, поднявъ отуманенные слезами глаза къ небу, она прошептала, какъ великую молитву:

— Создатель! Если мнѣ, по моимъ грѣхамъ, не суждено дожить до этого счастливаго времени, то пусть хоть дѣти мои увидятъ его!..

И какъ бы въ отвѣтъ на ея молитву изъ центра города стали доноситься слабые, чуть слышные отзвуки ружейныхъ залповъ. Слободка не разслышала ихъ...

С. Ан—скій.

Витебскъ.
Октябрь 1906 г.

Пасынки жизни.

(Пьеса въ четырехъ дѣйствіяхъ.)

Дѣйствующія лица:

Берлъ Лейбманъ, старьевщикъ, лѣтъ пятидесяти; лицо вздутое, обрюзглое, болѣзненное; глаза большіе, тусклые, выпуклые; черная съ просѣдью борода. Одѣтъ опрятно.

Бейлэ, его жена; красиво сложенная полная женщина лѣтъ сорока пяти; лицо открытое, черты правильныя; глаза затянуты дымкой грусти. Содержитъ прачечную.

Ихъ дѣти.

Израиль (Исроэль), музыкантъ-волторнистъ; стройный, высокій, красивый, съ вьющимися кудрями; двадцати пяти лѣтъ.

Мирлъ, гимназистка старшихъ классовъ; спокойное, энергичное лицо; большіе выразительные глаза; восемнадцати лѣтъ.

Ицикъ, шустрый, бойкій девятилѣтній мальчикъ. Учится въ мѣстной талмудъ-торѣ. Во внѣучебное время исполняетъ разныя обязанности по прачечной.

Брохэ, сестра Бейлэ; живая морщинистая старушка лѣтъ подъ шестьдесятъ.

Беньемэнъ, ея сынъ. Даетъ уроки по курсу средне-учебныхъ заведеній; двадцати одного года.

Гершъ, старьевщикъ, пріятель Берла; длинный, худой; лицо смуглое, продолговатое; носъ орлиный; глаза маленькіе, черные, быстрые; голосъ надтреснутый; между прочимъ занимается и сватовствомъ; лѣтъ пятидесяти пяти.

Шейндлъ, мастерица въ прачечной; красивая дѣвушка лѣтъ девятнадцати.

Велвлъ, мастеръ тамъ же; худощавый, некрасивый, губы мясистыя, носъ вздернутый, двадцати трехъ лѣтъ.

Посѣтительницы прачечной { Ида и Клара Дамровы, двѣ сестры; первая одѣта скромно, лицо интеллигентное, мягко улыбающееся; вторая пышно разодѣта, лицо некрасивое, злое выраженіе глазъ.
Дѣвушка въ пестромъ платкѣ.

Хозяинъ квартиры Лейбмановъ.

Елена Игнатьевна.

Лида, ея дочь; стройная, красивая дѣвушка лѣтъ семнадцати.

Марѳуша, горничная въ домѣ Елены Игнатьевны.

Андрей, денщикъ.

Врачъ.

Почтальонъ.

Рабочіе.

Первыя два дѣйствія и послѣднее происходятъ въ уѣздномъ городкѣ черты осѣдлости, третье—въ пограничномъ городѣ южной Россіи и спустя полгода послѣ второго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Большая низкая комната, раздѣленная занавѣсомъ на двѣ неравныя половины. Правая отъ зрителей, меньшая половина обращена подъ мастерскую-прачечную; имѣетъ въ правой стѣнѣ широкое двухрамное окно, у котораго стоитъ длинный столъ, обитый сверху войлокомъ и обтянутый бѣлой простыней. На немъ лежатъ рубахи, воротники, манжеты для глаженія; тутъ же три желѣзныхъ подставки для утюговъ, чашечки съ кислотой, губки; продолговатыя, закругленныя съ двухъ сторонъ дощечки, на которыхъ разглаживаютъ нагрудники; коробочки съ булавками, костяными палочками и пр. У правой же стѣны стоитъ старинный облѣзлый шкафъ. Въ правомъ углу—широкая докрасна раскаленная плита, на которой нагрѣвается нѣсколько утюговъ. У задней стѣны стоитъ желѣзная кровать, тщательно и со вкусомъ убранная; на стѣнѣ надъ кроватью приклеено нѣсколько лубочныхъ картинъ, вокругъ которыхъ развѣшаны фотографическія карточки. Рядомъ съ кроватью—столикъ; на немъ разставлены коробки изъ-подъ конфетъ, флакончики изъ-подъ духовъ; тутъ же туалетное зеркальце въ деревянной оправѣ, о которую съ обѣихъ сторонъ опираются кабинетныя фотографіи. У занавѣса стоитъ большая корзина. Около гладильнаго стола и кое-гдѣ у стѣнъ стоятъ табуретки.

Лѣвая отъ зрителей, бо́льшая половина—чисто убранная пріемная для посѣтителей прачечной. Въ задней стѣнѣ—дверь въ спальню, въ лѣвой—дверь въ коридоръ, и ближе къ углу—окно. У задней стѣны направо—кушетка и длинный столъ, накрытые бѣлыми простынями; на нихъ разложено бѣлье; налѣво — высокій, упирающійся въ деревянный потолокъ, шкафъ со стеклянными дверцами вверху, откуда виднѣются сверкающіе бѣлизной глаженные рубахи, воротники, манжеты. Въ углу, у окна—небольшой письменный столикъ, два стула; тутъ же висячая этажерка. Между дверью и окномъ на стѣнѣ—висячее зеркало въ желтой рамѣ; вокругъ фотографическія карточки. Ближе къ авансценѣ налѣво — ветхій диванъ. Передъ диваномъ—круглый столъ, накрытый кружевною скатертью; вокругъ два-три стула. Земляной полъ гладко обмазанъ желтой глиной, а по краямъ обведены широкія красныя полосы; вдоль и поперекъ устланы сшитыя изъ лоскутовъ подстилки.

Въ мастерской за гладильнымъ столомъ весело работаютъ Велвлъ и Шейндлъ. Въ пріемной на диванѣ сидитъ Берлъ, вооруженный двумя парами очковъ, наперсткомъ и иглой съ длинной-предлинной ниткой, и сладко дремлетъ надъ заплатой, которую кладетъ на старыя брюки.

Шейндлъ (ловко двигая утюгомъ, поетъ). О-очи че-ерныя, о-очи я-ясныя и-и прекра-асныя-я...

Велвлъ. ...какъ люблю-ю я ва-асъ, какъ бою-юсь я ва-асъ...

Шейндлъ (кокетливо). ...знать, не въ добрый ча-асъ полюби-илъ я ва-асъ.

Велвлъ. Нѣтъ, Шейнделе! Въ добрый, въ добрый часъ! А я таки люблю... м... какъ люблю! (Хочетъ обнять ее.)

Шейндлъ (слабо отстраняя). Отстань! Тоже... на дурняка все... Знаю васъ!

Велвлъ. Ей-Богу! Ну... что хочешь? Куплю! Вотъ... провались я... ну?

Шейндлъ (играя глазками). Ой нѣтъ... ай врешь... Купишь, да?

Велвлъ (ударяя кулакомъ въ грудь). Какъ я еврей! Вотъ... (Обнимаетъ ее.)

Шейндлъ. Тамъ, въ магазинѣ, я видѣла... Знаешь, что одѣваютъ на шею... длинный-длинный... вотъ забыла, какъ называютъ... заграничное слово... а?

Велвлъ. Честное слово!.. вотъ провались я! М...м... (Цѣлуетъ.)

(Изъ коридора доносится говоръ Брохэ и Бейлэ.)

Голосъ Брохэ. Мой Беньемэнъ такъ говорилъ, такъ говорилъ... э!.. я тебѣ говорю, вся синагога просто плакала отъ радости!

Бейлэ (отворяетъ дверь). Ну, хорошо! Что тутъ такое

есть, что? Ну, плакали—такъ что? Большая радость!?

Входятъ. При ихъ появленіи Шейндлъ и Велвлъ отскакиваютъ другъ отъ друга и берутся за утюги.)

Брохэ (въ темномъ ситцевомъ платьѣ; на головѣ темная шаль, изъ-подъ которой виднѣется коричневый платокъ, плотно надвинутый на лобъ; морщинистое лицо озарено счастливой улыбкой). Хм... что я радуюсь, говоритъ она! Я же тебѣ разсказываю: мой Бен...

Бейлэ. „Мой Беньемэнъ, мой Беньемэнъ!“ Ты думаешь, твой Беньемэнъ—такъ это сама мудрость! Беньемэнъ—молодой человѣкъ, какъ всѣ молодые люди, и нечего тебѣ носиться съ нимъ...

(Берлъ было серьезно задремалъ, но голоса Бейлэ и Брохэ разбудили его; онъ вздрагиваетъ, тускло и долго смотритъ поверхъ очковъ и затѣмъ начинаетъ быстро вытягивать длинную нитку.)

Брохэ (горько). Что же ты такъ сердишься... что?

Бейлэ (возится у стола съ бѣльемъ). Не люблю, когда изъ мухи дѣлаютъ цѣлый „тарарамъ“ и говорятъ глупости.

Брохэ. Ты ужъ таки... очень умной стала.

Бейлэ (раздраженно). Чтобы ты это таки знала!

Брохэ (дрогнувшимъ голосомъ). Какъ я еврейская дочь... если бы ты не была моя сестра, я бы сказала, что ты мой первый злѣйшій врагъ...

Бейлэ. Хм... Я бы таки сейчасъ сѣла плакать, какъ ты думаешь? И я тебѣ говорю: люди будутъ смѣяться надъ тобой, когда ты будешь ходить и звонить: „Мой Беньемэнъ! мой Беньемэнъ!“.

(Берлъ снова дремлетъ.)

Брохэ. А, нечего говорить съ тобой! (Направляется къ столу, гдѣ сидитъ Берлъ.) Ты сама не знаешь, что̀ говоришь, и думаешь, что ты умнѣе всѣхъ. Это послѣдняя моя забота, если тебѣ не нравится мой Беньемэнъ!

Дай Богъ мнѣ и всѣмъ евреямъ такой годъ, какъ люди его уважаютъ! (Замѣчаетъ задремавшаго Берла.) Ой, какъ мучится человѣкъ, ну?

Бейлэ (медленно оборачивается, долго смотритъ на задремавшаго Берла). Ой, темная судьба моя! (Громко.) Берлъ! Берлъ!

(Берлъ вздрагиваетъ, бросаетъ быстрый взглядъ поверхъ очковъ и начинаетъ быстро вытягивать уже вытянутую нитку.)

Бейлэ. Положи лучше свои тряпки и иди спать!

Брохэ. И на самомъ дѣлѣ, ребъ Берлъ, успѣете еще свои „трантэсъ“ [1] починить! У вашихъ покупателей все равно нѣтъ еще денегъ.

Берлъ (хрипло). Э.. кто спать, что спать? Хэ... на тебѣ — днемъ спать..! (Борется съ неудержимымъ желаніемъ зѣвнуть.) Кто это днемъ спи... а... кхи... кхи... Воскресенье же база-а-ар...

Бейлэ. Зѣвай! Зѣвай ужъ, Берлъ! Охъ, зѣвай! Все одно ужъ прозѣвали... Всю жизнь прозѣвали...

(Берлъ украдкой зѣвнулъ и поспѣшно шьетъ.)

Брохэ (задумчиво). Надежда на Бога. Еще будетъ радость тоже. Нечего грѣшить. Вотъ Исроэль кончитъ кзаменъ, станетъ кальпемейстеромъ.

Бейлэ. Скажи хоть: капильмейстеромъ! „Кальпемейстеръ, кальпемейстеръ!“

Брохэ. Пусть будетъ, какъ ты говоришь—большая забота!.. Лишь бы понятно. Кончитъ онъ, и всѣ несчастья забудете.

Бейлэ. Да... забудется, забудется...

(Берлъ поспѣшно шьетъ, бросая взгляды поверхъ очковъ.)

Бейлэ. Съ перваго дня моей темной свадьбы... двадцать девять лѣтъ...

---

[1] „Трантэсъ“—тряпье.

Брохэ. Съ Богомъ условій не дѣлаютъ. Значитъ, суждено такъ. Что же будемъ дѣлать? Моя судьба лучше?

Бейлэ. Моя судьба... твоя судьба...

Брохэ. Такъ, какъ тебѣ было прежде въ темномъ Одессѣ, такъ теперь—не согрѣшить...

Бейлэ. Прежде... теперь—теперь... прежде... ох-х...

Брохэ. Владыко вселенной! Всѣ, кто желаетъ мнѣ, тебѣ и всему израилю зла, чтобъ жили такъ, какъ ты жила въ Одессѣ, Отецъ сердечный!

Бейлэ (глотая слезы). Ну... такъ Богъ же далъ мнѣ... благодѣтельницу сестру... Она спасла меня изъ Одессы... Ну да! Ты меня спасла, спасла! Ты вытащила меня изъ грязи и посадила въ царскій дворецъ! Нечего тебѣ напоминать мнѣ Одессу! Я помню, я помню... Ты благодѣтельница! До гроба буду это помнить! До гроба! (Вдругъ съ рыданіями.) Ой, Богъ... Богъ! Когда ужъ я избавлюсь отъ всѣхъ моихъ бѣдствій и отъ благодѣяній сестры? Или... это будетъ вѣчно?.. Господи!..

Брохэ. Всѣ злые сны, все, что должно было быть мнѣ, тебѣ и всему израилю, пусть обрушится на головы моихъ, твоихъ и всего израиля враговъ! Ну? Слышали вы такую исторію, а? Кто говоритъ, что ты мнѣ обязана? Кто говоритъ, что я тебя спасла? Кто говоритъ, что я тебя осчастливила? Ой, Владыко вселенной! Чтобъ я онѣмѣла, чтобъ языкъ мой... если я даже въ мысляхъ... ну? Вы уже слышите, ребъ Берлъ? (Въ слезахъ.) Не можетъ развѣ... душа лопнуть... отъ такихъ словъ а?..

Бейлэ. Сестра, ради Бога, сдѣлай мнѣ еще одно благо! Иди, иди себѣ домой! Я не могу...

Брохэ (утирая шалью набѣгающія слезы). Пусть тебѣ Богъ проститъ... пусть проститъ... (Идетъ къ выходу.) Не ты... не ты это говоришь, это твои бѣдствія говорятъ въ тебѣ... твои бѣдствія... (Отворяетъ дверь,) Ребъ Берлъ, не забудьте зайти взять мѣшокъ картофелю. Я вамъ оставила по собственной цѣнѣ. Хорошій картофель! (Уходитъ.)

Берлъ (долго смотритъ поверхъ очковъ въ спину нервно копошащейся у стола жены). Кх... кх... Зачѣмъ же, Бейлэ, ее обижать? Развѣ она это у насъ... кх... кх... заслуж...

Бейлэ (быстро оборачивается, глаза полны слезъ). Ты? Ты? Ты еще говоришь?! (Рыданія сдавливаютъ горло.) Изъ-за кого... я стра-даю? Изъ-за кого я мучаюсь... всю жизнь? Сгнила я за тобой! Вся, вся я сгнила! (Глухо рыдаетъ.)

(Въ мастерской Велвлъ и Шейндлъ отмѣчаютъ мимикой каждое выраженіе Бейлэ и Берла, тихо прыскаютъ и живо двигаютъ утюгами.)

Бейлэ. Двадцать девять лѣтъ... мучиться... страдать... не знать человѣческой жизни...

Берлъ (глухо). Таки... кхи-кхи... вѣрно! Таки вѣрно... кхи... кхи...

Бейлэ. „Таки вѣрно", „таки вѣрно"... шлиммазлъ [1] темный! Лучше бы я маленькой въ землю провалилась!.. лучше бы меня громъ небесный поразилъ, прежде чѣмъ пошла съ тобой подъ вѣнецъ!

Берлъ Кх... кх..? Кх... кх..?

Бейлэ. „Кхи, кхи!" Всю жизнь свою ты откхикалъ! Иди! Вонъ мѣшокъ картофелю тебѣ оставили! „По собственной цѣнѣ"..! Одолженіе, благодѣяніе тебѣ сдѣлали! Спѣши же, нищій! Ой, Владыко вселенной... Владыко вселенной!..

---

[1] Неудачникъ.

Берлъ. Кх... кх... Это развѣ милостыня? Кх... немножечко дешевле, больше же ничего! Кх... Сестра же она тебѣ.

Бейлэ Вотъ, вотъ гдѣ торчитъ мнѣ моя сестра! Э-э!—попрошайка! Стыда ужъ у тебя нѣтъ!

Берлъ. Ну, ну... кх... кх... не пойду, не пойду! Не буду брать, не буду брать! Ты говоришь, не надо, ну, пусть не надо... кх... кх...

Бейлэ. „Ты говоришь, ты говоришь"! Вѣчно чужимъ умомъ живешь! Всю жизнь другимъ въ глаза смотрѣлъ! Ума не хватаетъ кошкѣ хвостъ связать! Темная, темная моя судьба!

(Берлъ издаетъ глубокій вздохъ, глухо кашляетъ и вóрочаетъ быстро иглой.)

Шейндлъ (шопотомъ къ Велвлу). И задаетъ же она ему перцу!

Велвлъ. А все-таки онъ хорошій человѣкъ, хорошій!

Шейндлъ. Баба онъ,—вотъ что! Такой развѣ долженъ быть мужчина? Здоровый, сильный, строгій, зарабатывать!..—вотъ какой долженъ быть мужчина! (Говорятъ шопотомъ и работаютъ.)

(Изъ коридора доносится пискливый альтъ Ицика: „Сла-авься, сла-авься, нашъ русскій ца-арь"...)

Ицикъ (входитъ, въ рукахъ парусиновая сумка домашняго издѣлія; руки, кончикъ носа, подбородокъ въ чернилахъ). Го-о-спо-домъ да-анный намъ царь-госуда-арь... (Бросаетъ сумку на столикъ.) Мама, ага! Учитель пѣнія меня сегодня похвалилъ, ага! Я лучше всѣхъ пѣлъ, лу-учше всѣхъ! У меня, мама, альтъ, понимаешь? Вотъ слушай: do-re-mi-fa-sol... выходитъ „фасоль"... Ха-ха-ха! (Прыгаетъ.)

Бейлэ (смотритъ на хохочущаго и подпрыгивающаго Ицика, и угнетенное выраженіе лица смѣняется грустной улыбкой). А уроки? Какъ уроки твои пѣли?

Ицикъ (прыгая и широко улыбаясь). Мама, гы-гы-гы... Козлиная борода... гы-гы-гы... сегодня заснулъ на урокѣ. Ученики... гы-гы-гы... сургучомъ... гы-гы-гы... приклеили къ столу его бороду... гы-гы-гы...

Бейлэ. И ты?! И ты?!

Ицикъ (хладнокровно). Я — нѣтъ. Это въ старшемъ классѣ. (Вынимаетъ изъ кармана резиновую игрушку.) Такъ ему и слѣдуетъ... старый козелъ! (Силится оторвать зубами кусочекъ резины.) Пусть не спитъ на урокѣ... козлиный чортъ! (Снова рветъ зубами резину и въ то же время напѣваетъ носомъ „Славься".)

Берлъ (долго смотритъ на Ицика поверхъ очковъ и покачиваетъ укоризненно головой). Нельзя, Ицикъ, на учителя такъ говорить! Онъ учитель. Нельзя...

Ицикъ (занятый игрушкой). Да... учи-итель...—Мама, я хочу кушать!

Бейлэ (снова сортируетъ бѣлье). Не готово еще, Ицикъ, не готово! Возьми, сыночекъ, пока кусочекъ хлѣба.

Ицикъ (скрививъ физіономію). Одинъ хлѣбъ? сухой хлѣбъ?

Бейлэ (грустно улыбаясь). Ну, такъ умакни въ воду.

(Ицикъ хохоча подпрыгнулъ къ шкафу, беретъ оттуда кусокъ хлѣба и, жуя на обѣ щеки, возится съ игрушкой, продолжая напѣвать носомъ „Славься".)

(Входятъ сестры Ида и Клара Дамровы.)

Ида. Здравствуйте, m-me Лейбманъ.

Клара. Фу...: какъ тутъ душно!

Бейлэ. Здравствуйте.—Душно, говорите? Что жъ

будешь дѣлать? (Одновременно бросаетъ на Берла строгій взглядъ.) Сидите!

(Берлъ понялъ; онъ украдкой снимаетъ со стола и откладываетъ въ уголокъ дивана свои портняжныя принадлежности, опускаетъ на колѣна старье и, поглаживая бороду, дѣлаетъ видъ, что ничѣмъ не занятъ.)

(Клара замѣчаетъ взглядъ Бейлэ, переводитъ взоръ на Берла, и на устахъ появляется язвительная улыбка.)

Ида (привѣтливо). Бѣлье, вѣроятно, уже готово, да?

Бейлэ. Уже давно. Возьмете?

Клара. Нѣтъ... мы зашли такъ... узнать только... пришлемъ прислугу...

Бейлэ. Хорошо. Такъ я приготовлю. Сидите!— Ицикъ, дай стулья!

(Ицикъ быстро приноситъ два стула.)

Бейлэ. Сидите! Какъ ваши? Давно уже я не видѣла мамы вашей,—съ прошлаго лѣта. Постарѣла навѣрное, а? Чего же вы не сидите?

Клара. Нѣтъ... мы спѣшимъ... Ну, Ида... идемъ! (Вдругъ.) Ахъ, да... что слышно съ вашимъ... Израилемъ?

Ида. ?..

Бейлэ. Съ Израилемъ?.. Что должно быть слышно? Ничего, слава Богу... Экзамены теперь идутъ. Ждемъ вотъ...

Ида (потупивъ глаза). Если сдастъ, то... сюда пріѣдетъ?

Бейлэ (задумчиво). Я думаю. Навѣрное не знаю. (Грустно.) Теперешнія дѣти... Другимъ, навѣрно, пишутъ по двадцать листовъ... А домой, домой—открытку... два-три слова... Ну, можетъ быть, такъ должно быть, такъ должно быть... (Копошится съ бѣльемъ.) Простынь вы, кажется, дали пять? Есть. Всѣ есть. Да... такъ

что я хотѣла сказать? Пріѣдетъ ли онъ, вы спрашиваете? Скорѣе всего пріѣдетъ. Четыре года мы не видѣлись. Если экзамены его прошли благополучно и... ну, да... задержекъ никакихъ не будетъ, такъ... (Вдругъ лицо ея проясняется.) Кто знаетъ? Можетъ быть, еще сегодняшнимъ поѣздомъ пріѣдетъ. Вѣдь экзамены еще на той недѣлѣ должны были кончиться. А онъ же такой... не любитъ дать знать: рѣшилъ—взялъ сѣлъ и поѣхалъ!.. Вы же его знаете. А скорѣе всего домой поѣдетъ. Четыре года уже не видѣлись... (Вздыхаетъ.)

Клара. Собственно... не важно! Пріѣдетъ, не пріѣдетъ — совсѣмъ не такъ интересно... Да и некуда ему ѣхать, если не домой... Это такъ понятно.

Ида (горько). Совсѣмъ не такъ понятно... Можетъ вѣдь случиться, что онъ изъ Варшавы прямо въ полкъ поступилъ.

Клара (зло расхохотавшись). Какая же ты однако... ха-ха... Уже и поступилъ! Полкъ, сестрица, найти— это не старыя вещи покупать и не прачечную открыть... Годы могутъ пройти! Уже и поступилъ!.. ха-ха...

Бейлэ (глухо). Надежда на Бога... Пусть только экзаменъ благополучно сойдетъ, а мѣсто ужъ найдется... Вездѣ нуженъ хорошій капильмейстеръ... (Вдругъ къ Идѣ.) А вы развѣ не имѣете отъ него писемъ?

Клара (поспѣшно). О, когда ему ѣсть нечего было, онъ писалъ часто!..

Ида (сдвинувъ брови). Ахъ, Клара, и совсѣмъ не потому онъ пересталъ писать...

Бейлэ (рѣзко). Израиль вашего не захочетъ! И

если онъ вамъ кое-что долженъ, такъ отдастъ! Да, отдастъ! И напрасно вы такъ...

Ида (мягко). Нѣтъ, нѣтъ, m-me Лейбманъ! Совсѣмъ не деньги. Мы просто такъ... повздорили немного въ письмахъ... ничего особеннаго... вздоръ глупости.

Клара. Я люблю правду въ глаза говорить! Пусть пріѣдетъ, и ему это скажу! Онъ возгордился, что скоро одѣнетъ шпагу и погоны, и уже заранѣе задралъ носъ! Такъ не дѣлаетъ честный человѣкъ!

Бейлэ (подбородокъ подпрыгиваетъ отъ внутренняго волненія). Я вижу, вы не за бѣльемъ пришли, а оскорблять меня...

(Мирлъ съ книгами въ рукахъ, въ гимназической формѣ, быстро входитъ.)

Бейлэ. Но я вамъ не позволю!.. Слышите?.. не позволю себя оскорблять!

Мирлъ (отложивъ книги на столикъ). Мама, что такое? (Смотритъ на посѣтительницъ.)

Бейлэ. Да! Я прачка! Прачка для всякаго и каждаго! Потому что хочу честнымъ трудомъ дать дѣтямъ возможность выйти въ люди! Но это не даетъ вамъ права меня оскорблять!

Мирлъ. Мама, успокойся... (Къ посѣтительницамъ.) Что вамъ нужно?

Клара (горделиво повернувшись). Идемъ, Ида! Ф-фу, какой тяжелый воздухъ... старымъ тряпьемъ такъ и несетъ!..

Мирлъ (вздрогнувъ). Фи... мер...зость! (Грозно.) Уходите! Уходите отсюда! Ухо-ди-те!

Бейлэ (поблѣднѣвъ, не своимъ голосомъ). В-во...нъ! подлая!..

(Шейндлъ и Велвлъ давно уже насторожились. Теперь бросаются къ прорѣзу занавѣса и украдкой заглядываютъ въ пріемную.)

Мирлъ. Мама... ради Бога... Съ кѣмъ ты говоришь?! Не надо... не надо!—Ради Бога, ухо-ди-те!

Бейлэ (дико). Ма-аршъ отсюда! Ма-аршъ! (Топаетъ ногами.)

Ида (бросается къ Бейлэ). Милая... дорогая... это недоразумѣніе...

(Клара, гордо поднявъ голову, смотритъ презрительно на всѣхъ.)

Ида. Она не думала... Клара, извинись, извинись!..

Клара. Х-ха-ха-ха... Извиняться?! Х-ха-ха-ха... А чтобъ васъ, голодранцы паршивые! (Хлопнувъ дверью, исчезаетъ.)

(Минутное молчаніе.)

Ида (смущенно бормочетъ). Я... я... не... виновата! Я... прошу за нее прощенія... (Хватаетъ Мирлъ за руки.) Голубушка... поймите хоть вы меня! Убѣдите всѣхъ, всѣхъ, что я тутъ ни при чемъ... Пусть, пусть Израиль объ этомъ не знаетъ... пусть не знаетъ... Я сама отъ нихъ страдаю... Поймите меня... (Скрываетъ свое лицо у нея на груди.)

Мирлъ. Хорошо. Успокойтесь. Я васъ понимаю. Израиль этого не будетъ знать.

Бейлэ (злобно). Нѣтъ, будетъ! Все будетъ знать! Все! Не смѣйте думать объ Израилѣ, не смѣйте! Не для того я прачкой стала, чтобы Израиль попалъ въ вашъ домъ, въ этотъ адъ кромѣшный!

Ида. Вы... вы не понимаете меня!.. Не втащить его въ нашъ адъ я хочу, а чтобы онъ меня... понимаете?.. меня изъ этого содома спасъ... Простите... Поступайте, какъ хотите... Только одна-единственная просьба: говорите правду... одну правду! И еще...

скажите ему, что то роковое письмо не я писала! Меня заставили его писать! Заставили! Больше ничего... ничего... Прощайте! (Идетъ къ выходу.)

Мирлъ (порывисто подходитъ къ ней и обнимаетъ). Славная вы! Будьте совершенно спокойны. Я буду вашей защитницей... я! Я буду говорить съ Израилемъ. И онъ васъ пойметъ и оправдаетъ.

Ида. Благодарю... благодарю... Хорошая вы моя! (Крѣпко обнимаются.) До свиданія! (Уходитъ.)

Берлъ (взволнованно снимаетъ очки и вытираетъ рукавомъ влажные глаза.) Ох-хо-хо! Золотое дитя! Золотое дитя!.. Владыко вселенной! Владыко вселенной! О-ох-х... (Снова одѣваетъ очки.)

(Мирлъ, заложивъ руки за голову, глубоко задумывается. Бейлэ, тяжело дыша, мрачно молчитъ; въ глазахъ зловѣщій огонекъ; она нервно перебираетъ бѣлье и сортируетъ.)

(Общее тяжелое молчаніе.)

Шейндлъ (задумчиво гладитъ). Какъ жалко ее... эту дѣвушку! Какая ученая... а тоже страдаетъ...

Велвлъ. И злюка же та... сестра ея! У-у! Такъ бы въ зубы ей—рразъ! А потомъ за волосы... Честное слово!

Шейндлъ. А двѣ сестры... Непонятно. Одна — ангелъ... Другая—чортъ...

Велвлъ. Хуже чорта!..

Шейндлъ. Не понимаю, почему это...

Велвлъ. Вотъ у русскихъ есть для этого хорошая пословица... вотъ забылъ... гм... гм... забылъ... На языкѣ только что было, а забылъ...

Шейндлъ. Должно быть, кто-нибудь проклялъ ихъ домъ... Всѣ повыкрещиваются у нихъ... Уже двѣ сестры крестились—нѣтъ, три! Съ горя, видно, повыкрещиваются... Эта тоже съ горя, должно быть, злая...

Велвлъ. А то просто съ жиру бѣсятся! Они же не нашъ братъ... Поработалъ—поѣлъ, а нѣтъ — сдыхай съ голоду... Собственный домъ у нихъ и все такое... Они—не нашъ братъ. Да-а... Съ жиру!..

(Молча работаютъ.)

Ицикъ (все время широко смотрѣлъ на происходившую сцену. Теперь переводитъ не по-дѣтски серьезный взоръ на старшихъ, чешетъ затылокъ). Ишь, стерва... А я ей еще стулъ поднесъ! Пусть только еще разъ придетъ... Я ее, мама, выгоню!

Мирлъ (задумчиво улыбнулась). Это кого ты выгонишь?

Ицикъ (мрачно насупившись). Знаю уже... Вотъ увидишь. Возьму и выгоню. Такъ прямо и скажу: „пошла ты, вѣдьма, къ чорту!"—вотъ что. Какіе мы голодранцы? Сама она такая! (Сжимая кулачки.) Я ей дамъ... Пусть только придетъ..!

Мирлъ (обнимаетъ его). Какой же ты однако... Не знала. Дай поцѣлую тебя! (Цѣлуетъ.) Шалунъ, шалунъ—и вдругъ...

Ицикъ. Ай, иди! А ее я выгоню! Вотъ посмотришь! Въ три шеи, чортову вѣдьму! (Отходитъ къ скамеечкѣ у занавѣса, садится и доѣдаетъ кусокъ хлѣба.)

(Мирлъ медленно расхаживаетъ по комнатѣ. Она все глубже и глубже задумывается.)

Бейлэ (глухо). „Золотое дитя, золотое дитя"... Яблочко падаетъ недалеко отъ деревца... Родня! Крещеный на крещеномъ... А чтобъ они не дождались! Развѣ умру...

Мирлъ (не поднимая головы). Ида тутъ ни при чемъ. Она—славная дѣвушка.

Бейлэ (съ крикомъ). Разсказывай мнѣ басни! Учить меня будешь... нѣтъ?

Мирлъ (спокойно). Не кричи такъ. Я не глуха.

Бейлэ. Глупа ты! На тебѣ грошъ за всю твою гимназію! Тамъ, съ демократками, ты—цѣлый цобэ... А тутъ не вмѣшивайся! „Я буду вашей защитницей!“ Защитница нашлась! Молоко еще на губахъ не обсохло! За-щит-ни-ца!

Мирлъ (затыкая уши). Оставь... Оставь меня въ покоѣ! Оставь... (Быстро уходитъ въ спальню, сильно хлопнувъ дверью.)

(Бирлъ издаетъ глубокій, протяжный вздохъ и ниже наклоняется надъ заплатой.)

Бейлэ. Ой, Владыко вселенной! Когда уже я избавлюсь отъ моей темной жизни?! (Утираетъ фартукомъ слезы.)

(Шейндлъ и Велвлъ все время перешептывались, видно, о происходящемъ въ пріемной. Велвла, очевидно, очень занимаютъ остроумныя замѣчанія Шейндлъ. Онъ часто похлопываетъ ее по плечу и щупаетъ щечку. Шейндлъ кокетливо увертывается и продолжаетъ шептать. Теперь она что-то ищетъ. Она подходитъ къ занавѣсу и просовываетъ голову.)

Шейндлъ. А гдѣ крахмалъ, Бейлэ?

Бейлэ. Тамъ... Въ шкафу. Наверху.

(Шейндлъ скрывается въ мастерскую. Идетъ къ шкафу. Велвлъ преграждаетъ ей путь и хочетъ обнять. Шейндлъ шаловливо увертывается, но Велвлъ овладѣваетъ ею и беззвучно цѣлуетъ. Она старается освободиться. Ицикъ смотритъ сквозь прорѣзъ въ мастерскую и, наблюдая за цѣлующимися, широко улыбается.)

Бейлэ (раскрываетъ квитанціонную книгу). Ицикъ! (Постепенно оборачивается.) Возьми, сыночекъ, напиши...—Что ты такъ улыбаешься?

Ицикъ (шопотомъ). Гы... гы... цѣлуются... гы... гы... гы... (Тихо подпрыгиваетъ.)

(Бейлэ, сдвинувъ брови, рѣзкимъ движеніемъ руки велитъ уйти отъ занавѣса. Ицикъ неохотно повинуется, отступаетъ медленно отъ занавѣса и, глядя матери въ глаза, продолжаетъ улыбаться.)

Бейлэ (подходитъ на цыпочкахъ къ прорѣзу занавѣса и съ минуту смотритъ. Укоризненно покачивая головой, отходитъ; громко). Нашли крахмалъ, Шейндлъ?

Шейндлъ (быстро вырывается изъ рукъ Велвла). Да! да!.. нашла!

(Ицикъ тихо подпрыгиваетъ и зажимаетъ ротъ ладонью.)

Бейлэ. Велвлъ! приготовьте мнѣ тамъ одну изъ рубахъ доктора. Пойду сейчасъ гладить.

Велвлъ (хрипло). Сейчасъ.

Шейндлъ (достаетъ крахмалъ, разводитъ въ чашкѣ. Тихо). Чтобъ завтра мнѣ было куплено, слышишь?

Велвлъ. Честное слово!.. Я не буду лгать.

Шейндлъ. Ну, посмотримъ!

Велвлъ. Не понимаешь ты меня, Шейндлъ... Эхъ... не понимаешь!

(Шейндлъ, пользуясь тѣмъ, что Велвлъ опустилъ голову надъ утюгомъ, строитъ ему рожу.)

Бейлэ (Ицику). Вотъ здѣсь, по книгѣ, напиши счетикъ и сосчитай, сколько слѣдуетъ. (Оправляется; утираетъ насухо глаза фартукомъ.)

(Ицикъ садится на краешекъ кушетки у кончика стола и, азартно почесывая то за ухомъ, то затылокъ, пишетъ счетъ, ворочая въ то же время языкомъ по движенію пера.)

Бейлэ (входитъ въ мастерскую). Живѣе, живѣе, дѣти! День не стоитъ, а вы своихъ партій еще не сдѣлали. За бѣльемъ придутъ—и непріятности выйдутъ и денегъ не будетъ!

Шейндлъ. А денежки такъ нужны, Бейлэню, страсть! У меня даже есть пѣсенка такая. (Начинаетъ пѣть звонкимъ груднымъ альтомъ.)

Ахъ... и денежки, вы денежки, вы милыя мои-и...
Ахъ... и гдѣ же мнѣ васъ, денежекъ-голубушекъ,
доста-ать!

Велвлъ (поддерживая, вмѣстѣ).

А денежки такъ надобны—безъ денегъ ни-ни-ни-и...
Ни солнышка, ни воздуха—въ темницѣ пропада-ать!

(Повторяютъ нѣсколько разъ послѣднія фразы и живо двигаютъ утюгами.)

(Входитъ хозяинъ квартиры: великороссъ, гигантскаго тѣлосложенія, въ суконной чумаркѣ, смазныхъ сапогахъ, плисовой шапкѣ. Волосы на головѣ подстрижены въ скобку; лицо мясистое, красноватое; большіе сѣрые глаза съ нависшими густыми бровями; носъ широкій, вздернутый; усы и борода—рыжіе, щетинистые.)

Хозяинъ (снявъ шапку). Богъ на помочь, Берка!

Берлъ. Э... э... Здравствуйте! (Привставъ.) Здравствуйте, хозяинъ! Э... сидите, хозяинъ; э... э... сидите!

Хозяинъ (развязно). Сидѣть-то, Берка, некогда! Чай, знаешь, время—ента капиталъ. Да! Я вотъ насчетъ хфатерныхъ, Берка...

Берлъ (безпокойно). Э... да, да... За два мѣсяца... э... такъ, такъ... (Придвигаетъ къ нему стулъ.) Сидите, хозяинъ! Э... вотъ... э... видите? У меня э... бѣлье все еще э... лежитъ себѣ... Да... въ стирку, хозяинъ, э... даютъ, а приходится взять, такъ вотъ видите, э... лежитъ себѣ, э... и лежитъ, да!

Хозяинъ. Ента дѣло не мое. Мнѣ что слѣдъ—плати! А нѣтъ, очищай хфатеру. Дѣло ясное.

Берлъ. Хе-хе... Любите, хозяинъ, шутить, хе-хе... Сидите, хозяинъ! Э... сидите!

Хозяинъ. Чаво шутить? Н-нѣтъ, я, братъ, сурьезно! Али плати, али очищай! Дѣло ясное.

Бейлэ (чутко прислушивается къ разговору въ пріемной. Тяжело вздохнувъ, она ставитъ утюгъ на подставку и входитъ въ пріемную). Здравствуйте, хозяинъ! Только думала зайти

къ вамъ... Сидите! Хотѣла зайти попросить васъ, чтобъ подождали денька два-три. (Садится.) Повѣрите, хозяинъ, на цѣлыхъ двадцать рублей лежитъ бѣлья. Каждую минуту могутъ притти, и деньги посыплются... Такъ вы ужъ, хозяинъ, подождите!

Хозяинъ. Да ждать-то, Борисовна, несуразно, поняла? Хфатера вѣдь—золото, одно слово! Пороги отбиваютъ—ждутъ, авось очистится! И на два рубля въ мѣсяцъ дороже даютъ и деньги впередъ...

Ицикъ (отрываясь отъ счетика). Мама, около нашего класса я видѣлъ, хоро-ошая квартира!.. близко, около самаго класса... „Отдаэтся въ наемъ", написано. Хоро-ошая, прелесть! Крашеные полы, а на потолкѣ кругъ такой съ крючкомъ... И близко-близко: вотъ квартира—вотъ классъ...

Хозяинъ. Ну и съ Богомъ! Чаво жъ? А у насъ и ентотъ земляной въ дѣло пойдетъ, и крюковъ не надоть!

Бейлэ (къ Ицику). Ты сиди и молчи!..—Вотъ слушайте его, что болтаетъ... Нѣтъ, правда, хозяинъ, ужъ подождите немного... Вотъ сынъ скоро пріѣдетъ—на военнаго капильмейстера экзаменъ держитъ—да!.. Развѣ мы ваши деньги желаемъ?

Хозяинъ. Да мнѣ отъ ентаго прибыли мало—военный али не военный... (Поводитъ плечами.) И чудной вы народъ, какъ погляжу, ей-Богу! (Миръ показывается у дверей спальни останавливается у порога, глядя исподлобья на размахивающаго руками хозяина.) За хватеру ужъ другой мѣсяцъ не платите, а дочка-отъ въ гимназію ходитъ, сынъ на военнаго тамъ...—Какой порядокъ! По-нашему, по-русскому, значитъ, ра-бо-тай!—одно слово—и шабашъ! Нечего тутъ фордыбачиться!

Мирлъ. И вы тоже поменьше расходитесь! Заплатятъ вамъ. И нечего указывать, учиться или не учиться! Васъ не спрашиваютъ!

Хозяинъ. А коли не спрашиватъ, такъ—ма-аршъ изъ хфатеры!.. Ишь ты фуфыренная! Гимназистка... образованная!

Бейлэ. Чего жъ вы такъ ругаетесь, хозяинъ?— Сто рублей должны, что ли?

Берлъ (блѣднѣя, приподнимается). И... и ругаться не имѣете... п-права!... и... и... кричать не имѣете права!.. да!

(Мирлъ ошеломлена всѣмъ происходящимъ; она растерянно смотритъ на всѣхъ.)

(Велвлъ и Шейндлъ бросаются къ прорѣзу занавѣса и просовываютъ головы.)

Хозяинъ (бросая исподлобья взгляды на мастеровыхъ). Чаво ругаться?! Я дѣло говорю!.. Очищай хфатеру— вотъ те и весь сказъ!..

(Входитъ Беньемэнъ. Изъ-подъ широкихъ полей поярковой шляпы выглядываютъ черные волнистые локоны. Тужурка разстегнута. Синяя сатиновая рубаха-косоворотка подпоясана шелковымъ шнуркомъ. Брюки внизу сильно обтрепаны. Обувь порыжѣвшая.)

Беньемэнъ (изумленно озираетъ всѣ лица). Въ чемъ дѣло? Что за крикъ?

Бейлэ (дрогнувшимъ голосомъ). Тетя твоя — бѣдная, такъ всякій и каждый... вотъ и топчетъ ее... ногами.

Хозяинъ. Ты, Борисовна, зря не говори! Я честь-честью пришелъ — хфатерныхъ прошу! (Къ Беньемэну.) Али я своей хфатерѣ не хозяинъ?

Беньемэнъ (сдвигая брови). У васъ не бродяги живутъ, а люди! Можно и повременить! Чего жъ скандалы затѣвать?

Хозяинъ. И никакого скандалу тутъ и въ поминѣ нѣтъ, а хфатера—мой доходъ! Н-да...

Беньемэнъ. Ну, будетъ. Сколько вамъ слѣдуетъ?

Хозяинъ. Чай, не алтынъ... А цѣлыхъ двѣнадцать рублевъ!

(Беньемэнъ нервно достаетъ маленькій кошелекъ.)

Мирлъ (подбѣжала къ Беньемэну). Не надо!..—Я завтра вамъ занесу! Слышите? Я занесу вамъ деньги. И... идите! Идите себѣ съ Богомъ!

Хозяинъ. Это, значитъ, меня изъ моего собственнаго дому—и гнать?

Бейлэ. Ну, чего вы пристаете, хозяинъ? Кто гонитъ? Завтра вамъ деньги занесутъ—вотъ и все. Зачѣмъ же вы дѣлаете скандалъ?

Хозяинъ. Ты, Борисовна, постой! Я не глухой. „Ступайте!“ — говоритъ твоя дочка. Деньги занесетъ! А что деньги? Деньги — тьфу! Человѣкъ — вотъ деньги! Меня деньгами не откупишь! Я у себя въ дому. Собственный, значитъ. Чего же тыкать мнѣ въ носъ-то. „Ступай!“ Захочу—пойду! А не захочу, деньгами не выпроводишь! Вотъ что... Да ладно. (Одѣваетъ шапку и направляется къ дверямъ. У порога останавливается и смотритъ въ упоръ на Мирлъ.) А лаяться, мамзель, не слѣдъ... Развѣ въ гимназіи тому васъ учатъ? Ласковость да почтительность — вотъ въ чемъ суть ученья... — Ну, хорошо. Такъ, значитъ, завтра?.. Ладно, посмотримъ. (Уходитъ.)

(Мастеровые берутся снова за утюги и тихо разговариваютъ.)

Бейлэ. Она должна свой языкъ всюду и вездѣ вмѣшивать! Безъ нея не обошлись бы! Лежала ты тамъ въ спальнѣ,—лежи! Какой чортъ тебя оттуда таскалъ?

(Мирлъ устремляетъ острый взглядъ на мать и молчитъ.)

Беньемэнъ. Будетъ, тетя... Ну, къ чему?

Бейлэ. Слушай, Беньемэнъ! Я тебѣ въ глаза скажу—можешь на меня обижаться и не обижаться:—ты ее портишь! Ты дѣлаешь изъ нея цѣлую философку, а она—она думаетъ, что нѣтъ уже ни старше ея, ни умнѣе ея,—она все!

Беньемэнъ. Сами оскорбляете свою дочь. А зачѣмъ? Она не ребенокъ. И дѣлаетъ то, что подсказываетъ ей ея собственный разумъ, сознаніе, а не то, что ей велятъ, указываютъ.

Мирлъ (со стономъ). Беньемэнъ, оставь...

Бейлэ. Конечно! Съ вами играютъ ангелы! Какъ только вы вылѣзаете изъ пеленокъ, такъ вы... о! вы умные, образованные, великіе люди! Шутка, хм... гимназія, книги, философія... Но я тебѣ на ухо скажу: что̀ вамъ еще недостаетъ, чтобъ мнѣ добавилось...

Беньемэнъ. Что жъ... Это было бы недурно... Она имѣла бы очень умную маменьку, а я—не менѣе умную тетеньку...

Берлъ. Хе-хе-хе... Ай, Беньемэнъ! Хе-хе-хе...

Бейлэ (зло). Что ты расхихикался, что? У-у... старая, старая лошадь! Вотъ изъ-за такихъ, какъ ты, нѣтъ никакого уваженія отъ молодыхъ... (Къ Беньемэну.) А твоя мама—тоже Божья коровка! „Мой Беньемэнъ! Мой Беньемэнъ!“ Просто вотъ такую голову она дѣлаетъ своимъ Беньемэномъ... Гдѣ бы она ни ходила, съ кѣмъ бы она ни говорила, одинъ разговоръ у нея: „мой Беньемэнъ говоритъ то, мой Беньемэнъ говоритъ это“...

Беньемэнъ. А вы, конечно, очень недовольны этимъ..?

Бейлэ. Ну, какъ ты говоришь? Это для тебя очень красиво?

Беньемэнъ. А я вотъ что скажу: недобрый вы человѣкъ, тетя! Хотя вы и умная женщина, но... сердце у васъ — какъ вамъ сказать?—отъ горя ли, заботъ, страданій... но черствое оно у васъ. Вотъ говорите вы про маму, что хвалитъ она меня, то, другое... Вамъ это противно. Почему? Потому что у васъ одинъ только умъ разсуждаетъ, а сердце молчитъ. Спросили бы вы себя, тетя, почему она это говоритъ? Что заставляетъ ее это говорить? И сердце бы вамъ подсказало. Вы бы поняли, что у мамы душа болитъ... Что настоящей, дѣйствительной радости у нея нѣтъ и никогда не было. Такъ вотъ и создаетъ она себѣ что-то похожее на радость, похожее на счастье. Поймите, тетя, что человѣкъ не въ силахъ вѣчно чувствовать одно лишь горе! Онъ хочетъ радости! Радости жаждетъ человѣкъ. И если нѣтъ у него настоящей радости, онъ создаетъ себѣ иллюзію, это значитъ— что-то похожее на радость. Такъ и мама.

(Беньемэнъ глубоко задумывается. Бейлэ задумчиво уставила глаза на его опущенную голову; Мирлъ прислонилась къ окну и смотритъ куда-то вдаль, въ одну точку; Берлъ глубоко и протяжно вздыхаетъ и покачиваетъ головой.)

(Общее задумчивое молчаніе.)

Велвлъ (складываетъ выглаженную рубаху; вздыхаетъ). А развѣ онъ не правъ, Шейнделе? Человѣкъ долженъ имѣть радость... Безъ радости человѣку трудно жить...

Шейндлъ (вздохнула). Я радости еще въ жизни не имѣла... Мать умерла, когда мнѣ было всего два года... Отецъ раньше еще пропалъ безъ вѣсти... въ Америку, говорятъ, уѣхалъ и бросилъ мать... Ласки родительской не помню... У чужихъ вывалялась...

Всякій и каждый ни за что, ни про что билъ насъ... меня и брата...—Онъ служитъ теперь въ солдатахъ... И первая льгота—и служитъ...—Отъ всякаго терпѣли... Кто только имѣлъ Бога въ сердцѣ, тотъ и билъ насъ... гналъ... ругалъ... (Тихо утираетъ слезы.)

Велвлъ (обнимаетъ ее). Не надо, Шейнделе... милая! душечка! Не надо плакать... Какъ я еврей!—мы обвѣнчаемся, Шейнделе... И у насъ будетъ радость... Откроемъ собственную мастерскую, будемъ жить и работать... Да, Шейнделе? У насъ будетъ радость...

Шейндлъ. Будетъ, Велвлъ... довольно!.. Мнѣ трудно теперь... цѣловаться... труд-но! (Идетъ къ плитѣ, мѣняетъ утюгъ и снова гладитъ вяло, безжизненно.)

(Велвлъ берется машинально за утюгъ; взоръ его блуждаетъ.)

Бейлэ (вздохнула). Ну, сынъ остается сыномъ... Какъ будто я не хочу ей радости... Она же мнѣ сестра! Я только...

(Входитъ Гершъ-старьевщикъ. Бейлэ сразу обрываетъ.)

Гершъ (еще по ту сторону порога). Ломайте печь! ребъ Гершъ идетъ!.. (Входитъ; на лѣвомъ плечѣ старыя вещи; въ рукахъ длинная, тощая палка, имѣющая странное сходство съ нимъ самимъ; черный суконный картузъ сзади сильно засаленъ; длиннополый кафтанъ разстегнутъ; изъ-подъ жилета выглядываетъ кончикъ ремня.) О, какъ я еврей!.. хе-хе... онъ таки дома!.. Богъ на помощь, евреи!

(Беньемэнъ киваетъ ему головой, подходитъ къ письменному столику и начинаетъ бесѣдовать съ Мирлъ.)

Берлъ. Хе... Сиди, Гершъ!

Гершъ (ставитъ въ уголокъ возлѣ дивана свою палку; весело). И будемъ себѣ сидѣть, и будемъ себѣ стоять, и будемъ себѣ бѣжать, и даже, назло врагамъ израиля, будемъ себѣ жить! Хе... Еврей все долженъ умѣть! Все! (Ищетъ мѣста, гдѣ бы поудобнѣе сѣсть.)

Беньемэнъ (тихо). И молчать тоже не слѣдуетъ. Надо убѣдить, доказать.

Мирлъ. А если нельзя убѣдить и всѣ доказательства безполезны? Впрочемъ, оставимъ... Видишь? Прислушивается...

Бейлэ (замѣтно прислушивалась къ ихъ разговору. Послѣднія слова Мирлъ заставляютъ ее вздрогнуть. Она дѣлаетъ видъ, что всецѣло поглощена Гершомъ, который усаживается на диванъ). Вы таки, ребъ Гершъ, какъ я вижу, хорошо умѣете жить: стали еще немного длиннѣе, а лицо еще чернѣе...

Гершъ. Вы это таки хорошо сказали, Бейлэ! Когда еврей становится только немножко худѣе и длиннѣе, а лицо, къ примѣру, какъ у меня, только немножечко чернѣе, такъ еще слава Богу!

Беньемэнъ (улыбаясь). Это почему, ребъ Гершъ?

Гершъ (приподнявъ брови). Чтобы вы, Беньемэнъ, спрашивали „почему", такъ это меня таки удивляетъ! (Характерно поводитъ головой.) Но... я знаю?—можетъ быть, вы себѣ это спрашиваете такъ... знаетъ ли Гершъ почему?.. Такъ Гершъ вамъ скажетъ (слегка съ напѣвомъ): потому, что когда еврей три раза въ день не умираетъ, такъ это чудо Господне! (Достаетъ табакерку съ нюхательнымъ табакомъ.) А я таки васъ, Беньемэнъ, тоже хотѣлъ видѣть. И когда я шелъ сюда, признаться, вспомнилъ и о васъ... (Втягиваетъ въ носъ табакъ.) Эхе-хе... Жаль, что не вспомнилъ и о Мойшіахѣ [1]... Можетъ быть, и его бы встрѣтилъ... Охо-хо... А пора, пора бы ему ужъ явиться, пора! Евреевъ скоро не будетъ...

Бейлэ. Не безпокойтесь, ребъ Гершъ! Чего-чего,

---

[1] Мессія.

а этого добра хватитъ... Мойшіахъ еще будетъ имѣть и горькое и соленое отъ нашихъ евреевъ! (Смѣется.)

(Мирлъ ходитъ задумчиво по комнатѣ; при послѣднихъ словахъ матери она морщится и незамѣтно уходитъ въ мастерскую. Мастеровые радостно привѣтствуютъ ее. Лицо Мирлъ проясняется. Она бесѣдуетъ съ ними. Они работаютъ.)

Беньемэнъ. На что же я вамъ нуженъ, ребъ Гершъ?

Гершъ. На что вы нужны? Пхе... тоже вопросъ! Я же еврей, слава Богу,—нѣтъ? Значитъ, Мойшіахъ мнѣ такъ же нуженъ, какъ всѣмъ евреямъ! А кто приведетъ Мойшіаха, если не вы, Беньемэнъ? Такая работа не для насъ, старыхъ, измученныхъ евреевъ, не для насъ! Охъ, трудная это работа, трудная! Вотъ такіе, какъ вы, Беньемэнъ, это совсѣмъ другой товаръ! (Задумчиво.) Но... и на васъ, молодыхъ, надежда плоха... Мы, старые, не можемъ: имѣемъ дома кучу голодныхъ дѣтей, три раза въ день умирающую жену... А вы, молодые, лѣзете въ „ихъ“ дѣла, вмѣшиваетесь въ „ихъ“ политику... И что изъ этого выйдетъ, одному Всевышнему извѣстно... Ох-хо-хо... Пло-хо!..

(Молчаніе.)

Мирлъ (ласково). Нѣтъ, Шейндлъ, не вѣрно. Я, вы, Велвлъ, Беньемэнъ—всѣ мы равные люди! Мы должны жить дружно, помогать другъ другу. Я—такая же нищая, какъ вы, Беньемэнъ, какъ Велвлъ. Мы — про-ле-та-ріи. У насъ ничего нѣтъ. Вотъ мы и объединяемся. Стараемся понять другъ друга. Если вы понимаете больше меня, вы обязаны дать и мнѣ понять! Если я знаю больше васъ, я должна васъ научить. Такимъ образомъ всѣ неимущіе, всѣ страдающіе объединятся въ одну общую тѣсную семью, и

тогда мы будемъ хозяевами жизни! Мы уничтожимъ неравенство, эксплоатацію, національную вражду— все, что дѣлаетъ жизнь несносной, противной, нелѣпой!

Велвлъ (угрюмо). Никогда этого не будетъ... Всегда были бѣдные и вѣчно будутъ бѣдные.

Шейндлъ. Ты много понимаешь? Ничего ты не понимаешь!

Мирлъ. Ну, зачѣмъ вы такъ оба говорите? Нехорошо. Вотъ послушайте, Велвлъ... (Продолжаетъ говорить вполголоса.)

Бейлэ (вздохнувъ). Можно отъ нихъ многое ждать, отъ этихъ молодыхъ... Горести, печали — вотъ что имѣемъ отъ нихъ... Мойшіаха они вамъ приведутъ! Погромы приведутъ они, а не Мойшіаха... И какъ это таки можно терпѣть, какъ? Собираются какіе-то мальчишки, дѣвчонки, какіе-то портнихи, сапожники—чортъ знаетъ что!—и начинаютъ всѣмъ указывать! Гдѣ это слыхано? Министры у нихъ—воры, мошенники, грабители... дѣлаютъ крикъ, шумъ по улицамъ—на тебѣ денстраціи, стачки... ну? Правду сказать, „они“ еще ангелы, честное мое слово, ангелы! Вы въ голусѣ? — такъ лежите въ землѣ и молчите, онѣмѣйте! Не лѣзьте, куда васъ не просятъ! Такъ мы же ученые, образованные — мы демократы! Мы все понимаемъ!.. Мы... мы... мы..! Шутка ли!

Беньемэнъ. И за вашу защиту вы, тетя, получите такую же нагайку и пьяный кулакъ, какъ мы за наше обвиненіе... И что за охота вамъ защищать убійцъ и грабителей...

Гершъ. То, что они, молодые, правы, этого нельзя

отрицать! И я вамъ говорю, какъ честный еврей, будь я немного моложе, я пошелъ бы въ ихъ компанію! Между нами говоря, можно развѣ переносить все хладнокровно? Это же выше силъ! Не даютъ головы поднять!.. Но... что тутъ много говорить... Мы лежимъ глубоко-глубоко въ землѣ... Ох-хо-хо...

Бейлэ. Ждите, ждите, покуда они вамъ приведутъ Мойшіаха... Вы уже будете имѣть хорошаго Мойшіаха. Это будетъ Мойшіахъ въ цилиндрѣ, съ голой мордой и папиросой въ субботу... Нравится вамъ такой Мойшіахъ, ребъ Гершъ? (Смѣется.)

Гершъ. Э, видите, пусть это будетъ моя последняя забота: съ моей стороны, пусть онъ не только ходитъ съ голой мордой, пусть даже свинью держитъ во рту...

Берлъ Хе-ха-хе... Ай, Гершъ! хе-хе...

Гершъ (жестикулируетъ). Чтобъ оно меня даже начало тревожить—ни капли! Намъ, евреямъ, нуженъ Мойшіахъ! Съ бородой или безъ бороды, съ папиросой въ субботу или... какое намъ дѣло? лишь бы это былъ на-сто-я-щій Мойшіахъ! Пусть евреи перестанутъ страдать!..—Вы улыбаетесь, Беньемэнъ? Старый Гершъ, можетъ быть, не правъ, а?

Беньемэнъ. Нѣтъ, ребъ Гершъ! ха-ха... Вы правы, очень правы... ха-ха...

Гершъ (втянувъ въ носъ значительную дозу табаку). Спасибо за доброе сл... а-чхи! а-чхи! а-чхи!.. за доброе слово! (Азартно утираетъ носъ и усы краснымъ платкомъ.) А вы, Беньемэнъ, опять говорили рѣчь въ синагогѣ? Хорошо говорили, разсказываютъ.

Берлъ (всматривается въ старыя вещи на плечѣ Герша). Ты еще не продалъ ту покупку, Гершъ?

Гершъ. Когда я не продалъ, а другой продалъ,— такъ еще тоже не равно... Между нами говоря, это таки трантэсъ-шебитрантэсъ [1], но—эт!—голыхъ, слава Богу, много! Придетъ и на нихъ огонь...—Такъ что же вы говорили, Беньемэнъ?

Бейлэ (идя въ мастерскую). Онъ говорилъ, ребъ Гершъ, что должно быть все новое: и новое государство, и новые евреи и... новыя вещи... такъ что вамъ, старьевщикамъ, придется остаться въ голусѣ, ха-ха-ха... (Смѣясь, уходитъ въ мастерскую.)

Мирлъ (при ея появленіи перестаетъ говорить, поднимается). Я передамъ Беньемэну, онъ ужъ вамъ, Велвлъ, все разъяснитъ, если непонятно... (Входитъ въ пріемную и смотритъ на Герша.)

Гершъ (скрививъ физіономію). Фэ... это же нехорошо, Беньемэнъ! Какъ это безъ старыхъ вещей?

Беньемэнъ (переглянувшись съ Мирлъ). Да, ребъ Гершъ! Все новое должно быть—новое лучше...

Гершъ. Ну, а шадхонимъ [2] тоже не будетъ?

Беньемэнъ (улыбаясь). И шадхонимъ не будетъ...

Гершъ (дѣлано-серьезно). Скажите же мнѣ, Беньемэнъ—мой старый умъ не можетъ этого понять,— чѣмъ же будутъ жить евреи?

Беньемэнъ (серьезно). Да, ребъ Гершъ! Всѣ эти нищенскіе заработки исчезнутъ. Мы будемъ работать, будемъ пахать и сѣять, питаться будемъ здоровымъ запахомъ земли, цвѣтовъ, травы, полей и нивъ! Землю будемъ обрабатывать, ребъ Гершъ!

Гершъ. А, Берлъ? что ты скажешь? Съ нашимъ

---

[1] Тряпье изъ тряпья.

[2] Шадхонъ—сватъ.

катаромъ и обрабатывать землю, а? (Къ Беньемэну.) Ну-ну...

Берлъ (возится съ запутавшейся ниткой). Хе-хе-хе... Хорошіе земледѣльцы, хе-хе-хе... Я, ты, Янклъ хромой, Іося криворукій, хе-хе-хе... Хорошіе земледѣльцы, хе-хе-хе...

(Беньемэнъ долго переглядывается съ Мирлъ.)

Гершъ (глубоко вздохнувъ). Ай, Беньемэнъ, Беньемэнъ... Плохіе мы земледѣльцы, Беньемэнъ! Плохіе... (Задумчиво покачиваетъ головой.)

(Берлъ хихикаетъ; лицо — сплошная простодушная улыбка.)

Беньемэнъ (тихо, къ Мирлъ). Каждый разъ, какъ поговорю вотъ съ подобными евреями, въ моей душѣ образуется какая-то ужасная пустота... Словно кто-то огромной грязной метлой вышвырнулъ оттуда всѣ мечты, надежды, упованія...

Мирлъ (указывая на мастерскую). Иди туда и освѣжись... Тамъ ждутъ тебя. А я пойду немного отдохну—устала. (Уходитъ въ спальню.)

(Беньемэнъ медленно уходитъ въ мастерскую; задумчивое лицо его постепенно оживляется. Мастеровые, особенно Шейндлъ, его радостно привѣтствуютъ. Онъ садится на табуретку, и между ними завязывается бесѣда.)

Гершъ (проводитъ глазами вошедшаго уже въ мастерскую Беньемэна). На!.. Божье благословеніе, Божье благословеніе! Какъ время летитъ, а? Вотъ, кажется, какъ вчера помню, безъ штанишекъ по двору бѣгалъ, грязный, измазанный... И вдругъ—на! Цѣлый магидъ! [1] И какъ говоритъ, какъ говоритъ! Повѣришь, Берлъ: когда я слушаю его въ синагогѣ, я просто забываю,

---

[1] Магидъ—проповѣдникъ.

что дома лежитъ больная жена, что дѣти голодны, что э... что я самъ голоденъ!.. Даръ Божій, даръ Божій! Охо-хо... Такъ крутится свѣтъ, такъ крутится свѣтъ...

Берлъ (покачивая головой). Какъ ни крутися свѣтъ, а мы съ тобой, Гершъ, изъ старыхъ трантэсъ не выкрутимся... Ой, нѣтъ, не выкрутимся, Гершъ...

Велвлъ. Это, Беньемэнъ, будетъ, когда Мойшіахъ придетъ?

Беньемэнъ. Вы опять про свое! Да плюньте вы на эту вредную сказку! Я вамъ неоднократно говорилъ и повторяю: Мойшіахъ—это свободный человѣкъ! Каждый изъ насъ можетъ быть и долженъ быть Мойшіахъ!

Бейлэ. Ого! ха-ха... Или пусто, или густо... То двѣ тысячи лѣтъ— ни одного Мойшіаха, то разомъ всѣ Мойшіахи! Ой, смѣхъ—и конецъ!.. Ха-ха-ха!..

Беньемэнъ. А вы себя еще считаете умнымъ человѣкомъ, тетя... (Къ мастеровымъ.) Вы понимаете? Мы всѣ должны стать гордыми, свободными людьми! Вотъ вы, Велвлъ, кромѣ своей рабочей силы, ничего не имѣете, такъ? Вы работаете ежедневно двѣнадцать-тринадцать часовъ въ сутки, не разгибая спины. Вы свободны? Нѣтъ! Вы—проданный человѣкъ, рабъ. Вы получаете столько, сколько стоитъ вашъ трудъ? Нѣтъ! Вы...

Бейлэ (волнуясь). Ты таки очень умный человѣкъ, Беньемэнъ, только глупостей не говори...

Беньемэнъ. Успокойтесь, успокойтесь, тетенька! Не вы виноваты, что ихъ трудъ плохо оплачивается! Не вы. Вы въ моихъ глазахъ — тотъ же не-

счастный рабочій. Больше того: вы несчастнѣе их. Они—рано ли, поздно ли, но поймутъ меня. Вы же никогда! И въ этомъ ваше главное несчастье...—Да, такъ вотъ я и говорю... (Закуриваетъ папиросу и продолжаетъ вполголоса.)

Гершъ. Что ты сравнилъ? У тебя же это дѣло, чтобъ не сглазить, идетъ! (Смотритъ на бѣлье.)

Берлъ. Благодареніе Всевышнему! Но—эт!—богатства отъ этого не наживешь...

Гершъ. Ну, ужъ есть что́ съ тобой говорить? Ты же живешь барономъ! И чисто, и сыто! Меня же завтра вышвырнутъ изъ квартиры! Охъ... квар-ти-ра! конура для собакъ!.. Теперь жена! Я таки просто не знаю, что́ она себѣ думаетъ! Болѣетъ, и болѣетъ, и болѣетъ, какъ будто я Ротшильдъ, а не несчастный Гершъ-старьевщикъ... Ох-хо-хо... (Чешетъ азартно затылокъ.) Кричи сегодня, кричи завтра—нечего говорить... Вотъ сижу я здѣсь—а? А дома ждутъ... Такъ ты думаешь, я могу пойти? Враги израиля чтобъ такъ могли дышать на свѣтѣ, какъ я могу зайти въ домъ безъ двухъ рублей!.. И, правду сказать, я таки зашелъ къ тебѣ, Берлъ, можетъ быть, ты... мы же свои люди...

Берлъ. Скажи двѣ копейки, такъ тоже нѣтъ... Видишь? На цѣлыхъ двадцать рублей лежитъ бѣлья и чтобъ хоть кто-нибудь пришелъ за нимъ!

Гершъ (поднимается). На!.. (Чешетъ за ухомъ.) Нѣтъ, такъ нѣтъ... Что же будешь дѣлать?.. О-охъ, Отецъ небесный! Плохо, Берлъ, пло-хо...

Берлъ. Вотъ погоди, пріѣдетъ сынъ, станетъ, съ Божьей помощью, капильмейстеромъ, тогда таки и я смогу вздохнуть и людямъ помогать!

Гершъ. Да, Берлъ... Ты не нашъ братъ! У тебя,

не сглазить, и жена здоровая (Берлъ опускаетъ голову), и дѣти ученыя. Да, ты не нашъ братъ... Ну, надо итти. (Беретъ палку.) Добрый день, Берлъ!

Берлъ. Добрый день—добрый годъ, Гершъ! Не обижайся — будутъ деньги, такъ я тебѣ съ великой честью... Теперь, Богъ мой свидѣтель, нѣту...

Гершъ. Что жъ... Спасибо, спасибо, Берлъ... (Направляясь къ выходу.) Добрый день, евреи! — Беньемэнъ, а Беньемэнъ! вы слышите?

Беньемэнъ (приподнимаясь, къ рабочимъ). Вотъ прочтете эту книжку, такъ вы ужъ поймете... (Идетъ въ пріемную.) Что, ребъ Гершъ?

Гершъ. Что я хочу васъ попросить... Когда вы, Беньемэнъ, будете въ слѣдующій разъ говорить въ синагогѣ, дайте мнѣ знать—а?

Беньемэнъ (грустно улыбаясь). Хорошо, хорошо, ребъ Гершъ...

Гершъ. Вы же знаете, другого утѣшенія у насъ же нѣтъ! Ну, добрый день!

Беньемэнъ (провожая). Добрый день — добрый годъ, ребъ Гершъ!

(Гершъ, глубоко вздохнувъ, уходитъ.)

Берлъ. Онъ завидуетъ мнѣ, Беньемэнъ, ну? Эх-х... горе, горе! Никто не знаетъ, кому башмакъ давитъ... Онъ считаетъ меня барономъ... Всѣ старьевщики думаютъ, что Берлъ—о!—Берлъ счастливый человѣкъ! А, Беньемэнъ, ну?

Беньемэнъ. Значитъ, имъ еще хуже, чѣмъ вамъ, дядя. Вотъ и считаютъ васъ счастливымъ; думаютъ, что и это счастье.

Берлъ (встаетъ и складываетъ свои портняжные принадлежности).

Да... счастье, счастье... Гдѣ оно, это счастье? Гдѣ? Нѣтъ его, Беньемэнъ! Нѣтъ на землѣ настоящаго счастья, нѣтъ! (Тащится въ спальню.) Всякій имѣетъ свой узелокъ бѣдствій, охъ... всякій! (Скрывается.)

(Мирлъ одновременно выходитъ изъ спальни, пропускаетъ отца и появляется въ пріемной, держась за лобъ.)

Беньемэнъ. Что? голова?

Мирлъ. Немного разболѣлась. Пойдемъ пройдемся немного. На свѣжемъ воздухѣ пройдетъ.

Беньемэнъ. А ну-ка..? (Трогаетъ ея лобъ.) Н-да... немного горяча... (Нѣжно цѣлуетъ ее въ лобъ.) Да и вообще ты сегодня... мутная чего-то! Почему?

Мирлъ. Эти домашнія сцены... мама. Она со дня на день становится все несноснѣй, невыносимѣй...

Беньемэнъ. Да... женщина того... съ характерцемъ!

Мирлъ. Минутами сбѣжала бы куда глаза глядятъ...

Беньемэнъ. Вотъ кончишь ты свою казарму, и махнемъ мы за тридевять полей!

Мирлъ (оживляясь). Знаешь, я съ нетерпѣніемъ жду пріѣзда Израиля. Я его почти не помню. Но когда подумаю о немъ, онъ почему-то рисуется мнѣ въ видѣ...—не смѣйся только...

Беньемэнъ (улыбаясь). Зачѣмъ смѣяться... Я слушаю.

Мирлъ. ...въ видѣ огромнаго свѣтящагося шара.

Беньемэнъ. То-есть, такъ сказать, въ видѣ восходящаго солнца...

Мирлъ (капризно). Такъ и знала, что начнешь трунить...

Беньемэнъ (дурачась). Не смѣю я трунить, а только слушать... Слушать васъ и исполнять...

Мирлъ. Не балуйся. Я говорю серьезно. И вотъ часто, когда я всецѣло отдаюсь своимъ мечтамъ, мнѣ рисуется такая перспектива: Израиль поступаетъ въ полкъ въ какомъ-нибудь университетскомъ городѣ. Ты въ томъ же полку вольноопредѣляющимся. Я въ томъ же городѣ въ университетѣ. Насъ трое, а цѣль нашей жизни одна: освѣтить весь полкъ революціоннымъ свѣтомъ!

(Беньемэнъ вначалѣ слушаетъ ее шутливо, но постепенно заражается ея искреннимъ воодушевленіемъ.)

Мирлъ. Мы переживаемъ всѣ радостные моменты развитія революціонной энергіи... Мы бросаемъ первую революціонную искру въ музыкантскую команду... Вся команда — яркій горящій факелъ... Пламя перебрасывается въ роты... Загораются батальоны... Горитъ весь полкъ... Пылаютъ бригады... Красное знамя военнаго возстанія развѣвается надъ всей сухопутной арміей... Россія объята революціоннымъ пламенемъ и... и... ахъ... Беньемэнъ!.. Беньемэнъ!.. (Падаетъ ему на шею и начинаетъ тихо рыдать.)

Беньемэнъ. Успокойся, ангелъ мой!.. Я вѣрю! Это будетъ, другъ мой, будетъ!..

Мирлъ (плача и смѣясь). Какая я однако... глупая — расплакалась... (Утираетъ слезы и смѣется.)

(Въ сѣняхъ раздается бѣготня и глухой шумъ шаговъ.)

Голосъ Герша. Э... э... нѣтъ! нѣтъ! Эту „mizwoh“ [1] я за милліоны не отдамъ—вотъ какъ я ни горькій бѣднякъ—не отдамъ! Хе-хе... вы слышите? Не пущу... (Борется съ кѣмъ-то у самыхъ дверей.)

Беньемэнъ (поднявъ голову). Гершъ?

---

[1] Mizwoh—благое дѣло (въ обыденной жизни).

Голосъ Брохэ. Ну... пфу... Что я съ вами могу подѣлать?.. Извѣстите вы... извѣстите вы! Отворите уже двери!

Мирлъ. И... тетя Брохэ?

(Двери съ шумомъ распахиваются. Гершъ, Брохэ и Ицикъ почти одновременно влетаютъ въ пріемную.)

Ицикъ (прыгнувъ). Израиль пріѣхалъ! Израиль пріѣхалъ! (Къ Гершу и Брохэ.) Ага!.. Я сказалъ, ага! (Прыгаетъ). Гы... гы...

Мирлъ. Изр..?!

Гершъ. Берлъ! Бейлэ! гдѣ вы? Съ гостемъ, съ гостемъ... васъ!.. Его высокородіе—капельмейстеръ—пріѣхалъ, хе-хе... (Роняетъ вещи съ плеча.)

(Всѣ изъ мастерской высыпаютъ въ пріемную.)

Бейлэ (спокойно). Сердце—часы... Предчувствовала. Гдѣ же онъ?

Берлъ (почти одновременно торопливо выбѣгаетъ изъ спальни на ходу силится снять очки). Э... э... А? Что? Пріѣхалъ?.. (Очки падаютъ на полъ.) На!.. э... Кто пріѣхалъ?

Брохэ (къ Бейлэ). Иду... вижу — я бы поклялась — это Исроэль ѣдетъ... Смотрю — онъ смотритъ и смѣется...

Гершъ. Ну, Берлъ, ломай... ломай все старое! хе-хе... Я тебѣ принесъ... Вотъ...

(Израиль съ чемоданомъ въ рукахъ показывается у порога.)

(Общее движеніе.)

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Тѣ же пріемная и мастерская. Велвлъ и Шейндлъ молча работаютъ за гладильнымъ столомъ. Велвлъ хмурый, мрачный. Онъ водитъ вяло утюгомъ по разостланной рубахѣ и поминутно бросаетъ исподлобья взгляды на Шейндлъ, которая работаетъ живо, быстро; лицо ея озарено чѣмъ-то радостнымъ.

Въ пріемной Берлъ, въ лѣтнемъ порыжѣвшемъ пальто, поярковой шляпѣ сѣраго цвѣта, чиститъ щеткой старыя вещи. Время отъ времени онъ подходитъ на цыпочкахъ къ дверямъ спальни, осторожно пріотворяетъ ихъ, заглядываетъ и прислушивается; потомъ онъ начинаетъ накладывать вычищенныя вещи на плечо. Мирлъ съ низко опущенной головой, со сложенными на груди руками ходитъ медленно взадъ и впередъ.

Берлъ (кряхтя, нагибается поднять упавшій съ плеча пиджакъ). Ох-хо-хо... (Приподнимаетъ и забрасываетъ на плечо.) На..! Гершъ правъ, Гершъ правъ... О-охъ! Такъ крутится свѣтъ... Такъ крутится свѣтъ... Братъ—не братъ... Сестра—не сестра... Ничего и ничего!

(Мирлъ поднимаетъ на него свой грустно-задумчивый взоръ, но тотчасъ снова опускаетъ голову.)

Берлъ. Всѣ—чужіе... совсѣмъ чужіе... Хоть бы уже получилъ онъ мѣсто, уѣхалъ и пересталъ бы мучиться... Можно съ ума сойти... Человѣкъ ничего не дѣлаетъ! Шутка сказать—ничего не дѣлать!..

(Мирлъ молча ходитъ, изрѣдка взглядывая на отца.)

Берлъ. Добрый годъ васъ знаетъ, чѣмъ вы не можете подѣлиться... Кричали, ссорились... ссорились, кричали, а теперь какъ на кладбищѣ... Воды въ ротъ набрали... Беньемэнъ тоже... Съ какими-нибудь портнихами, сапожниками ему не надоѣдаетъ говорить... Будто Исроэль хуже всѣхъ... Тѣ понимаютъ, а онъ не понимаетъ...

Мирлъ. Тѣ хотятъ понять, а онъ не хочетъ.

Берлъ. Ну, такъ онъ же вѣдь и не будетъ министромъ! Зачѣмъ же молчать? Вы же образованные! Онъ не любитъ тамъ о политикѣ-шмолитикѣ говорить, такъ говорите о томъ, о другомъ... Можно же лопнуть отъ молчанія...

Мирлъ (со стономъ). Не о чемъ намъ говорить, папаша... Не о чемъ...

Берлъ. Что ужъ мнѣ говорить... Нечего мнѣ говорить... Ученые, ученые, а жизнь становится тяжелѣе отъ васъ...

Мирлъ (глухо). Не понимаешь ты, папаша...

Берлъ (дрогнувшимъ голосомъ). Не понимаю!.. Ну да, я не понимаю... Исроэль не понимаетъ... Никто васъ не понимаетъ... Что вы думаете, что вы дѣлаете, никто не пойметъ... А посмотрѣла бы ты... что дѣлается у меня вотъ тутъ!.. Узнали бы вы... Душа вся въ ранахъ!.. Этого... вы... не понимаете... (Отворачивается.)

Мирлъ (подходитъ и обнимаетъ его). Не надо, папа... Зачѣмъ же ты плачешь? Тебѣ это больно... Но не можемъ же мы насильно... Не говорится, мы и молчимъ... Израиль тоже охотнѣе молчитъ, чѣмъ говоритъ съ нами. Онъ тоже чувствуетъ, что ему не о чемъ съ нами говорить. Мы—разные люди... и мысли, и слова у насъ разныя... Не понимаемъ мы другъ друга... Вотъ и молчимъ... Тяжело это, вѣрно... Но что жъ подѣлаешь? А мнѣ, думаешь, легко? Вѣдь я ждала Израиля, какъ весны... Думала, пріѣдетъ — станетъ у насъ свѣтлѣе, радостнѣе... А оказалось... (Отходитъ и тихо утираетъ слезы.)

Берлъ. Да!.. Прогнѣвилъ я Господа, прогнѣ-

вилъ... О-охъ!.. (Беретъ въ углу палку и направляется къ выходу.)

(Въ сѣняхъ раздается сильный ударъ камнемъ въ дверь, вслѣдъ за этимъ голосъ Ицика: „Ага! Не попа-алъ, не попа-алъ! Ага!“)

Берлъ (быстро отворяетъ дверь). Ша! Исроэль...

Ицикъ (раскраснѣвшійся вбѣгаетъ). Я его не трогалъ, а онъ бьется, чортова балалайка!

Берлъ. Ш... ш... ш... Не кричи: Исроэль спитъ!

Мирлъ. Погляди въ зеркало. Вымазанный! Какъ тебѣ не стыдно!

(Ицикъ становится у зеркала и строитъ тамъ рожу.)

Берлъ. Смотри, смотри, штуки какія! Слышишь, что говорятъ!.. Исроэль спитъ!—Мирелe! Я думаю, нужно будетъ поставить самоваръ... Исроэль встанетъ, захочетъ чаю... а?

Мирлъ. Хорошо.

Ицикъ. А у насъ нѣтъ сахару—ага!

Берлъ. Нѣту?.. Ну, такъ побѣжишь, Ицикъ, и возьмешь у лавочника въ долгъ.

Ицикъ. Да! Чорта съ два онъ дастъ! Гундосый лавочникъ больше не даетъ! Онъ говоритъ (гнусаво): „Уже на рубль, на цѣлый рубль набрали! Нужно сначала это уплатить, это уплатить!“ а изъ носу у него... гы... гы... те-че-етъ... гы... гы...

Берлъ. Ша...—Кажется, у меня есть пятнадцать копеекъ... (Вынимаетъ большой засаленный кошель и вытряхиваетъ серебряную монету.) На, Ицикъ, побѣжи и возьми фунтъ—цѣлый фунтъ возьми!

(Ицикъ хватаетъ монету и убѣгаетъ.)

Берлъ (уже по ту сторону порога). Смотри же, Мирелe, чтобъ Ицикъ не шумѣтъ: Исроэль спитъ... (Скрывается.)

Мирлъ (долго смотритъ въ дверь, куда скрылся Берлъ). „Исроэль спитъ“... „Исроэль захочетъ чаю“... „Исроэль“... „Исроэль“... Да! Исчезъ красивый сонъ... (Ходитъ, понуря голову.)

Беньемэнъ (быстро входитъ; подъ мышкой книги). А вотъ и я! Здравствуй.—Ты чего?

Мирлъ. Ничего...

Беньемэнъ. Гм... Ничего, такъ ничего. Вотъ... это Каутскій, а это Сборникъ матеріаловъ объ экономическомъ положеніи евреевъ въ Россіи. Постарайся поскорѣе сдѣлать нужныя тебѣ замѣтки. Ихъ ждутъ. Ну, и я исчезъ. (Оглядывается.) А гдѣ его величество „восходящее солнце“?

Мирлъ. Не шути такъ зло... Спитъ.

Беньемэнъ. И врядъ ли пробудится...

Мирлъ. Жаль, что раньше не пришелъ. Послушалъ бы, какъ заговорилъ папаша...

Беньемэнъ. О чемъ?

Мирлъ. Удивишься.—О нашемъ отношеніи къ Израилю.

Беньемэнъ. О нашемъ—?..

Мирлъ. Всю душу измучилъ... плакалъ, бѣдняга...

Беньемэнъ. Плакалъ? Дядя? (Удивленно пожимаетъ плечами.)

Мирлъ (въ голосѣ слезы). Да, плакалъ. Бѣдный старикъ! Все видитъ, все понимаетъ — молчитъ. Улучилъ удобный моментъ—сказалъ, заплакалъ... (Отвернувшись, утираетъ слезы.)

Беньемэнъ. Да... Это... это нехорошо... Но... при чемъ же мы тутъ? Невозможно съ нимъ говорить. И... глупости поретъ. Ну, какъ же съ нимъ, право!

Я, знаешь, ужъ думалъ подобрать нѣсколько темъ такихъ...—ничего не выходитъ. И, правду сказать, некогда мнѣ думать объ этомъ...

Мирлъ. А какъ я мечтала о его пріѣздѣ...

Беньемэнъ (подходитъ къ ней). А знаешь, Мирлъ... плюнь! Ей-Богу, плюнь! Мы ежедневно, ежечасно, ежеминутно встрѣчаемъ тысячи вотъ такихъ, какъ онъ, и проходимъ мимо!

Мирлъ. И все-таки душа болитъ...

Беньемэнъ. Я понимаю. И все же говорю: плюнь!.. Мы должны соблюдать экономію силъ. Насъ мало — работы много. Итакъ, руку! Израиль оказался для насъ живымъ трупомъ—прочь его съ дороги!

(Мирлъ молча пожимаетъ ему руку.)

Беньемэнъ. Ну, я спѣшу. А то какъ бы не потерять и этотъ урокъ.

Мирлъ. Зайди, Беньемэнъ, послѣ урока.

Беньемэнъ. Хорошо. Зайду. Ну, до свиданья.

Мирлъ. Впрочемъ, погоди... Я провожу тебя. (Набрасываетъ на себя мантильку.) Да... знаешь?.. мнѣ кажется... (Оглядывается на занавѣсъ.) Смѣшно немного... (Тихо.) Шейндлъ, кажется, влюблена въ... Израиля.

Беньемэнъ Въ Из..? Что ты!

Мирлъ. Право...

Беньемэнъ. То-то замѣчаю, не видно ея на „биржѣ“, не посѣщаетъ групповыхъ занятій... Велвлъ тоже что-то не тотъ...

Мирлъ. Тутъ, кажется, трагедія... Идемъ. Дорогой разскажу.

(Оба, тихо разговаривая, уходятъ.)

(Въ мастерской все время шла тихая, упорная работа; Шейндлъ чувствовала на себѣ взгляды Велвла и не смотрѣла въ его сторону;

Велвлъ угрюмо сопѣлъ и съ ожесточеніемъ гладилъ. Теперь онъ уставилъ на нее свой горящій взоръ.)

Велвлъ. Значитъ, не любишь больше?

Шейндлъ. Отстань со своей любовью! Я тебя никогда не любила—вотъ что! Не камень я... Я тоже радости хочу!

Велвлъ (мягко). Мы были бы счастливы, Шейндлъ... Обвѣнчались бы по истинному закону... Открыли бы собственную мастерскую... У насъ была бы радость, Шейндлъ!.. Онъ теперь тутъ, а пройдетъ день-другой — и уѣдетъ куда-нибудь въ полкъ... капельмейстеромъ станетъ. Забудетъ тебя! Думаешь, любитъ?.. Балуется онъ съ тобой... А я—я, какъ честный еврей!

Шейндлъ (нервно махнувъ рукой). День мой — вѣкъ мой! Пока онъ тутъ, поживу... А тамъ... (Тряхнувъ головкой и закусивъ нижнюю губу, начинаетъ нервно водить утюгомъ.)

Велвлъ (глухо, протяжно). Эх-х... Шейндлъ, Шейндлъ!.. (Понуря голову, водитъ утюгомъ. Вдругъ ставитъ нервно утюгъ на подставку, швыряетъ на полъ утюжку и отбрасываетъ въ сторону рубаху.) Къ чорту! (Почти срываетъ съ себя бѣлый фартукъ, спускаетъ засученные рукава и начинаетъ нервно одѣваться.)

Шейндлъ (украдкой взглянувъ въ его сторону). А рубахи должны быть къ пяти часамъ готовы... Свадьба...

Велвлъ. И пусть! Пусть свадьба! Пусть похороны! Я тоже человѣкъ! И у меня душа есть... (Одѣваетъ шляпу, беретъ палку и быстро идетъ къ выходу. Вдругъ останавливается и смотритъ на нее въ упоръ, зловѣще.) Запомни мои слова, Шейндлъ! Радости хочешь! Не тамъ, не тамъ ищешь, не тамъ!.. Я... я хотѣлъ тебѣ радости, Шейндлъ! (Подходитъ ближе; нѣжно.) Шейнделе! Онъ же уѣдетъ, забудетъ... и не будетъ у тебя счастья, радости... А я— я навсегда! (Дотрогиваясь до ея плеча.) И день и ночь

буду работать! Носомъ землю буду рыть! Все доставлю!.. Шейнделе...

Шейндлъ (освобождая плечо, глухо). Сердце—не камень... Полюбила его... Пусть, пусть уѣдетъ... буду вспоминать, вотъ и радость... Люблю его! Понимаешь? люб-лю!.. и это моя радость!.. Пусть, пусть уѣдетъ... буду вспоминать... и... будетъ у... меня... ра... д... о... сть... (Разражается глухими истеричными рыданіями и, наклонившись надъ остывшимъ утюгомъ, вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ.)

(Велвлъ смотритъ на нее съ минуту широко открытыми глазами, дѣлаетъ движеніе подойти, но вдругъ, махнувъ рукой, быстро уходитъ въ пріемную, оттуда въ сѣни и исчезаетъ.)

(Шейндлъ тихо отираетъ фартукомъ слезы, мѣняетъ утюгъ и продолжаетъ гладить вяло, безжизненно.)

(Въ дверяхъ спальни показывается фигура Израиля. Онъ въ сѣрой тужуркѣ, накрахмаленной рубахѣ, безъ воротника. Волнистые кудри кольцами вьются вокругъ открытаго, широкаго лба.)

Израиль (въ дверяхъ, широко зѣвая). А... а... х... х... Жисть ты наша паскудная... (Подтягиваясь, выходитъ.) А... а... а... х... какъ весело! Бррр... (Мотаетъ головой и заспаннымъ голосомъ тянетъ.) И ску-учно... и... гру-устно... и... некому... морду... побить... (Осматривается вокругъ.) Ни-ко-го. Одинъ. Одинъ, какъ перстъ. Н-да... (Чешетъ затылокъ.) „Счастливъ тотъ, кто стоитъ одиноко“— такъ, кажется, сказалъ... а кто сказалъ, забылъ... (Соображаетъ.) Докторъ... докторъ... Впрочемъ, не важно—кто, а важно, что онъ вретъ! (Задумывается.)

(Шейндлъ оставляетъ утюгъ, подходитъ къ занавѣсу и, глянувъ однимъ глазомъ черезъ прорѣзъ, снова отходитъ къ столу и гладитъ.)

Израиль. А-впрочемъ, всѣ врутъ. (Тихо и медленно направляется къ занавѣсу и заглядываетъ въ мастерскую.) Гм... Тоже одна. И тоже счастлива, должно быть...

(Снова осматривается, подходитъ въ дверямъ выхода, пріотворяетъ и удостовѣряется, нѣтъ ли кого изъ домочадцевъ.) Ни-ко-го! (Быстро входитъ въ мастерскую, подходитъ къ Шейндлъ, стоящей къ нему спиной, и обнимаетъ ее.)

(Шейндлъ медленно оборачивается, рука ея въ это время ставитъ утюгъ на подставку. Вдругъ она свѣшивается ему на плечо и начинаетъ истерически рыдать.)

Израиль (про себя). Такъ пишется въ романахъ... (Къ ней, цѣлуя.) Ну, чего? Чего тутъ плакать?

Шейндлъ. Грустно... Из... раиль... тяжело. (Вскрикиваетъ). Израиль! Израиль!.. (Порывисто обвиваетъ его шею руками и вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ.)

Израиль (морщась). Ну... вотъ этого, признаться, я ужъ не люблю...

Шейндлъ. Вы уѣдете?.. Да?.. Уѣдете?

Израиль. Ну, разумѣется... если мѣсто найдется...

(Мирлъ, живая, румяная, быстро входитъ. Рыданія Шейндлъ поражаютъ ея слухъ. Лицо ея мгновенно преображается и каждый мускулъ выражаетъ страхъ, недоумѣніе. Словно подталкиваемая кѣмъ-нибудь, она приближается къ занавѣсу и съ ужасомъ наблюдаетъ за происходящимъ.)

Шейндлъ. И меня оставите? да? оставите?..

Израиль. Что же дѣлать, голубушка... Всѣхъ придется оставить... Пока я тутъ, будемъ жить...

Шейндлъ. Не оставляйте!.. не оставляйте меня! Возьмите меня съ собой!.. Буду служить вамъ!.. буду... буду... (Рыдаетъ.)

(Мирлъ, подавленная, ошеломленная всѣмъ происходящимъ, пятится назадъ, въ глазахъ—застывшій ужасъ. Въ сѣняхъ раздаются тяжелые шаги. Она испуганно озирается и стремглавъ бросается въ спальню, плотно закрывая за собой дверь.)

(Входитъ дѣвушка въ пестромъ платкѣ; на ногахъ тяжелая деревенская обувь; поступь тяжелая, мужская.)

Дѣвушка въ пестр. платкѣ (озирается). И никого и нѣтъ... (Зоветъ хриплымъ голосомъ.) А дома хозяйка?..

Израиль (слегка вздрогнувъ, про себя). Почтальонъ?.. (Къ ней.) Ш... ш... успокойся! Вонъ кто-то пришелъ! Ради Бога... (Съ трудомъ освобождается и быстро входитъ въ пріемную.)

(Шейндлъ въ безсиліи опускается на табуретку и силится удержать душащія ее рыданія.)

Израиль (завидѣвъ дѣвушку, въ сторону). А... провались ты! Думалъ, почтальонъ... (Къ ней грубо.) Кого тебѣ?

Дѣвушка въ пестр. платкѣ (показывая квитанцію). Паныча билё.

Израиль (просовываетъ голову въ мастерскую). Тамъ... за бѣльемъ пришли... (Пристально смотритъ на склоненную голову Шейндлъ, отходитъ отъ занавѣса и бормочетъ.) ...не имѣла баба хлопоты—купила порося... чорртъ меня дери!.. (Нервно шагаетъ.)

Шейндлъ (утираетъ слезы, поправляетъ растрепавшіеся волосы и полувходитъ въ пріемную). Отъ кого?

Дѣвушка въ пестр. платкѣ. Отъ Хфегеля.

Шейндлъ. Еще не готово.

Дѣвушка въ пестр. платкѣ. Ну, а мині панычъ наказалъ, шобъ безъ ихъ и ны ворочаться, потому на свальбу собираються.

(Израиль быстро переводитъ взоръ на дѣвушку; по губамъ мелькнула задумчивая улыбка. Шагаетъ.)

Шейндлъ. Скажите, мастеръ заболѣлъ... Не готово.

(Входитъ Бейлэ; одѣта въ лѣтнюю пелеринку, на головѣ свѣтлая шаль съ бахромой, подъ мышкой что-то завернутое въ бумагу.)

Шейндлъ (къ ней). Отъ Фейгеля за бѣльемъ при-

шли... А Велвлъ вдругъ... нехорошо ему стало... Въ аптеку, что ли, пошелъ...

Бейлэ (быстро раздѣваясь). Заболѣлъ? Въ аптеку? Что это вдругъ? Ну, что ты скажешь,—а? Ахъ, ты Боже мой! (Къ дѣвушкѣ.) Придите, милая, минутъ черезъ десять-пятнадцать. Слышите, мастеръ заболѣлъ. (Къ Шейндлъ.) Давно ушелъ? Что же съ нимъ?

Шейндлъ (повернувшись обратно въ мастерскую). Не знаю... (Подходитъ къ столу, мѣняетъ утюгъ и гладитъ.)

Дѣвушка въ пестр. платкѣ. А панычъ ругаться будуть, потому увъ пять часовъ свальба!

Бейлэ (засучивая рукава и пытливо слѣдя за шагающимъ Израилемъ). Скажите, милая, черезъ пятнадцать-двадцать минутъ все будетъ готово.

Дѣвушка въ пестр. платкѣ. Хи... То дэсять, а то вже двадцить... Шо жъ—мині чего?—такъ и скажу! (Уходитъ.)

Бейлэ (пристально смотритъ на нервно шагающаго Израиля; осматривается). Какъ я вижу, тутъ уже Беньемэнъ былъ...

Израиль. Это почему?

Бейлэ. Что, развѣ по тебѣ не видно?..

Израиль (пожимая плечами). Поразительная догадливость! Почему же по мнѣ?

Бейлэ. Что же ты такъ бѣгаешь по комнатѣ, что?

Израиль. Мама, ты обѣщала черезъ десять минутъ приготовить бѣлье...

Бейлэ. Дожила... Двухъ словъ не хотятъ со мной сказать... Словно я сумасшедшая какая... (Вздыхаетъ.)

Израиль. Что жъ. Присядьте. Будемъ бесѣдовать. (Нервно садится за столъ, упирается локтями и смотритъ упорно на мать.)

Бейлэ. Ужъ и разсердился... Я смѣюсь, а онъ... Да могу тебя обрадовать... Идка Дамрова тебѣ кланялась... (Пристально смотритъ.)

Израиль (сухо). Спасибо. Дальше?

Бейлэ (смутившись). Дальше! Что дальше—ничего... Весь городъ кипитъ... Открыто, безъ всякаго стыда готовятся къ крещенію третьей сестры... За телеграфиста выходитъ. А... такой годъ на нихъ! Телеграфистъ! Шутка ли? получаетъ навѣрное двадцать карбованцевъ въ мѣсяцъ! Такъ не нужно развѣ креститься ради такого счастья?!

Израиль. И въ добрый часъ. А Ида еще нѣтъ?

Бейлэ. Зачѣмъ ей креститься... Развѣ мало еврейскихъ дураковъ?..

Израиль. Такъ. Понимаю. Вотъ я—одинъ... Не такъ ли?

Бейлэ (глухо). Что жъ я могу подѣлать?..

Израиль. Можешь быть спокойна. (Нервно встаетъ.) Мои счеты съ ней уже покончены!

Бейлэ (облегченно). Дай Богъ, дай Богъ...

(Ицикъ вбѣгаетъ.)

Ицикъ. На, мама, сахаръ. Папаша велѣлъ купить. (Украдкой сосетъ кусокъ сахару.)

Бейлэ. Можетъ быть, поставить самоваръ, Исроэль, а?

Израиль. Ставь. (Угрюмо шагаетъ.)

Бейлэ. Возьми, Ицикъ, поставь самоваръ.

Ицикъ. А пустишь мнѣ пойти потомъ на карусель?

Израиль (улыбнувшись). Такъ, Ицикъ! Всегда такъ поступай. Не давай себя въ обиду.

Ицикъ. Я, Израиль, тоже буду капельмейстеръ!

Израиль. Ужъ этого, братецъ, не совѣтую. Лучше сапожникомъ, Ицикъ.

Ицикъ (прыгая). Гы... гы... Гвоздики молоточкомъ—тикъ-тукъ! тукъ-тикъ! гы... гы... гы...

Израиль. Поди ставь самоваръ.

Ицикъ (задумчиво). Нѣтъ. Я не хочу сапожникомъ. Я буду лучше капельмейстеръ. (Идетъ въ спальню. На ходу.) А тетя Брохэ говоритъ „кальпимейстиръ, кальпимейстиръ". Ха-ха... (Скрывается въ спальню.)

Бейлэ (хохочетъ). Ахъ, это мальчикъ! (Входитъ въ мастерскую и становится гладить.)

Ицикъ (тотчасъ появляется у дверей спальни, держа въ рукахъ небольшой самоваръ; говоритъ лицомъ въ спальню). Небось, я вчера тоже ставилъ. Мы зна-аемъ, какъ ставить! (Выходитъ.)

Израиль (изумленно). Съ кѣмъ это ты?

Ицикъ. Это Мирлъ. (Скрывается въ сѣни.)

Израиль. Мирлъ? (Удивленно пожимаетъ плечами.)

(Мирлъ—блѣдная, подъ глазами синіе круги—медленно выходитъ изъ спальни. Она словно не замѣчаетъ присутствія Израиля.)

Израиль. А... ты дома?..

Мирлъ (идя къ этажеркѣ). Дома. (Беретъ одну изъ книгъ, что принесъ Беньемэнъ, набрасываетъ на плечи платокъ, усаживается на диванѣ и какъ бы погружается въ чтеніе. По временамъ взоръ ея скользитъ въ сторону отъ книги, глубоко и упорно всматривается въ одну точку.)

(Израиль украдкой слѣдитъ за ней, тихо шагая по діагонали комнаты; то начинаетъ что-то тоскливо насвистывать, то мурлыкать какую-то арію. Зѣваетъ часто, при чемъ глухо, сквозь зѣвокъ, выговариваетъ: „Ахъ, какъ весело!")

Бейлэ. Вы еще, Шейндлъ, эту рубаху гладите?

Шейндлъ. У меня... тоже голова что-то болитъ сегодня.

Бейлэ. Да... Нехорошо все ,это, Шейндлъ... Я уже давно собираюсь вамъ сказать... (Идетъ зачѣмъ-то къ шкафу.)

(Шейндлъ испуганно смотритъ ей вслѣдъ.)

Бейлэ (около шкафа). Плохо вы себя ведете, Шейндлъ... (Возвращается къ столу и гладитъ.) Это совсѣмъ некрасиво для еврейской дочери... Вы, кажется, дѣвушка неглупая, довольно красивая и могли бы свою жизнь устроить честно, благородно, а не вотъ такъ... Конецъ плохой будетъ, Шейндлъ!.. Охъ, плохой будетъ конецъ... Если вы любите Велвла и онъ васъ, такъ повѣнчайтесь и живите, какъ законъ велитъ!

Шейндлъ (облегченно вздохнувъ). Онъ таки хочетъ на мнѣ жениться... Но я его не люблю...

Бейлэ. Не любите, зачѣмъ же кокетничаете съ нимъ и... балуетесь? Развѣ добро отъ этого выйдетъ? Вы—дѣвушка! Вотъ у васъ голова болитъ, ему дурно стало... Работа какъ изъ смолы тащится: одну рубаху цѣлый часъ гладите. За бѣльемъ приходятъ— и непріятности, и денегъ нѣтъ. Хорошо это?

(Шейндлъ глубоко вздыхаетъ.)

Бейлэ. Ну и свѣтъ же насталъ, Господи... (Молча работаютъ.)

Израиль (грузно опускается на стулъ; зѣваетъ). Беньемэнъ былъ?

Мирлъ (вздрогнула; не сразу).- Былъ.

Израиль. Значитъ, проспа-алъ...

(Мирлъ ниже опускаетъ голову надъ книгой.)

Израиль (разваливается на стулѣ, забрасываетъ голову за спинку и долго смотритъ вверхъ). Глупый потолокъ. И плевать въ него не хочется. (Спустя минуту начинаетъ тихо

тянуть.) „Но-оченька-а... те-емная-я... ско-оро ль пройде-етъ... она... За-автра же-е... съ зо-оренько-ой...“

(Беньемэнъ появляется у входа и задумчиво слушаетъ.)

Израиль „...въ пу-уть на-амъ... опя-ять...“

Беньемэнъ. Превосходно, чортъ возьми! И въ скукѣ есть своеобразная прелесть!

(Израиль и Мирлъ вздрагиваютъ и быстро оборачиваются.)

Беньемэнъ (дружески хлопаетъ Израиля по плечу). У тебя это, братъ, выходитъ прямо восхитительно! Право...

Израиль. Радъ стараться!

Беньемэнъ. Уже заранѣе пріучаешься къ военному жаргону? Такъ. Пріучайся — оно скоро пригодится. (Засматриваетъ въ книгу Мирлъ и садится возлѣ нея.)

Израиль (глядя въ потолокъ). Тьфу... И тутъ—тонъ увѣренный, тонъ пророка! Н-да... Видно, мудреная штука эта самая ваша политическая экономія и „вытекающія изъ нея ис-то-ри-че-скія необходимости“. Ха-ха...

Беньемэнъ. Вотъ это ужъ, Израиль, лишнее... Право!

Израиль. А-а, лишнее..? То-то!..

Беньемэнъ. Потолкуемъ-ка лучше, какъ достать намъ полкъ. Вѣдь меня, братъ, забреютъ лобовымъ. Одинъ мѣсяцъ остался. А безъ протекціи и думать нечего...

Израиль. Что жъ. Пойдешь лобовымъ. Не мѣшаетъ...

Беньемэнъ. Мѣшаетъ или не мѣшаетъ—вопросъ особый...—А изъ полка, гдѣ служитъ братъ Шейндлъ, такъ-таки ничего и нѣтъ?

Израиль. Дуракъ онъ, ея братъ! Б—скій полкъ

не полевой, а резервный. А въ таковыхъ по штату капельмейстера не полагается.

Беньемэнъ. Какимъ же образомъ онъ тамъ музыкантъ?

Израиль. Должно быть, въ сопилки дуютъ...

Беньемэнъ. Это, кажется, ты уже того... отсебятину порешь. Я самъ читалъ тогда его письмо къ Шейндлъ. Помню даже фразу: „Нашего капельмейстера уволили за пьянство. Пусть сынъ твоей хозяйки поскорѣе начнетъ хлопотать“.—Не будетъ же человѣкъ выдумывать!.. Полевой или резервный, а музыка въ каждомъ полку должна быть.

Израиль (смотритъ на него въ упоръ). Какъ видно, вы и въ этомъ свѣдущи! Неужели и это вамъ извѣстно „изъ объ-ек-тив-ныхъ ус-ло-вій ис-то-ри-че-ска-го процес-са... изъ всей суммы окружающей насъ соціалъ-эко-но-ми-че-ской среды“ и проч., проч., проч., а?

Беньемэнъ (нервно встаетъ). Фу... Богъ ты мой! Это ужъ таки прямо... нахальство! (Отходитъ къ этажеркѣ, беретъ книгу и стоя перелистываетъ.)

Израиль. Вотъ! Это хорошо. Это я люблю. Крѣпко, но съ душой сказано... Люблю!

Беньемэнъ (изъ угла, зло). Грязными сапожищами въ душу лѣзть?

Израиль. Какая у кого душа. Иную душу взглядомъ встряхнешь,—заговоритъ. Иную—только сапожищами и расшевелишь...

Беньемэнъ. Грязная, уличная философія.

Мирлъ (со стономъ). Беньемэнъ! къ чему? зачѣмъ? (Болѣзненно вздохнувъ, встаетъ и уходитъ въ спальню.)

Израиль (бросаетъ на нее пренебрежительный взглядъ). Это ужъ ваше дѣло подводить подъ формулы и давать

„ученыя“ названія! Наше дѣло—задать вамъ встряску. Спугнуть съ Олимпа. Лишить васъ того блаженненькаго, самодовольнаго спокойствія,—молъ, мы все знаемъ, вѣдаемъ, и шапку передъ нами долой! Нѣтъ, голубчики! Мы еще себя покажемъ! (Встаетъ и нервно шагаетъ.)

(Беньемэнъ опускается на стулъ, упирается локтями въ столикъ, опускаетъ голову на руки и смотритъ въ книгу.)

Бейлэ (неоднократно подходила къ прорѣзу занавѣса, заглядывала и, глубоко вздыхая, отходила къ столу и гладила. По лицу видно было, что отъ ея слуха ничего не ускользало. Теперь она складываетъ выглаженныя рубахи). Скорѣе кончайте манжеты и возьмитесь за жилетъ. А я вотъ воротники поглажу.

Шейндлъ (живо работая). По-спѣ-емъ! (Молча работаетъ.)

Берлъ (пріоткрываетъ дверь). Мireле! Мireле! Самоваръ э... кипитъ!

(Мирлъ быстро выходитъ изъ спальни, достаетъ фаянсовый чайничекъ и скрывается въ коридоръ.)

Берлъ (однимъ плечомъ, на которомъ виднѣются военныя вещи, появляется у дверей лицомъ въ коридоръ). Теперь, Мireле, долей, долей его. Видишь, выкипѣлъ весь. (Входитъ; въ рукахъ офицерская фуражка, на плечѣ вмѣсто прежняго старья свѣтлая офицерская тужурка и темно-синія съ краснымъ кантомъ брюки. Лицо счастливо улыбается.) Хе-хе... А я, Исроэль, для тебя что-то имѣю... хе-хе... А ну, угадай?

Израиль (быстро). Телеграмма?

Берлъ (печально наклонивъ голову). Э... телеграммы же не продаютъ, хе...

(Израиль сдвигаетъ брови и отходитъ.)

Берлъ. Телеграмма себѣ телеграмма. А если бу-

детъ телеграмма, такъ это развѣ тебѣ не нужно... что? (Снимаетъ съ плеча тужурку и брюки.) Хе-хе-хе!.. а? Товарецъ, хе-хе!.. Новенькія—пятнышка не найдешь!

Израиль (нехотя подходитъ и лѣниво ощупываетъ). Ловко! Дѣйствительно... Совершенно новыя... (Разнимаетъ борты.) Кажется, будетъ широка...

Берлъ. Какъ разъ на тебя. Я же знаю твой ростъ! Э... зачѣмъ намъ много говорить, зайдемъ туда и примѣримъ!

Израиль. Ге-ні-аль-но! (Идя съ нимъ въ спальню.) Гдѣ жъ ты ихъ выцарапалъ?

Берлъ (слѣдуя за нимъ, сѣменя ногами). Тутъ одинъ офицеръ живетъ. Э... совсѣмъ молодой и уже офицеръ. Хорошій человѣкъ... я тебѣ говорю, алмазъ... (Скрываются въ спальню.)

Мирлъ (входитъ съ наполненнымъ чайничкомъ; осматривается; къ Беньемэну). Тамъ?

Беньемэнъ (встаетъ, ерошитъ волосы). Да.—Знаешь... онъ меня смутилъ сегодня. Что-то сильное и гордое звучало въ его послѣднихъ словахъ...

Мирлъ (молча достаетъ стаканы, блюдца, черный подносъ, покрываетъ столъ другою скатертью и разставляетъ чайную посуду). И меня онъ тоже сегодня поразилъ... но въ обратномъ смыслѣ...

Беньемэнъ. Въ обратномъ?

(По голосамъ слышно, что Израиль и Берлъ приближаются.)

Мирлъ. Идутъ. Послѣ скажу. (Накрываетъ столъ къ чаю.)

(Израиль, одѣтый въ офицерскую тужурку, и Берлъ входятъ.)

Берлъ. ...если одну такую тужурку заказать у военнаго портного, такъ э... тридцать-сорокъ рублей! Онъ шутитъ съ такой тужуркой, хе!.. А штаны? э...

навѣрное двѣнадцать-пятнадцать рублей! Ты посмотри сукно... сукно посмотри! Хе!.. Онъ шутитъ съ такимъ сукномъ!

Израиль (любуясь въ зеркалѣ). От-лич-но! Покупка ге-ні-аль-на-я! И надо только удивляться, какъ это ты не сталъ Ротшильдомъ отъ своихъ покупокъ... —Мама, а мама! А ну, пойди-ка сюда!

Бейлэ (поспѣшно складываетъ бѣлье). Сейчасъ.

Ицикъ (вбѣгаетъ; вначалѣ не узнаетъ, пятится и широко смотритъ; вдругъ начинаетъ прыгать). Офицеръ! Офицеръ! Разъ! Два!

Бейлэ (торопливо входитъ въ пріемную). Смотри..! Откуда это?.. Ахъ, какъ тебѣ къ лицу!

Шейндлъ (бросается къ занавѣсу, смотритъ сквозь прорѣзъ). Милый мой!.. радость моя!.. счастье мое!..

Берлъ (къ женѣ). А? Ну? х-х-х!.. (Потираетъ ладони.)

Ицикъ (вертится между старшими). Офицеръ! Ась, два! Ась, два! Правое плечо впере-едъ! гы-гы!.. Ша-агомъ... гы-гы-гы!.. (Прыгаетъ.)

Берлъ. Товарецъ, а? Одно слово, товарецъ! Хе-хе!..

Израиль. А ну-ка... гдѣ фуражка?

Ицикъ (мигомъ подскакиваетъ къ дивану, гдѣ лежитъ фуражка, напяливаетъ ее себѣ на голову и, выпячивая животъ, командуетъ). Сми-ирно! Ась, два! Ась, два! (Шагаетъ по-военному и, подойдя къ Израилю вплотную, выкрикиваетъ.) Стой!..

Израиль (снимаетъ съ него фуражку, улыбаясь). Ишь ты, солдафонъ! (Примѣряетъ фуражку.)

(Беньемэнъ и Мирлъ, тихо бесѣдуя, уходятъ въ заднюю комнату.)

(Дѣвушка въ пестр. платкѣ быстро вбѣгаетъ; увидя Израиля въ военной формѣ, мигомъ останавливается и широко смотритъ.)

Бейлэ (къ ней). Бѣлье?.. Готово, готово. (Кричитъ. Шейндлъ, дайте сюда бѣлье Фейгеля!—пришли.

(Шейндлъ быстро отскакиваетъ отъ занавѣса, беретъ съ гладильнаго стола сложенное бѣлье и входитъ въ пріемную. Глаза опущены, лицо розовѣетъ.)

Бейлэ (даетъ ей листъ сѣрой бумаги). Заверните, Шейндлъ!

(Шейндлъ медленно заворачиваетъ связку бѣлья на столѣ, что противъ зеркала, у котораго Израиль охорашивается. Она украдкой смотритъ въ зеркало, гдѣ и встрѣчается взглядомъ съ Израилемъ. Израиль замѣчаетъ это, мигаетъ ей глазомъ. Шейндлъ опускаетъ голову, поспѣшно сворачиваетъ бѣлье, передаетъ дѣвушкѣ и быстро уходитъ въ мастерскую.)

Гершъ (изъ коридора). Ай-ай! Убѣжи-итъ!

Дѣвушка въ пестр. платкѣ (уходитъ; въ сѣняхъ сталкивается съ Гершемъ). А шобъ ему бисъ! Отъ напугалъ!

Гершъ. Ну, ну... Здорова, какъ медвѣдь... Совсѣмъ еврейская дѣвушка, а? Богъ помощь, евреи!.. А самоваръ вашъ тамъ скоро лопнетъ.

Бейлэ (къ Берлу). Ну, довольно уже тебѣ крутиться на одномъ мѣстѣ! Иди... самоваръ тамъ лопнетъ.

Берлъ (суетится). Да, да... э... самоваръ!.. Сиди, Гершъ! (Торопливо уходитъ въ сѣни.)

(Гершъ комически осматриваетъ Израиля съ ногъ до головы.)

Израиль. Что, не узнали, ребъ Гершъ? (Ходитъ по діагонали.)

Бейлэ (смѣясь). Ну, какъ вамъ нравится мой сынъ, ребъ Гершъ?

Гершъ. Что мнѣ сказать?.. Офицеръ! Настоящій офицеръ, какъ я еврей!

Берлъ (съ трудомъ вноситъ кипящій самоваръ и осторожно ставитъ его на подносъ). Пф-у... Ну, Гершъ?.. пф-у... Товарецъ, а?

(Бейлэ бросаетъ на него быстрый, злой взглядъ.)

Берлъ (смутившись). Э... э... пфу... Что, не офицеръ, а?

Гершъ. Нужно еще спрашивать... что? (Садится съ вещами на плечѣ.) Ну, ребъ Исроэль, теперь магарычъ!

Бейлэ. Будетъ, ребъ Гершъ, и магарычъ! Имѣйте только время. Вотъ, Богъ дастъ, телеграмма получится...

Гершъ. Что значитъ... те-ле-грам-ма? Какая телеграмма?

Берлъ (снимаетъ наконецъ свое пальто и вѣшаетъ). Э, какая же у тебя голова, Гершъ! (Возвращается отъ вѣшалки.) Палеты—себѣ палеты. Кокарда—себѣ кокарда. А когда это можно носить? Когда есть мѣсто капильмейстера. Что ты тутъ не понимаешь?

Гершъ. А... такая исторія! Такъ я, значитъ, имѣлъ большую ошибку... Это только примѣрка идетъ?.. На... магарычъ мой виситъ на волоскѣ...

Израиль (быстро). Это почему... на волоскѣ?

Гершъ (задумчиво). По-че-му? (Грустно покачиваетъ головой.) Да... „Почему?“ „Почему?“... Я, слава Всевышнему, уже пятидесятый годъ спрашиваю: „почему?“ А всѣ евреи вотъ ужъ двѣ тысячи лѣтъ не перестаютъ не только спрашивать, но кричать, вопить: „почему?“ „почему?“ — и нѣтъ отвѣта, нѣтъ отвѣта... Ох-хо-хо... Евреи, евреи... Большое, страшное слово „евреи“. (Помолчавъ.) Да-а... „Почему?“ (Вдругъ грозно.) Пасынки мы, Исроэль! Пасынки жизни! Вотъ отвѣтъ. Другого отвѣта нѣтъ. Другой отвѣтъ—ложь! (Тяжелое молчаніе. Общее уныніе.) Но... ничего. Будемъ надѣяться. Что же будемъ дѣлать? Будемъ, евреи, надѣяться... О-ох-х!..

Израиль (упорно смотритъ на Герша; медленно отходитъ). Пасынки жизни... (Еще разъ вскинулъ глаза на Герша и сталъ шагать изъ угла въ уголъ. Бейлэ, сложивъ на животѣ руки, слѣдитъ за нимъ и тяжело вздыхаетъ.)

Берлъ (возится около самовара). О-ох... Кх-кх... Правда, правда, Гершъ... Пасынки мы! Истинная правда... Будемъ надѣяться. Что же намъ дѣлать? Кх-кх... Будемъ надѣ...

(Почтальонъ входитъ.)

Израиль (вздрогнулъ; въ волненіи). Т-те-ле-грам-ма?..

Почтальонъ. Точно такъ. Израилю Лейбману.

(Израиль бросается къ нему, судорожно схватываетъ телеграмму и расписывается. Шейндлъ, поблѣднѣвъ, припадаетъ къ прорѣзу занавѣса. Бейлэ дрожащей рукой суетъ почтальону монету.)

(Гершъ и Берлъ изгибаются въ вопросительные знаки.)

Почтальонъ (получивъ расписку). Покорно благодарю. Счастливо оставаться. (Уходитъ.)

(Велвлъ сталкивается съ выходящимъ почтальономъ. Онъ пропускаетъ его и, словно прикованный, останавливается у порога и смотритъ на Израиля, котораго всѣ окружили.)

Израиль (губы дрожатъ, телеграмма въ рукахъ подпрыгиваетъ). „В-ва-кан-сія... сво-бодна... немедленно п-пріѣзжайте... Адъютантъ Б—скаго полка". (Бросаетъ вверхъ телеграмму, не своимъ голосомъ.) Уррра-а! (Въ экстазѣ бросается на шею матери.)

(Беньемэнъ и Мирлъ быстро появляются у порога спальни.)

Шейндлъ (глухо). У-ѣз-жа-етъ!.. (Хватаетъ себя за волосы и бросается на кровать, зарывая голову въ подушки, откуда еле слышны глухія, сдавленныя рыданія.)

(Велвлъ словно перерождается: злобный взоръ его свѣтлѣетъ, грозныя складки на лбу разглаживаются. Онъ стремглавъ бросается въ мастерскую, ищетъ глазами Шейндлъ. Наконецъ, взоръ его падаетъ на кровать. Онъ вдругъ съеживается, медленно подходитъ и безнадежно опускаетъ голову, упершись объ изголовье кровати. Мирлъ быстро подходитъ къ занавѣсу, рѣзкимъ движеніемъ пріоткрываетъ одну половину и съ застывшимъ ужасомъ смотритъ на вздрагивающую Шейндлъ и застывшаго у кровати Велвла.)

Израиль (возбужденно). Ну, вотъ и дождались! Вотъ и дождались! (Оборачивается къ Беньемэну.) Ну-съ, дружокъ, мы близки къ цѣли, готовься!

Беньемэнъ (не двигаясь). Поздравляю.

(Мирлъ, сверкая глазами, схватываетъ Израиля за рукавъ и тащитъ къ занавѣсу. Израиль, ошеломленный, повинуется.)

Мирлъ (рѣзко отбрасываетъ половину занавѣса). Вотъ... „Спугнулъ съ Олимпа“... „Лишилъ спокойствія“... Это „ваше дѣло“!.. Торжествуй! (Съ яростью отбрасываетъ его руку.)

Гершъ (къ Берлу и Бейлэ). Я вамъ говорю, когда Богъ хочетъ, такъ нѣтъ никакихъ разговоровъ. Хе-хе-хе!..

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Промежутокъ шесть мѣсяцевъ.

Кабинетъ военнаго капельмейстера Израиля Борисовича Лейбмана. Черезъ настежь открытыя двери въ задней стѣнѣ виднѣется широкая, устланная коврами лѣстница, ведущая въ верхній этажъ. Въ правой стѣнѣ два высокихъ окна, завѣшенныхъ гардинами; между ними парадныя двери, откуда по карнизу тянется проволока электрическаго звонка въ чуланъ денщика Андрея (въ коридорѣ подъ широкой лѣстницей). У второго окна на заднемъ планѣ—письменный столъ. У стола—круглое, гнутое кресло; нѣсколько поодаль, у задней стѣны—софа. Въ углу—рѣзная этажерка, полная книгъ. На стѣнѣ, надъ софой, виситъ скрипка. Въ уголкѣ между столомъ и стѣной стоитъ віолончель. Ближе къ авансценѣ направо—мягкая мебель вокругъ изящно убраннаго стола. Лѣвая часть кабинета огорожена стоячей ширмой. За ширмой въ углу—кафельный каминъ; у задней стѣны—умывальникъ; рядомъ—стоячее зеркало съ подзеркальникомъ, на которомъ въ безпорядкѣ разставлены флакончики духовъ, мыла, щеточки и пр. Вдоль лѣвой стѣны стоитъ рѣзная кровать.

Время обѣденное. Изъ верхняго этажа глухо доносятся говоръ и смѣхъ обѣдающихъ жильцовъ Елены Игнатьевны.

Денщикъ Андрей стоитъ за ширмой у зеркала и охорашивается, мурлыча подъ носъ заунывную деревенскую пѣсню. Оглядѣвъ себя со всѣхъ сторонъ, отходитъ къ кровати, снимаетъ осторожно одѣяло и начинаетъ готовить постель для послѣобѣденнаго отдыха барину. Еле слышное прежде мурлыканье переходитъ въ заунывные, гнусавые звуки безъ словъ.

Андрей (стелетъ кровать).

Э-о-э-о-а-а...

и-и-о-о-ма-а!..

Слышно, что-то тяжелое и громоздкое какъ бы катится по лѣстницѣ внизъ и кричитъ: „Ан-дрі-ій! Ан-дрі-ій!“)

Марѳуша (появляется у открытой задней двери и озирается). А... Андрій!

Андрей (выходитъ изъ-за ширмы). Винъ самый... Чого душа желаетъ, касаточка моя? (Хочетъ обнять ее.)

Марѳуша. Геть! Геть!.. Ны дюже... (Игриво увертывается.) И лакомый жъ! ха-ха-ха!.. Давай швыдче пап...

(Андрей быстро обнимаетъ ее и мясисто цѣлуетъ.)

Марѳуша (вырываясь). А шобъ тоби, чертяка!.. (Утираетъ лицо рукавомъ.) Якъ собака лизаить. Ны якъ ны навучиться по городцькому цалуваться! Хиба жъ о такъ цалуються?

Андрей. А якъ же жъ по городцькому?

Марѳуша. Якъ, якъ... Ны якъ. Попытай свово барина капильмейсира... Давай швыдче папиросы барину!

Андрей (ущипнувъ ее). Эхъ, ты... злющая! (Идетъ къ письменному столу и наполняетъ тутъ же лежащій портсигаръ папиросами изъ коробки.) Винъ ще обидаить?

Марѳуша. Ще. (Вдругъ.) А баринъ твій, бачь, казавъ, шо Христову виру прійметь... ій-Бо!..

Андрей (вытаращивъ глаза). О! И вправду?!

Марѳуша. Ій-Бо!.. (Шопотомъ.) Винъ на барышнѣ женыться хоче, ій-Бо!..

Андрей. А... грец... (Мотая головой.) Губа ны дура...

Марѳуша. Тылько, Андрій, бачь, языкомъ ны болтай, пбтому воно покамисть скрытно...

Андрей. Чого жъ скрытно?

Марѳуша. Тылько барышня та я, быльше ныкто ны знаить. Потому я стою тай смотрю, шобъ барыня якъ-ныбудь ны й зашла, якъ воны цалуються...

Андрей. О! И ловко цалуються?

Марѳуша (воодушевленно). Тай ще якъ! Тылько усё губами, усё губами... Якъ уцѣпяться губами, такъ у менэ ажъ духъ забирае: ну, а якъ ны расцѣпяться? Шо жъ тогда будэ, ій-Бо!.. Хи-хи-хи!..

Андрей (приближается къ Марѳушѣ). Та якъ же жъ воны вцѣ-пляються?..

Марѳуша (отступая и смѣясь). Геть, геть... ха-ха!.. Ну и лакомый же жъ, ха-ха-ха...

Андрей (быстро овладѣваетъ ею, стискиваетъ въ своихъ объятіяхъ и ожесточенно цѣлуетъ). И... эхъ!.. Марѳонья...

Марѳуша (задыхаясь). Тай, н-ну-у тоби... Ан-дрій! Пусты жъ!.. ув-ду-ушишь! (Вырывается.) Хай тоби бисъ, чертяка! Давай швыдче папиросы! А то винъ ще задастъ увъ двохъ...

(Андрей безсознательно ищетъ портсигаръ.)

Марѳуша. Тай отъ же жъ винъ, ха-ха-ха!.. (Схватываетъ со стола портсигаръ и пускается къ дверямъ. На ходу оборачивается.) Тылько, Андрій, бачь, языкомъ ны болтай! Воно покамисть скрытно... (Исчезаетъ.)

Андрей (стоитъ какъ въ столбнякѣ и безсмысленно глядитъ ей вслѣдъ; вдругъ крякнувъ). Эхъ, и дывчина жъ, ядреная баба!.. Одно слово—конхфетъ...

(Стучатъ въ парадныя двери.)

(Андрей, вздрогнувъ, быстро оправляется и, принявъ стройный, солдатскій видъ, отворяетъ. Входитъ Беньемэнъ. Онъ въ формѣ вольноопредѣляющагося; сѣрая изъ грубаго сукна шинель въ накидку.)

Беньемэнъ. Здравствуй, Андрей!

Андрей. Здравія желаю, баринъ! (Снимаетъ съ него шинель и вѣшаетъ.)

Беньемэнъ. Звонокъ, видно, опять не дѣйствуетъ? Звоню, звоню...

Андрей. Такъ тошно. Ны якъ ны звбнить. Ерлектичество зовсимъ спортилось. Ны звбнить.

Беньемэнъ (улыбается, вынимаетъ портсигаръ и закуриваетъ). Да... это не годится. Надо исправить.

Андрей. Шо надо, то й надо. Та я двирэй и ны запираю. Позвбнять, позвбнять, тай сами и отворяють.

Беньемэнъ. Находчиво, ха-ха!.. А капельмейстеръ гдѣ?

Андрей. Изволятъ обидать.

Беньемэнъ. А...—Ты куришь, Андрей?

Андрей. Такъ тошно, курю.

Беньемэнъ (снова раскрываетъ свой портсигаръ). Возьми, братецъ, закури.

Андрей (ухмыляясь, беретъ кончиками пальцевъ папиросу). Покорно благодарю, баринъ.

(Беньемэнъ зажигаетъ для него спичку и даетъ закурить. Андрей старательно закуриваетъ, держа лѣвую руку у шва.)

Беньемэнъ (шагая). Какъ живется, Андрей?

Андрей (куритъ и прячетъ по привычкѣ папиросу въ рукавъ). Нычого соби, баринъ... хорошо.

Беньемэнъ. А много еще тебѣ служить?

Андрей (вздохнувъ). Ще годъ.

Беньемэнъ. Значитъ, три года уже откаталъ?

Андрей. Такъ тошно. Откаталъ.

Беньемэнъ (садится въ кресло). А дома на побывкѣ бывалъ?

Андрей (глубоко вздохнувъ). Такъ тошно... разокъ бувъ.

Беньемэнъ (съ минуту пристально всматривается въ его грустное лицо). Скучаешь по дому, а?

Андрей (глухо и не сразу). Та якъ же жъ, баринъ, ны скучать? Хозяйство жъ усё пропадаить! Батька, такъ винъ вже старій... Дитэй повна хата...

Беньемэнъ (задумчиво). Та-акъ... Хозяйство пропадаетъ... (Встаетъ, шагаетъ съ минуту.) А гдѣ лучше, Андрей: въ ротѣ служить или денщикомъ?

Андрей. Тай служьба одна. Тылько шо тутъ спокойнѣй.

Беньемэнъ. А братъ съ тобою... строгій?

Андрей (не сразу). Шо жъ... начальство...

Беньемэнъ (сдвигая брови). Что, бьетъ?

Андрей (глухо). Тай ны дуже больно...

Беньемэнъ. И... команду?

Андрей (скреба затылокъ). Шо правда, то й правда. (Бросаетъ взглядъ на открытую дверь.) Солдатики изъ музыканьской команды того... жалуються.

Беньемэнъ. Да?!

Андрей (мнется съ минуту, инстинктивно оглядывается на дверь и боязливо произноситъ). Вы, баринъ, добрый чиловикъ... Мини солдатики изъ музыканьской команды просыли, шобъ я вамъ того... шобъ вы якъ-ныбудь того... упросыли его благородіе, шобъ ны дуже того...

Беньемэнъ (блѣднѣя). Ч-что? Сильно бьетъ?..

Андрей (рѣшительно). Та вамъ же можно усю прав-

ду казать... (Понизивъ голосъ.) Увчора его благоро ie господинъ капильмейсиръ одному солдатику, Сендлеру, еврейчикъ винъ, зубъ выбивъ той... якъ его?.. ву... вулторной.

Беньемэнъ (вздрогнулъ и отшатнулся). Не мож...—?!

Андрей. А другій, Гиршманъ, тому вухо ободравъ, ажъ кровь потёкло.

Беньемэнъ. Довольно!.. Довольно!.. (Бѣгаетъ взадъ и впередъ.)

Андрей. Кажинный дэнь, кажинный дэнь когонибудь прибьэть. Тай усе еврейчиковъ. Свои—и бьэть... Вы, баринъ, якъ-нибудь того... шобъ его благородіе ны знали, шо я вамъ казавъ... А то воны ще того...

Беньемэнъ. Нѣтъ, нѣтъ голубчикъ! (Вдругъ останавливается.) Ты давно въ музыкантской командѣ?

Андрей. Вже другій годъ.

Беньемэнъ. Кто жъ былъ раньше капельмейстеромъ?

Андрей. Его благородіе капильмейсиръ Тихфоновъ.

Беньемэнъ. Тоже билъ?

Андрей. Усякій, баринъ, бьэть! И охфицеры бьють... (Глубоко вздохнувъ.) На то и служьба солдатьская...

Беньемэнъ (скрежеща зубами). Всякій бьетъ! Всякій! (Быстро схватываетъ шинель, набрасываетъ ее на плечи и идетъ къ выходу.)

Андрей. А барина дожидаться ны изволитэ?

Беньемэнъ. Н-нѣтъ, голубчикъ, нѣтъ! Мнѣ нужно...

Андрей. Казать, шо булы?

Беньемэнъ. Н-не надо... н-не надо... А спроситъ, скажи: былъ; приду послѣ, теперь не могу. (Быстро скрывается, но тотчасъ просовываетъ голову.) А солдатикамъ передай, что онъ ужъ бить больше не посмѣетъ! Не по-смѣ-етъ! Такъ и скажи! (Исчезаетъ.)

Андрей (смотритъ съ минуту въ дверь, куда скрылся Беньемэнъ). Кабы такого капельмейсира тай Богъ пославъ... Добрый винъ. Эх-хе-хе... (Входитъ за ширму и еще разъ поправляетъ постель.) Та и етотъ нычого соби, тылько бьэться, бисовъ сынъ... (Махнувъ рукой въ пространство, выходитъ изъ-за ширмы.) Тай уси воны, начальство, якъ собаки... Эхъ-ма! Жисть ты наша солдатьская... (Медленно, понуря голову, уходитъ къ себѣ въ чуланъ.)

(Съ минуту сцена пуста.)

(Слышно, кто-то тяжелыми, нетвердыми шагами сходитъ по лѣстницѣ. Вслѣдъ несется трельчатый женскій смѣхъ.)

Голосъ Елены Игнатьевны. Куда жъ вы теперь, Израиль Борисовичъ?

Голосъ Израиля. Н-на боковую, Елена Игнатьевна, н-на боковую... П-фу... тяжело! Ну и кормите жъ, чор-ртъ возьми! Этакъ два-три раза пообѣдать— и капутъ! Отправишься ad patres...

Голосъ Елены Игнатьевны. Ахъ, вы, Сруль, Сруль! Ха-ха-ха!.. Кто жъ заставляетъ васъ такъ много ѣсть, а? Голубчикъ мой, вы лучше пройдитесь!

Голосъ Израиля (сквозь открытую дверь виднѣются уже лакированные сапоги). Je vous r-remer-rcie, ma chère! Ужъ разрѣшите успокоить брюхо лежа... (Смѣхъ Елены Игнатьевны усиливается.)

Голосъ Лиды (грудной, звонкій). Израиль Борисовичъ! Смотрите, не забудьте: духи—ге-лі-о-тропъ!

Голосъ Израиля. Ге-лі-о-тропъ... ге-лі-о-

тропъ... Отлично. Не забуду. Au revoir. Иду н-на боковую... (Сходитъ по лѣстницѣ и на послѣднихъ ступеняхъ начинаетъ тянуть хриплымъ басомъ). „Н-на землѣ весь родъ людско-ой...“ (Входитъ съ пѣніемъ на сцену; на немъ новый темно-зеленый мундиръ разстегнутъ; узкіе плетеные погоны блестятъ; лицо сыто, глаза сонливы, волосы кольцами вьются вокругъ лба.) „...чтитъ одинъ кумиръ свяще-е-енный; онъ царитъ надъ всей вселе-е-енной; тотъ кумиръ—телецъ злато-ой!..“ (Вдругъ.) Ан-дрей! В-ваше благородіе, господинъ денщикъ! (Нараспѣвъ.) Ан-дре-ей!

Андрей (быстро появляясь у дверей). Шо прикажетэ, ваше благородіе?

Израиль (не оборачиваясь). Поди сюда!

(Андрей моментально появляется передъ нимъ.)

Израиль (широко разставивъ ноги, упирается кулаками въ бока и покачивается на каблукахъ). А ну, скажи-ка ты мнѣ: чего по-твоему теперь мнѣ хотѣть, а?

(Андрей ухмыляется.)

Израиль. Чого треба чиловику, якъ винъ гарнэ пообидалъ, а? Андрей?

Андрей (шире ухмыляясь). Ны могу знать, ваше благородіе.

Израиль (мѣняя акцентъ). Какъ такъ? Солдатъ должонъ все знать! Такъ вотъ запомни: ежели человѣкъ плотно пообѣдалъ и... (показываетъ) брюхо у него полнымъ-полно, такъ н-на боковую! Понялъ?

Андрей. Такъ тошно, понялъ.

Израиль. То-то... (Лѣниво направляется къ мягкой мебели.) „Онъ царитъ надъ всей вселе-е-енной...“ (Садится въ кресло.) „...тотъ кумиръ—телецъ злато-ой...“ (Достаетъ портси-

гаръ, закуриваетъ; сонливо.) Въ пять—команда... въ семь—офицерское собраніе... а-а-х-х!.. Н-да! (Задумывается.)

(Андрей выжидаетъ приказанія; замѣтивъ, что Израиль облокотился и задумался, искусственно кашляетъ.)

Израиль. Тебѣ чего?

Андрей. Изволили звать, ваше благородіе.

Израиль. Я?.. Можетъ быть, можетъ быть... (Разваливается въ креслѣ и долго смотритъ въ лицо денщика.) А и глупая у тебя физіономія, Андрей... Почему?

Андрей (слегка моргнувъ вѣками). Ны могу знать.

Израиль (игриво выпуская клубы дыма вверхъ). Родился такъ?

Андрей. Такъ тошно.

Израиль. Ха-ха!.. За это тебѣ, братъ, на чаекъ слѣдуетъ... ха-ха!.. (Достаетъ въ жилетномъ карманѣ монету и намѣревается бросить.) Лови!

(Андрей широко ухмыляется, но держитъ руки у швовъ.)

Израиль. Чего жъ ты руки-то приклеилъ? Лови!

Андрей. Ны полагаеться...

Израиль. Чего не полагается?

Андрей. Придъ начальствомъ тай руками махать...

Израиль. Х-ха-ха-ха!.. ну и молодецъ! Х-ха-ха-ха!.. Молодецъ!

Андрей (ухмыляясь). Радъ стараться, ваше благородіе!

Израиль (хохочетъ). За это, братъ, тебѣ отдѣльно... ха-ха!.. (Достаетъ еще одну монету.) На, возьми!

Андрей (нерѣшительно протягиваетъ руку и принимаетъ монеты). Покорно благодарю, ваше благородіе!

Израиль. Н-да... Службу знаешь, ступай!

(Андрей идетъ къ выходу.)

Израиль. Стой! Вольноопредѣляющійся здѣсь былъ?

Андрей. Такъ тошно, бувъ.

Израиль (полустрого). Чего жъ ты мнѣ не доложилъ?

Андрей. А господынъ вольнопредѣлящій казалы, шо ны надо, потому ще прійдуть.

Израиль. А... Ну, ступай!

(Андрей снова направляется къ выходу.)

Израиль. Ахъ, да... постой!

(Андрей быстро останавливается.)

Израиль. Поди сюда!

(Андрей быстро подходитъ.)

Израиль. Знаешь, что такое ге-лі-о-тропъ?

Андрей. Ныкакъ нѣтъ, ваше благородіе!

Израиль. Значитъ—дур-ракъ!

Андрей. Такъ тошно.

Израиль. Ну и физія жъ у тебя, братъ! Хоть капусту сади. Геліотропъ—это духи, понялъ?

Андрей (хлопая вѣками). Такъ тошно...

Израиль. А чтобъ тебѣ тошнило и не переставало! Чего ты мнѣ свое „такъ тошно“ суешь? Духи, знаешь, что такое?

Андрей (быстро выпрямляется и отрубаетъ). Ныкакъ нѣтъ, ваше благородіе!

Израиль. У, чтобъ тебя чортъ!.. Давай сюда чернила и бумагу!

(Андрей исполняетъ приказаніе.)

Израиль (ворочая ноздрями отъ входящаго въ носъ дыма курящейся во рту папиросы, размашисто пишетъ). Вотъ съ э-той запис-ской пой-дешь въ ап-теку. (Вынимаетъ изо рта папиросу и сворачиваетъ записку.) А знаешь, что такое „ап-те-ка“?

Андрей (выразительно моргнувъ вѣками). Такъ тошно, знаю!

Израиль. А ну скажи-ка, что такое ап-те-ка?

Андрей (убѣдительно). Ихдѣ касторку покупають.

Израиль. Х-ха-ха-ха!.. „Ихдѣ касторку...“ х-ха-ха-ха!.. „покупають“, ха-ха-ха!.. Уморилъ! Уморилъ! Х-ха-ха-ха!..

(Андрей боязливо смотритъ на подпрыгивающаго въ креслѣ Израиля; постепенно боязнь переходитъ въ изумленіе; наконецъ, начинаетъ ухмыляться.)

Израиль. Такъ вотъ... пойдешь, „ихдѣ касторку покупають“, ха-ха-ха!.. и дашь эту записку, ха-ха-ха!.. (Достаетъ деньги, кладетъ на столъ вмѣстѣ съ запиской.) Получишь этакую бутылочку и сдачи. Понялъ?

Андрей. Такъ тошно.

Израиль. Ступай!

(Андрей беретъ деньги съ запиской и уходитъ, плотно закрывая за собой заднія двери.)

Израиль (лѣниво встаетъ, потягивается, влѣзаетъ всей пятерней въ волнистые волосы). А-а... тоже человѣкъ, а-а-а... Царь природы, ха-ха-ха... „Ихдѣ касторку покупають“, ха-ха-ха!.. (Идетъ за ширму и снимаетъ мундиръ.) Теперь, ваше благородіе, н-на боковую! (Вѣшаетъ въ шкафу мундиръ и жилетъ. Задумчиво.) Въ пять—занятія... въ семь—офицерское собраніе... Надоѣло! (Садится на кровать.) Да... А дальше? (Долгая пауза.) Чортъ возьми! Активное участіе прислуги портитъ, отравляетъ все... Надо положить конецъ! (Нервно чешетъ затылокъ, смотритъ на сапоги.) Фью-ю... Фью-ю!.. А сапоги? (Звонитъ.) Андрей! Андрей!..—Ушелъ, дьяволъ! (Силится снять лѣвый сапогъ, топорщится и пыхтитъ съ минуту.) Нѣ-ѣтъ! Безъ денщика—покорно благодарю! (Звонитъ и кричитъ.) Ан-дре-ей! Марѳу-уша-а!

(Андрей, одѣтый въ шинели на одинъ рукавъ, скрипнувъ дверью, входитъ и озирается.)

Израиль. Кто тамъ?

Андрей (быстро одѣваетъ другой рукавъ и появляется за ширмой). Я, ваше благородіе!

Израиль (гнѣвно). Чего жъ ты черепахой ползешь, башка дубовая! (Выставляя ноги.) Сапоги!

(Андрей быстро присѣдаетъ и, надуваясь, стаскиваетъ сапоги.)

Израиль (ввалившись въ кровать). Убери! Почисть! Да такъ, чтобы за версту блестѣли! Понялъ?

Андрей (подбирая сапоги). Такъ тошно.

Израиль (мрачно). „Тощно", „тошно"... Ступай!

Андрей (выходитъ изъ-за ширмы; глаза зло разбѣгаются; отойдя почти къ заднимъ дверямъ, поворачиваетъ стиснутыя челюсти къ ширмѣ; глухо.) Ишь, жидюга пархатый!.. (Исчезаетъ.)

Израиль (лежитъ и сонно смотритъ въ книгу). Не лѣзетъ... (Откладываетъ книгу, полузакрываетъ глаза и сонно тянетъ.) „Онъ царитъ надъ всей... вселе-е-енной... Тотъ кумиръ... те-лецъ... зла-той..." (Засыпаетъ.)

Спустя минуты двѣ дверь въ задней стѣнѣ безшумно и медленно пріоткрывается и голова Мароѳуши осторожно просовывается.)

Мароѳуша (заглядываетъ, поворачиваетъ голову въ коридоръ и говоритъ кому-то шопотомъ). Шш... Винъ, мабуть, вже спыть... (Крадется на цыпочкахъ и осторожно заглядываетъ за ширму.)

(Изъ полуоткрытой двери просовывается головка Лиды; свѣтлорусые волосы заплетены въ длинную косу, переброшенную на слабо развитую грудь; вокругъ тонкаго красиваго лба вьются шаловливо локоны; личико миловидное, но блѣдное; голубые выразительные глаза игриво бѣгаютъ въ орбитахъ, на устахъ — плутоватая улыбка. Она слѣдитъ за крадущейся къ ширмѣ Мароѳушей.)

Мароѳуша (глядитъ за ширму, безшумно возвращается къ Лидѣ). Вже спыть... Тай сладко спыть, ій-Бо!

Лида (входитъ; на ней батистовая блѣдно-розоваго цвѣта кофточка съ широкими рукавами и декольтэ; юбочка свѣтлая, коротенькая, въ кружевахъ; тонкія, стройныя ноги плотно сбтянуты розовыми чулочками и обуты въ маленькія свѣтлыя туфельки. Къ Марѳушѣ шопотомъ.) Теперь иди. Да хорошенько присматривай за мамуськой! Проснется—бѣги сюда и доложи! Слышишь?

Марѳуша. Та я вже знаю! Цэ жъ ны въ пирвый разъ... Ужъ будтэ покойны, барышня! (Уходитъ.)

(Лида подходитъ на цыпочкахъ къ письменному столу, отрываетъ кусочекъ бумажки и, игриво улыбаясь, крадется за ширму. Подкравшись къ изголовью, начинаетъ медленно проводить по ноздрямъ спящаго Израиля.)

Израиль (со сна). М... м... р... р... пф... п-шелъ! (Дѣлаетъ движеніе рукой по воздуху.)

(Лида тихо прыскаетъ и продолжаетъ щекотать.)

Израиль. ...—М... п-шелъ! Пшя крэвъ! Donnerwetterrr! (Пробуждается и смотритъ широко передъ собой.)

(Лида притаилась у изголовья, придерживая ладонью ротъ. Вдругъ разражается звонкимъ хохотомъ.)

Израиль. Лидочка! Голубушка!

(Лида дѣтски-шаловливо прыгаетъ къ нему, продолжая хохотать.)

Израиль (опустивъ ноги на коверъ, усаживаетъ ее къ себѣ на колѣни и осыпаетъ поцѣлуями). Милый, ангелъ мой! Вотъ... (цѣлуетъ) ...вотъ тебѣ въ наказаніе, голубоглазая ты моя шалунья!

Лида (прильнувъ къ его груди). „Пшя крэвъ!“ „Donnerwetterrr!“ ха-ха-ха...

(Беньемэнъ хмурый входитъ. Смѣхъ Лиды за ширмой поражаетъ его. Онъ впивается въ ширму широко открытыми глазами, держась за спинку кресла.)

Лида. Постой... Кажется, вошелъ кто-то... (Прислушивается.)

Израиль (тоже прислушивается; ласкаю). Показалось тебѣ. Какъ ты напугана. Все мерещится, что слѣдятъ... А мама... спитъ?

Лида (нѣжась). Спитъ. (Тихо вздохнувъ.) А Марѳуша сторожитъ... (Слабо смѣется.) Поразительно глупа... Словно священнодѣйствуетъ...

Израиль (глухо). Сто-ро-житъ!.. (Пауза.) Сколько горькой обиды, нелѣпой мерзости въ этомъ словѣ! И долго еще это будетъ продолжаться, Лида?

Лида (задумчиво). Терпѣли столько, потерпимъ еще съ недѣльку.

Израиль. И тогда?

Лида. Тогда—? Тогда, мой „вольный сынъ эѳира...", уйдемъ „въ надзвѣздные края-я"... Ха-ха-ха!..

Израиль. Нѣтъ, право... Почему бы и мнѣ не знать, что за причина такая удерживаетъ тебя отъ объясненія съ родителями теперь, сейчасъ? Это... это даже обидно, Лидочка, право...

Лида. Бѣдный ты мой, бѣдный мальчикъ... Обижаютъ тебя... (Цѣлуетъ и смѣется.) А знаешь? Если бъ я тебѣ сказала причину, ты въ правѣ былъ бы вдвое обижаться... Да.

Израиль. Нѣтъ, Лида! Это нехорошо... Между нами не должно быть тайнъ! Пусть обидно будетъ вдвое, втрое, но все на ладони! Открыто, чистосердечно!

Лида (подумавъ). Ну, хорошо—открою. Слушай. Родители мои никогда не согласятся выдать меня за тебя... Не придавай много значенія тому, что мама къ тебѣ внимательна—это у нея болѣзнь такая... ко всѣмъ быть внимательной, заботливой... Да. Но мама и папа мечтаютъ бррракосочетать свою дочь, сію пер-

сону, съ барономъ или княземъ, вѣрнѣе—съ милліонеромъ... Ты вѣдь маму знаешь?.. Итакъ, если я теперь заявлю имъ о нашихъ отношеніяхъ, они прямо на дыбы станутъ... И пойдетъ писать губернія... Вотъ я и подхожу къ самому главному. Въ противовѣсъ моему упорству они... ну... лишатъ меня наслѣдства, понимаешь? Совершенно лишатъ. Въ этомъ я убѣждена. А я этого не хочу! Не хочу, чтобъ наша любовь повлекла за собой нужду и для тебя, и для меня! Подождемъ еще съ недѣльку, тогда на мое имя будетъ переписано мамино имѣніе. Мама уже начала объ этомъ хлопотать. И когда все дѣло будетъ въ шляпѣ, я и преподнесу имъ сей сюрпризъ... Чего ты такъ нахмурился? У... какіе страшные глаза ты сдѣлалъ! Чего?

Израиль. Та-акъ... Ларчикъ, значитъ, просто открывался... (Смотритъ мгновеніе ей прямо въ глаза.) И вотъ тебѣ мой искренній и единственный отвѣтъ: если ты сегодня же не объяснишься съ родителями, мы... мы должны будемъ разстаться, Лида!

Лида. Что? (Дѣлаетъ движеніе сойти съ колѣнъ.)

Израиль (привлекая ее снова къ себѣ). Дорогая! Понимаешь ли ты, какими послѣдствіями чревато твое глупое имѣніе? Ахъ, Лида, Лида! Пойми, вѣдь я, я буду козломъ отпущенія всей твоей затѣи въ глазахъ всѣхъ! Твои родители, ихъ нахлѣбники, весь полкъ увидятъ во мнѣ низкаго, мерзкаго шулера, такъ какъ кто же могъ быть твоимъ вдохновителемъ на этотъ славный подвигъ, если не я? Конечно, я! Дорогая! Пусть лучше нужда постигнетъ насъ, чѣмъ грязная людская молва... Смотри: я здоровъ, силенъ! Нужды терпѣть не будемъ! (Обнимаетъ ее.) Оставь, оставь свою затѣю!.. а, Лида?

Лида (задумчиво). Не подумала объ этомъ... совсѣмъ не думала. (Прильнула.) Ты правъ... ты правъ... Да, да! Сегодня же я объяснюсь!

Израиль (цѣлуя). Я снова пріобрѣлъ тебя, мой милый, добрый геній! Ты вновь моя! Моя! (Долгій нѣжный поцѣлуй.)

(Сверху глухо доносится голосъ Елены Игнатьевны: „Лида! Лидочка!" Беньемэнъ какъ бы пробуждается отъ долгаго тяжелаго сна; онъ бросаетъ вокругъ блуждающій взглядъ и при второмъ окрикѣ Елены Игнатьевны начинаетъ сознавать свое неудобное положеніе. Спотыкаясь, онъ пятится къ выходу и исчезаетъ.)

Гол. Ел. Игн. Куда же она скрылась, а? Марѳуша!

Гол. Марѳуши (слышно, взбирается по лѣстницѣ). Та иду-у! Чого тамъ?

Гол. Ел. Игн. Куда же это черти васъ порастаскали? Гдѣ Лида, а?

Гол. Марѳуши. У садочку... Гулять пишлы...

Гол. Ел. Игн. Бѣги живѣй да позови! Модистка платье принесла! Ну, живо...

Гол. Марѳуши (слышно, какъ она катится внизъ по лѣстницѣ). Тай чича-асъ!

Лида (давно уже насторожилась). Никакъ мамуська зоветъ?

Израиль. И пусть зоветъ...

Марѳуша (безшумно открываетъ дверь и быстро входитъ; на лицѣ безпокойство. Плотно притворивъ дверь, зоветъ глухимъ голосомъ). Барышня! а, барышня! Барыня клыче! Тай швыдче, а то воны догадаються...

Лида. Иду, иду!..—Пусти, Израиль!

Израиль. Значитъ, рѣшено: сегодня?

Лида. Да. Сегодня.

Израиль. И нашей клятвой будетъ—вотъ...

(Раздается звонкій поцѣлуй.)

Марѳуша (переминаясь съ ноги на ногу). Тай будэ жъ вамъ! отъ грихъ! Ны якъ ны расцѣпяться...

(Лида быстро выбѣгаетъ изъ-за ширмы.)

Марѳуша (заломивъ руки). И... мати мои родніи! Та якъ же жъ вы покажетесь барыни о такъ? Воны жъ изразу и догадаються...

(Лида виновато улыбается и слегка дрожащей рукой поправляетъ растрепавшіеся волосы.)

Марѳуша (безпокойно). Отъ грихъ, отъ грихъ... (Быстро просовываетъ голову въ коридоръ и, осмотрѣвшись вокругъ, снова поворачиваетъ лицо къ Лидѣ.) Пидъ лисницу, пидъ лисницу упередъ, шобъ ны такъ потны булы...

(Лида торопливо выходитъ.)

Марѳуша (слѣдуя за ней) ...отъ грихъ, отъ грихъ...

(Уходятъ.)

(Израиль сидитъ въ глубокой задумчивости, упершись локтями въ колѣна и опустивъ на руки голову.)

(Андрей входитъ, держа флаконъ духовъ; ставитъ его на столъ, оглядывается на ширму и направляется къ выходу.)

Израиль (поднявъ голову). Кто тамъ?

Андрей. Я, ваше благородіе!

Израиль. А... (Встаетъ, всовываетъ ноги въ стоящія у кровати ночныя туфли, идетъ къ умывальнику и умывается.)

(Андрей стоитъ, выжидая, очевидно, приказанія.)

(Беньемэнъ медленно входитъ; лицо хмуро, глаза ушли глубоко въ орбиты, взоръ острый. Онъ вяло сбрасываетъ съ плечъ шинель бросаетъ ее на спинку кресла и садится, всматриваясь въ одну точку передъ собой.)

(Андрей пытливо смотритъ на его удрученный видъ и участливо поводитъ головой.)

Израиль (утираетъ лицо полотенцемъ, кричитъ). Андрей!

Андрей (быстро шмыгнувъ за ширму). Шо прикажетэ, ваше благородіе?

Израиль. А... ты тутъ? Живо сапоги!

(Андрей убѣгаетъ въ чуланъ.)

(Беньемэнъ хмуро обернулся въ сторону ширмы; нервно достаетъ портсигаръ, закуриваетъ.)

Израиль (поднимаетъ голову и чутко прислушивается). Что за чортъ?! Галлюцинація, что ли? То показалось, кто-то вышелъ... Теперь... (Осторожно просовываетъ голову изъ-за ширмы и съ минуту пытливо всматривается въ облокотившагося въ задумчивости Беньемэна.) Гм... (Скрывается за ширму.) Особенно задумчивъ... (Одѣваетъ воротникъ, затѣмъ жилетъ.) Н-да...

(Андрей вноситъ блестящіе сапоги и ставитъ ихъ у кровати. Останавливается поодаль и выжидаетъ.)

Израиль (садится на кровать и начинаетъ натягивать правый сапогъ; головка сапога болтается, и нога не лѣзетъ дальше въ голенище. Онъ бросаетъ строгій взглядъ на Андрея). Чего жъ ты хлопаешь глазищами, дуракъ! Не видишь, что ли? Головку придержи!

(Андрей моментально опускается у его ногъ и помогаетъ одѣть.

Израиль (обувшись). Ступай!

(Андрей уходитъ въ чуланъ.)

Израиль (тщательно расчесываетъ свои кудри у зеркала, закручиваетъ усы; затѣмъ достаетъ мундиръ и, одѣвая его, выходитъ изъ-за ширмы). А, ты здѣсь?..

Беньемэнъ. Да.

Израиль. Отослалъ?

Беньемэнъ. Вотъ расписка.

Израиль (закуриваетъ папиросу и шагаетъ). Да... Выживетъ ли отецъ до полученія этихъ денегъ...

Беньемэнъ. Тѣмъ лучше для него.

Израиль (быстро вскинулъ на него глаза, но тотчасъ снова опускаетъ голову). Пожалуй, лучше... Мученіе — не жизнь...

Беньемэнъ. И впереди не видно радостей.

Израиль (сдвигаетъ брови; послѣ краткаго молчанія). Ты отпускъ получилъ?

Беньемэнъ. Да.

Израиль. На сколько?

Беньемэнъ. На мѣсяцъ.

Израиль. Для меня, признаться, твоя поѣздка очень кстати.

Беньемэнъ (въ упоръ). Да?

Израиль. Чего ты такъ... уставился? — Какой у тебя странный взглядъ... Не люблю, когда вотъ такъ смотрятъ... (Отвернулся, тронулъ слегка струны віолончели: тихіе, стонущіе звуки дрогнули и повисли въ воздухѣ.) А кстати потому, что дома, какъ видно изъ письма, не совсѣмъ благополучно. Я ѣхать не могу. Такъ вотъ... замѣнишь кстати и меня.

Беньемэнъ. Кстати замѣнить... (Долго молчитъ.) Да. Придется.

Израиль. Странный ты сегодня. Говоришь— словно рублемъ даришь или жертву великую приносишь.

Беньемэнъ. Послѣднее вѣрнѣе.

Израиль. Скажи-ите. Не зналъ. — Когда ѣдешь?

Беньемэнъ. Не рѣшилъ еще.

(Пауза.)

Израиль (присаживается у другого конца стола). Я думаю... медлить тебѣ не зачѣмъ...

Беньемэнъ. Ты думаешь?

Израиль. Да... Къ тому же... ты долженъ сослужить мнѣ дома маленькую службу...

Беньемэнъ. Тогда поѣду хоть сегодня.

Израиль. Гм... Трогательно!

Беньемэнъ. Непріятно? Тогда поѣду черезъ недѣлю.

Израиль. Еще болѣе трогательно... Ха!.. За что такая милость?

Беньемэнъ. Я милостивъ ко всѣмъ.

Израиль. Гм... (Съ удареніемъ.) И даже ко мнѣ?

Беньемэнъ (съ тѣмъ же удареніемъ). И даже къ тебѣ!

Израиль (зло). Не потому ли, что ты мнѣ коечѣмъ обязанъ?

Беньемэнъ (встаетъ). Я этимъ не торгую! А счеты мы когда-нибудь сведемъ.

Израиль (смущенно). Н-да... (Хлопаетъ по голенищу.) Ты, Беньемэнъ, человѣкъ — какъ тебѣ сказать?—человѣкъ...

Беньемэнъ. Ты уже сказалъ. Я—человѣкъ. И больше ничего.

Израиль. Нѣтъ, право... ты сегодня не въ духѣ...

Беньемэнъ (выпрямляется, подходитъ къ нему вплотную). Послушай, Израиль, можно ли съ тобой говорить теперь серьезно?

Израиль. Еще серьезнѣе? Что жъ, я къ вашимъ услугамъ...

Беньемэнъ. Оставь этотъ водевильный тонъ!

Израиль. Вы настроены очень трагически, молодой человѣкъ, а это вредно... Ну-съ, я весь вниманіе... (Разваливается въ креслѣ, на устахъ насмѣшливая улыбка.)

Беньемэнъ (стиснувъ челюсти, смотритъ мгновеніе въ упоръ). Израиль! Ты... бьешь солдатъ, и это подло!

Израиль (вздрагиваетъ, выпрямляется въ креслѣ). Что?.. Повѣжливѣе, повѣжливѣе, молодой человѣкъ! Ну-съ, и это все?

Беньемэнъ. Это подло, но не все!

Израиль (стараясь быть хладнокровнымъ). Дальше?

Беньемэнъ (зловѣще.) И если ты будешь продолжать истязаніе солдатъ, тебя съ позоромъ заставятъ уйти изъ полка! Это рѣ-ше-но!

Израиль (въ глазахъ сверкнулъ злой огонекъ). Смѣло. Кто жъ это за-ста-витъ?

Беньемэнъ (громовымъ голосомъ). Я!

Израиль. Х-ха-ха-ха!..—Господинъ вольноопредѣляющійся! Прочтите воинскій уставъ. Внимательнѣе просмотрите тѣ страницы, гдѣ говорится о чинопочитаніи. Я—классный чиновникъ того полка, гдѣ вы числитесь нижнимъ чиномъ! (Быстро отходитъ къ письменному столу и нервно перебираетъ нотные листы.)

Беньемэнъ (долго смотритъ ему вслѣдъ и разражается хохотомъ). Забавно! Ха-ха-ха... Итакъ, вы классный чиновникъ? Ха-ха-ха...

Израиль (багровѣя). Прошу не забываться!

Беньемэнъ (грозно). И вамъ совѣтую не забываться, господинъ классный чиновникъ!

Израиль. Или я сейчасъ пишу рапортъ командиру полка!

Беньемэнъ. Гм... Рапортъ.!? (Усмѣхнулся.) Слѣпой ты человѣкъ!—Что жъ. Поспоримъ. Поспоримъ, господинъ классный чиновникъ. Ха-ха... (Подошелъ вплотную, зловѣще.) А знаете ли вы, съ кѣмъ вамъ придется поспорить?!—Вотъ съ кѣмъ. Читайте. Предъ вами приговоръ исполнительнаго комитета военной боевой дружины, господинъ „ррапорртистъ“!.. И если чьялибо подлая рука коснется вотъ этого „подвластнаго“ вамъ „нижняго чина“, то... внимательнѣе прочтите подчеркнутыя строки, господинъ классный чиновникъ!

Израиль (прочелъ, вздрогнулъ, приподнялся). Ты... страшный человѣкъ. Я... я тебя не зналъ...

Беньемэнъ. Да. Шутить со мной я не совѣтую. (Быстро принимаетъ со стола бумагу.) Содержаніе намъ извѣстно. (Рветъ на клочки.) Прими все къ свѣдѣнію. Будь теперь остороженъ не только въ дѣйствіяхъ, но и на словахъ. Все должно остаться втайнѣ. Въ противномъ случаѣ рискуешь жизнью.

Израиль (растерялся). Я... я... конечно, конечно. И... напрасно ты это... ей-Богу. Зачѣмъ такой шумъ изъ-за... Я, правда, немного вспыльчивъ... иной разъ и... ну да... Но...

Беньемэнъ. Мой долгъ былъ — открыть тебѣ глаза. Теперь ты знаешь, что твой всесильный „рапортъ"—пустой звукъ. Есть болѣе справедливый, но и болѣе грозный судія. Ты знаешь кто.—Вопросъ исчерпанъ. Дальнѣйшее зависитъ отъ тебя. Одно изъ двухъ: либо выполнить рѣшеніе комитета, либо оставить полкъ.

Израиль. Странно... очень странно... непонятно даже, ей-Богу. Похоже на сонъ.

Беньемэнъ. Да. Ты спалъ. Долго спалъ. Наконецъ и тебя встряхнули, разбудили. Запомни же, что все, что ты теперь узналъ,—сама дѣйствительность. Сама дѣйствительность! — Теперь прощай. Завтра ѣду домой. Что прикажете передать страдальцамъ-родителямъ?

Израиль (вздрогнулъ, расширилъ зрачки). Страдальц..?

Беньемэнъ. Они выстрадали тебя. Ты — ихъ единственная опора. Можешь ли ты имъ служить опорой дольше?

Израиль (не сразу, глухо). Нѣтъ.

Беньемэнъ. Причина... Лида?

(Израиль молчитъ; съежился.)

Беньемэнъ. Лида?

Израиль (глухо). Да.

Беньемэнъ (послѣ долгой паузы). Я передамъ: „Израиль вамъ прислалъ свой прощальный привѣтъ. Онъ покупаетъ свое счастье несчастьемъ безпомощныхъ родителей“.—Прощай. (Быстро скрывается.)

Израиль (смотритъ широко въ дверь, куда скрылся Беньемэнъ; вдругъ обводитъ вокругъ испуганнымъ взоромъ и словно прислушивается къ отдаленному эху). ...Онъ... покупаетъ... свое счастье... несчастьемъ... безпомощныхъ... родит... (Вздрагиваетъ; бѣжитъ къ параднымъ дверямъ, простирая впередъ руки.)

Голосъ Лиды (глухо доносится сверху). Изра-аиль Борисовичъ! а Израиль Борисовичъ!

(Израиль мгновенно останавливается, боязливо озирается и прислушивается.)

Голосъ Лиды. Андрей! баринъ всталъ?.. Такъ зови къ чаю.

(Израиль грузно опускается въ ближайшее кресло, склоняетъ голову на руки. Плечи его конвульсивно вздрагиваютъ, слышны глухія рыданія.)

Андрей (появляясь у дверей). Ваше благородіе! Лида Лександровна къ чаю просить изволятъ. (Изумленно всматривается.)

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Комната стариковъ Лейбмановъ. Мастерская упразднена. Занавѣсъ снятъ. Виднѣются только на поперечномъ бревнѣ потолка длинные гвозди, на которыхъ раньше держался занавѣсъ. Мебель нѣсколько обновлена и переставлена. На стѣнахъ красуются фотографіи изъ военной жизни. Между ними выдѣляется большая фотографія военнаго оркестра во главѣ съ Израилемъ и другими начальствующими лицами. Время далеко заполдень. У плиты стоитъ Брохэ; рукава засучены, слѣдитъ за кипящимъ молокомъ. Бейлэ, кряхтя и охая, копошится тутъ же у шкафа.

Бейлэ (**доставая стаканъ и блюдечко.**) Ты всегда только защищаешь. Они тебя въ рай поведутъ за это? Жди, жди. (**Прихрамывая, тащится къ столу.**)

Брохэ. Ну, обвиняй,—станетъ легче? Всѣ дѣти теперь такія, всѣ! Я же вижу. Со дня его пріѣзда навѣрное сто человѣкъ перебывало у меня въ домѣ всякаго сорта: и ободранные студенты, и общипанные гимназисты, и сапожники, и портные, и изсохшія портнихи... А Беньемэнъ хоть пять минутъ сидитъ дома? Гу-га... Гу-га... И нѣтъ его. Исчезъ. Хоть кричи караулъ...

Бейлэ (**поставивъ стаканъ и блюдечко на столъ, опустилась на табуретку и сидитъ въ глубокой задумчивости**). Что мнѣ говорить. Нечего мнѣ говорить. Кого-кого, но Беньемэна мнѣ нужно благодарить, благодарить... Охо-хо... Это онъ втянулъ Мирлъ въ эти „дѣла“, онъ! Со всякимъ—чортъ знаетъ что!—она „товарищъ“, на „ты“... Велвлъ, этотъ идіотъ, онъ тоже цѣлый „я тебѣ дамъ“. Онъ тоже съ Мирлъ „духовный братъ“... Ну—? Таки нужно было мнѣ кожу съ себя сдирать—учить въ

гимназіи. И что? Чтобъ она могла съ каждой пакостью таскаться по цѣлымъ днямъ и ночамъ!

Брохэ (слегка съ припѣвомъ). Слушай, Бейлэ, это отъ Бога. Все въ Его святой волѣ. Когда имъ суждено быть цѣлыми и невредимыми, такъ Всемогущій ихъ защититъ. Мы здѣсь ничего не можемъ подѣлать. Богъ и только Богъ. Будемъ взывать къ Его святому имени. А когда у другихъ дѣти совсѣмъ повыкрещиваются—это лучше?.. что? Намъ еще нечего грѣшить.

Бейлэ. Вотъ люблю я слушать эти глупыя рѣчи! „Богъ", Богъ", „Его святому имени"... Что вдругъ за сравненіе: повыкрещиваются .. повышмерщиваются. Лишь бы говорить чепуху!

Брохэ. Ну... что ты умнѣе всего свѣта, это я уже давно знаю... Всѣ твои бѣдствія отъ твоего ума...

Бейлэ. Отъ моего ума, не отъ моего ума, оставимъ это!.. Скажи мнѣ лучше, тебѣ Беньемэнъ тоже ничего не говоритъ объ Исроэлѣ?

Брохэ. Я ей разсказываю, что онъ даже о себѣ ничего не говоритъ, такъ она спрашиваетъ... И еще говоритъ, что она умна!

Бейлэ (задумчиво). Нѣтъ. Не нравится мнѣ его молчаніе объ Исроэлѣ. Не нравится. (Тяжело вздыхаетъ.)

Брохэ. Ша-а... Новость! Что значитъ, тебѣ не нравится?

Бейлэ (сама съ собой). Сколько разъ я съ нимъ ни заговаривала объ Исроэлѣ, вижу на лицѣ у него что-то нехорошее... нехорошее... Ой, не нравится мнѣ это...

Брохэ. Теперь уже ты видишь, какъ плохо быть черезчуръ умной? Хм... На лицѣ она видитъ у него

что-то нехорошее... ну? Не нужно развѣ смѣяться? Тотъ навѣрное даже не слышалъ, что ты у него спрашиваешь! Онъ, я могу побожиться, думалъ въ ту минуту о собраніяхъ, сходкахъ, ихъ „дѣлахъ“, а она... Вотъ послушай меня глупую: дай Богъ Берлу такъ скоро встать здоровымъ съ больной постели, какъ Исроэль свѣжъ и здоровъ!

Бейлэ (видно, не слушала ея). А?

Брохэ (быстро дуетъ на вздымающееся молоко). Пф-фу-у! П-фу... На... мигъ одинъ... и не удержишь! Пф-фу... (Несетъ молоко къ столу, гдѣ сидитъ Бейлэ и наливаетъ въ стаканъ.)

Бейлэ. Охъ, Владыко вселенной...—Ну, довольно, будетъ.

Брохэ. Хоть бы выпилъ онъ. Ой, горе, горе...

Бейлэ (глубоко вздохнувъ, приподнимается). Ну, идемъ. Придержишь подушку...

Брохэ. А ложечку? Ложечку ты взяла?

Бейлэ (подхрамывая, тащится къ дверямъ спальни). Тамъ, тамъ есть ложечка... О-о... ноги мои, но-ги...

Брохэ (слѣдуя за ней). Когда я говорю, оставь этихъ докторовъ-шмокторовъ и зайди къ той знахаркѣ! Она же глазомъ... (Скрываются.)

(Съ минуту сцена пуста.)

(Дверь робко пріоткрывается, и голова Мирлъ просовывается; глаза ея, ушедшіе глубоко въ орбиты, безпокойно обѣгаютъ всю комнату.)

Мирлъ (въ мантилькѣ, черный платокъ на головѣ). Постойте тутъ, Велвлъ. Я сейчасъ сюда принесу. (Притворяетъ дверь, подходитъ на цыпочкахъ къ дверямъ спальни, прислушивается. Затѣмъ быстро подбѣгаетъ къ шкафу, опускается на полъ и рукой вышариваетъ изъ-подъ него узелокъ. Снова подходитъ къ дверямъ спальни, прислушивается и торопливо идетъ къ дверямъ сѣней и пріоткрываетъ ихъ.) Зайдите. Скорѣй.

Велвлъ (быстро появляется; въ глазахъ свѣтится сознательность). Ну?

Мирлъ (лихорадочно вынимаетъ изъ узелка одинъ револьверъ). А вотъ остальное отнесите руководителямъ отряда. (Прячетъ свой револьверъ въ карманъ юбки.)

Велвлъ (принимая). Зачѣмъ вамъ револьверъ?

Мирлъ. Я тоже въ боевомъ отрядѣ.

Велвлъ (выпуча глаза). Что?.. Нѣтъ, вамъ туда не надо. У насъ довольно рабочихъ. На надо, Мирлъ!

Мирлъ (мягко улыбается). Идите, идите, Велвлъ. Вотъ что: скажите Беньемэну, что я жду его. Ну, идите, а то еще мама васъ увидитъ.

Велвлъ (уходя). А все-таки вамъ не нужно въ боевой отрядъ... Ну, какъ хотите... (Уходитъ.)

(Мирлъ задумчиво снимаетъ мантильку и платокъ и начинаетъ медленно ходить взадъ и впередъ, забросивъ руки за голову.)

Голосъ Бейлэ (изъ спальни). Ой, Берлъ, Берлъ! Мучаешься самъ и мучаешь насъ...

Голосъ Брохэ. Будьте же человѣкомъ, ребъ Берлъ!

(Слышно глухое бормотанье больного, прерываемое долгимъ глухимъ кашлемъ.)

Мирлъ (конвульсивно вздрагиваетъ, останавливается и вперяетъ взоръ въ дверь спальни). „Пас-сив-ная... жерт-ва“... Бѣдный, бѣдный старикъ... (Понуря голову ходитъ и спустя минуту начинаетъ тянуть стонущимъ сопрано.)

„Унеси мою душу въ ту синюю даль,
тамъ гдѣ степь золотая легла на просторѣ,
широка, какъ моя роковая печаль,
какъ мое безысходное горе...“

(Беньемэнъ появляется у порога въ военной формѣ и слушаетъ.)
(Мирлъ, не замѣчая его присутствія, продолжаетъ.)

„Разбужу я былыя надежды мои...“ (Обрываетъ.)

Какъ долго! (Вдругъ замѣчаетъ.) А... Беньемэнъ! (Бросается къ нему.)

Беньемэнъ (заключая ее въ свои объятія). Полжизни, Мирлъ! Полжизни я бы отдалъ, чтобъ еще минуту остаться незамѣченнымъ тобою и слушать... Милая! Вся душа твоя вылилась въ этихъ дивныхъ звукахъ! (Цѣлуетъ.) Я только встрѣтилъ Велвла. (Смотритъ мгновеніе ей въ глаза) Правда то, что онъ сказалъ мнѣ?..

Мирлъ. Объ этомъ мы поговоримъ... А что тамъ? Готово все?

Беньемэнъ. Да. Будетъ грандіозно. Всѣ партіи объединились для общаго выступленія... Такъ ты безповоротно?..

Мирлъ. Постой. На когда назначено?

Беньемэнъ (вынимая часы, смотритъ). Черезъ часъ.

Мирлъ (словно эхо). Че-резъ часъ... Сядемъ. Вотъ здѣсь. Такъ... Помнишь, въ первый день твоего пріѣзда мы сидѣли въ саду и говорили объ Израилѣ. Ты говорилъ: „Израиль—жертва нашей дважды ненормальной жизни...". О нашихъ отцахъ и матеряхъ ты также говорилъ, что они жертвы... Хорошо. „Но быть такими жертвами... постыдно!" Такъ говорилъ ты, да?

Беньемэнъ. Да. Я говорилъ это.

Мирлъ. „Потому что они пассивныя жертвы"— вотъ почему постыдно, не такъ ли?

Беньемэнъ. Развѣ ты съ этимъ не согласна?

Мирлъ (встаетъ). Я больше чѣмъ согласна! И даже безповоротно рѣшила искупить этотъ позоръ!.. Да Я иду въ боевой отрядъ.

Беньемэнъ (хватаетъ ее за руку). Но... это безуміе, Мирлъ!

Мирлъ. Что ты называешь безуміемъ?

Беньемэнъ. Быть напрасной жертвой.

Мирлъ (выпрямляясь). Напрасной? Я тебя не понимаю.

Беньемэнъ. Въ боевой отрядъ отобраны всѣ рослые, здоровые, привыкшіе къ опасности. Ты своимъ присутствіемъ можешь лишь разстроить ихъ ряды! И ты рискуешь быть отвѣтственной за наше пораженіе!

Мирлъ (сверкая глазами). Я?.. Будь спокоенъ. Я буду впереди.

Бейлэ (выходя изъ спальни). Сейчасъ. Сейчасъ налью. (Входитъ, держа въ рукахъ опорожненный стаканъ.) А, вы дома? Рано. (Идетъ къ столу, гдѣ молоко.) Какъ я вижу по васъ, ваши „дѣла“ не къ лучшему... а? Посмотрѣть на тебя, Мирлъ, можно подумать, что у тебя или отецъ боленъ, или мать больна... Озабоченная такая... Охохо... Бѣгите, бѣгите, дѣти... Набѣжитесь!.. Вору висѣлицы не избѣжать, не избѣжать... (Наливаетъ молоко.)

Мирлъ (сдвинувъ мрачно брови, одѣваетъ мантильку и платокъ). Мама, я тебѣ теперь не нужна?

Бейлэ (идя съ стаканомъ молока). Ша... Что это сегодня за вопросы? Ты же всегда уходишь и не спрашиваешь, нужна ли ты, не нужна. Что это сегодня ты такая хорошая стала?

Мирлъ. Значитъ, я тебѣ теперь не нужна?

Бейлэ. Ночевать же ты придешь... а?

Мирлъ. Не знаю... Мы пойдемъ гулять.—Ну, идемъ, Беньемэнъ.

Беньемэнъ. Идемъ...—Мама здѣсь, тетя?

Бейлэ. Какіе вы вдругъ добрые стали... Здѣсь. Она тебѣ нужна?

Беньемэнъ. Нѣтъ... Я такъ спросилъ... Ну, идемъ, Мирлъ.

(Медленно, въ замѣтномъ замѣшательствѣ, оба уходятъ.)

(Бейлэ стоитъ и смотритъ имъ вслѣдъ; глубоко вздохнувъ, входитъ въ спальню.)

Гершъ (полуоткрывъ дверь и оставаясь еще въ коридорѣ). А вы мнѣ таки теперь нужны будете, Беньемэнъ...— А—?.. Ну, что жъ... Если вамъ некогда, такъ нечего говорить... (Входитъ; онъ въ субботнемъ одѣяніи.) Эхе-хе... Такъ крутится свѣтъ, такъ крутится свѣтъ... (Ставитъ палку въ уголокъ, вынимаетъ изъ задняго кармана красный платокъ и оглядывается. Въ спальнѣ слышны голоса.)

Голосъ Бейлэ. Ты это долженъ выпить, Берлъ!

Голосъ Брохэ. Ну, скажите, что вы за человѣкъ, Берлъ? Это же чистое молоко! Докторъ же велѣлъ... ну?..

Гершъ (покачиваетъ головой). Охо-хо... (Садится на диванъ и раскрываетъ табакерку съ нюхательнымъ табакомъ.) Имѣть такого сына и... (Долго смотритъ на фотографію.) Офицеръ! Настоящій офицеръ! Какъ я еврей. Иди скажи, что это сынъ Берла старьевщика... хе... заплюютъ лицо, заплюютъ! На... (Барабанитъ съ минуту по табакеркѣ.) Такъ на тебѣ, Берлъ, кишки... и пусть онѣ тебѣ вылѣзаютъ... Болѣзнь, а?.. Еврейская болѣзнь... Охо-хо... (Втягиваетъ большую дозу табаку.) Ай, евреи, евреи... (Чувствуя потребность чихнуть, онъ нѣсколько разъ наклоняетъ голову, но не чихая, приходитъ въ раздраженіе.) На!.. а-чхи!.. а-чхи!.. а-чхи!.. А... Владыко вселенной!

Бейлэ (выглядывая изъ дверей спальни). А, ребъ Гершъ! А я думаю, кто это тамъ чихаетъ...

Гершъ. Думали котъ, а? Оказывается, самъ Гершъ... Ну, какъ Берлъ?

Бейлэ (кряхтя выходитъ). Э... Онъ свою пѣсенку уже спѣлъ... (Садится.)

Гершъ. Ну! Еврей такъ скоро не умираетъ. Еврей себѣ мучается, но живетъ, а враги израиля себѣ лопаются, хе-хе... Можно зайти къ нему?

Бейлэ. Засыпаетъ... (Тихо стонетъ и третъ украдкой ноги.)

Брохэ (выходитъ изъ спальни и плотно закрываетъ дверь). Ой, Владыко вселенной... (Садится.) Чѣмъ такъ жить и мучиться, ребъ Гершъ, такъ ужъ лучше умереть...

Гершъ (взявъ въ руку концы бороды). Ну, ну, Брохэ! Если бы всѣ евреи, которые мучаются, лучше умирали, такъ вы бы имѣли на всемъ свѣтѣ полтора еврея, и то бъ они были крещеные...

Бейлэ. О-охъ... Думаете, свѣтъ бы навѣрное перевернулся безъ евреевъ? Свѣтъ бы остался свѣтомъ, о-о... (Третъ ноги.)

Гершъ. Безъ евреевъ? Такъ я вамъ таки скажу, что нѣтъ! Я васъ спрашиваю, что это за свѣтъ былъ бы безъ евреевъ? На свѣтѣ должны же быть бѣдняки... Кто ихъ доставляетъ? Евреи. На свѣтѣ должны же быть разные катары. Кто ихъ доставляетъ? Евреи...

Бейлэ (слабо улыбается). Развѣ, развѣ такъ... Скажите уже: на свѣтѣ должны быть опухшія ноги, такъ еврейки доставляютъ...

Гершъ. Только ноги? Вотъ вамъ моя жена—и ноги, и руки, и животъ, и...—что вы еще хотите?.. вся, вся опухшая... Охо-хо...

(Долгая пауза. Брохэ и Бейлэ поперемѣнно тяжело вздыхаютъ.)

Гершъ. Да... Такъ, такъ... Охо-хо... Такъ вертится свѣтъ, такъ живутъ евреи... Что же будешь дѣлать... (Пауза.) А знаете, Бейлэ, зачѣмъ я теперь зашелъ?

Бейлэ. Я знаю? Добрый знакомый заходитъ себѣ такъ... провѣдать.

Гершъ. Это понятно. У меня, кромѣ того, еще къ вамъ маленькое дѣло.

Бейлэ. Можетъ быть, хотите нѣсколько рублей одолжить? Ну, почему нѣтъ?..

Гершъ. Видите, это вы всегда угадаете, потому что, когда бы Гершъ ни заходилъ, такъ ему всегда нужны нѣсколько рублей... Но сегодня—сегодня особенное дѣло... Э, какъ говорится: умирать, умирать, а жить же надо. Таки вѣрно, немножечко э... неудобно, но... надежда на Бога! Берлъ, съ Божьей помощью, выздоровѣетъ. А когда имѣется такой, можно сказать, счастливый случай, такъ э... не надо упускать... Короче говоря, оттого что Берлъ боленъ, не значитъ, что вашъ Исроэль долженъ остаться старымъ холостякомъ: здоровые, молодые люди должны свое дѣло дѣлать... Э... какъ въ священномъ Писаніи говорится: „Плодитесь, множьтесь и наполняйте землю". Хе-хе...

Бейлэ. Я уже вижу, вы имѣете для него невѣсту, а?

Гершъ (щелкнувъ большимъ и указательнымъ пальцами). И еще какую, хе-хе... Кровь съ молокомъ! хе-хе... И богатую, и образованную, и изъ высокой семьи, пс... сс!..

Ицикъ (запыхавшись), вбѣгаетъ. Мама! докторъ идетъ!

Бейлэ (быстро поднимаясь). Докторъ?

Гершъ. На... какъ нарочно! (Чешетъ за ухомъ.)

(Брохэ наскоро переодѣваетъ платокъ, спускаетъ рукава кофты.)

(Ицикъ быстро убѣгаетъ.)

(Гершъ торопливо снимаетъ со стола свой платокъ и табакерку.)

(Врачъ—плотный, въ очкахъ—входитъ и привѣтствуетъ всѣхъ движеніемъ головы.)

Гершъ (торопливо привстаетъ). Э... здравствуйте, господинъ докторъ.

Врачъ (стягивая перчатки). Ну-съ, какъ больной?

Бейлэ. Спасибо, господинъ докторъ, уснулъ.

Брохэ. Долгіе годы вамъ, господинъ докторъ.

Бейлэ (пропускаетъ врача въ спальню и слѣдуетъ за нимъ). Измучилъ онъ насъ. Совсѣмъ измучилъ. (Скрываются.)

Гершъ. Шелковый человѣкъ. Къ бѣднымъ среди ночи пойдетъ. А денегъ хоть и не давайте—не возьметъ.

Брохэ. Такіе люди таки будутъ имѣть и этотъ міръ, и тотъ міръ,—что вы думаете? (Подходитъ на цыпочкахъ къ дверямъ спальни и прислушивается.)

(Гершъ наклонилъ голову, смотритъ на Брохэ и какъ бы прислушивается.)

(Брохэ торопливо отходитъ отъ дверей.)

Гершъ. Ну?

Брохэ (грустно покачивая головой). Э... новую душу никто не всадитъ, никто... Воздуху, говоритъ, тамъ мало... Да, ребъ Гершъ, онъ уже свой вѣкъ прожилъ... Мучается только самъ и мучаетъ насъ. (Садится.) Повѣрите, ужъ третью ночь я глазъ не пробовала закрыть. Дома я—гость. Шутка ли, такой больной! А она? Ноги, какъ колоды... Охъ, Владыко вселенной!

Гершъ. Да, да... Такъ, такъ... Ох-хо-хо... Такъ крутится свѣтъ, такъ живутъ евреи...

Врачъ (выходя). Вы лучше вотъ здѣсь поставьте кровать. Тутъ воздуху и больше, и... свѣжѣе.

Бейлэ. Извините, господинъ докторъ, долго еще можетъ тянуться эта болѣзнь?

Врачъ (трогая очки). М... м... то-есть... видите ли... болѣзнь запущена. Операцію дѣлать поздно и... безполезно. Да... Вы должны быть ко всему готовы.

(Брохэ многозначительно киваетъ Гершу и протяжно вздыхаетъ.)

Врачъ (быстро глянувъ въ сторону Брохэ). Все же не унывайте! Можетъ быть, намъ удастся какъ-нибудь залѣчить, да. Дѣлайте все, что я вамъ велѣлъ, и будьте совершенно спокойны...

Бейлэ. А у меня, господинъ докторъ, опять ноги... опухли, совсѣмъ какъ водой налились... И ломаютъ— ходить не могу...

Врачъ. Вы ванны продолжаете принимать?

Бейлэ (смутившись). Изъ-за его болѣзни я уже перестала на себя смотрѣть...

Врачъ (разводя руками). Ну, матушка моя, какъ же имъ не пухнуть? Ну и наро-одъ! Говорю вамъ въ послѣдній разъ: не за-пу-скай-те! Черезъ день ванну въ грязелѣчебницѣ, черезъ день! (Пожимая плечами.) Поразительное явленіе у нашихъ евреевъ! Къ врачу бѣгутъ при всякомъ пустякѣ — насморкѣ, напримѣръ, — а исполнять предписанія врача и не думаютъ.—А ваша жена какъ, ребъ Гершъ?

Гершъ. Спасибо, господинъ докторъ. Ничего... слава Богу, болѣетъ...

Врачъ (улыбнулся). Слава Богу...—Я вечеромъ зайду.

Гершъ (кланяясь). Пусть вамъ Богъ за все уплатитъ, господинъ докторъ.

Врачъ. До свиданія. (Уходитъ.)

Брохэ. Такіе люди должны таки жить вѣчно. О-охъ! Что, онъ развѣ не правъ? Къ доктору такъ мы бѣжимъ, минуты не пропустимъ. А потомъ болѣемъ себѣ, болѣемъ и ничего не дѣлаемъ.

Гершъ. Э, я только не хотѣлъ вмѣшиваться. Я бъ ему сказалъ, почему это еврей къ доктору бѣжитъ, а что докторъ велитъ, не дѣлаетъ. Есть о чемъ го-

ворить? Диковина! Еврей къ доктору бѣжитъ. Еврей не дѣлаетъ, что докторъ тамъ прописываетъ. (Наклоняетъ на бокъ голову и произноситъ съ характернымъ припѣвомъ.) Напримѣръ, докторъ говоритъ, что моей женѣ нуженъ теплый климатъ. Вы слышите? Ей нуженъ теплый климатъ! И докторъ велитъ ѣхать съ ней тамъ... я знаю? въ Ялтэ-Шмалтэ... чтобъ я такъ зналъ про всѣ мои бѣдствія, Отецъ сердечный, какъ я знаю, что это тамъ за Ялтэ!.. Навѣрное, гдѣ евреямъ жить нельзя... Ну, такъ что? Къ нему, къ доктору, я таки бѣгу, бѣжалъ и уже утомился бѣгать, а въ теплый климатъ нѣтъ! Почему? И еще разъ почему? Такъ еще нужно спрашивать „почему"? Хе... Есть тутъ о чемъ говорить! (Отплевываетъ и втягиваетъ понюшку табаку.)

Брохэ. Что тутъ есть что говорить! Охъ... Отъ нашей бѣдности всѣ наши болѣзни, отъ нашей бѣдности.

Бейлэ (отрываясь отъ задумчивости). Ну, какъ же теперь перетащить кровать? Нужно же вмѣстѣ съ нимъ.

Брохэ. Вотъ ребъ Гершъ намъ поможетъ; а, ребъ Гершъ?

Гершъ. Ну ну, почему нѣтъ?

(Втроемъ входятъ въ спальню, растворяя дверь настежь.)

Гол. Герша. Какъ живешь, Берлъ? Эт!.. Надежда на Бога. Мы еще съ тобой будемъ танцовать гопъ-чикъ-чакъ на свадьбѣ Исроэля, хе-хе-хе... Ну, возьмемъ!

Гол. Брохэ. Бейлэ! Бейлэ! кто тебя проситъ! Мы уже сами перетащимъ! Ноги же у тебя...

Гол. Бейлэ (нотка раздраженія). Оставь меня въ покоѣ, Брохэ!—Ну, потихоньку, потихоньку...

(Втаскиваютъ кровать съ больнымъ Берломъ и останавливаются у порога.)

Гершъ (отдуваясь). Пф... ф... Ну? Гдѣ же... пф... ф... думаете ставить, а? Пф... ф...

Брохэ. П-пэ... пэ... Тутъ, а? П-пэ... пэ... ф...

Бейлэ (стонетъ). Пусть тутъ, о... о...

Гершъ. Ш-шатъ! Знаете... пф... какая мысль у меня? Пф... мы же должны теперь говорить о такомъ дѣлѣ, что... пф... и Берлу не мѣшаетъ послушать. Это же... пф... радость, когда доживаютъ до такихъ разговоровъ... пф... Ну, такъ мы... пфу-у!.. себѣ пока поставимъ кровать вотъ тутъ, около стола. Пусть онъ себѣ почувствуетъ, что будто сидитъ съ нами за столомъ,—а, Берлъ?

(Берлъ, очевидно, хочетъ что-то сказать: засохшія губы перекосились, опухшее, мѣстами почернѣвшее лицо озаряется внутренней мыслью.)

Брохэ. А, Берлъ? Около стола?

(Берлъ глухо бормочетъ и дѣлаетъ слабый утвердительный знакъ.)

Гершъ. Ну? Видите? Конечно, онъ хочетъ около стола. Больному же нужно еще больше радости, чѣмъ здоровому.

(Снова тащатъ кровать и ставятъ на переднемъ планѣ, около стола. Лицо больного—сплошная опухоль; вѣки полуоткрыты; грудь тяжело и медленно колышется.)

Гершъ. Пф-ф-ф-у! ох... Ну, Берлъ? Хорошо, а? (Отдувается.)

(Берлъ, видно, улыбается: запекшіяся губы перекосились, вѣки дрогнули, но тотчасъ лицо снова принимаетъ безжизненный видъ.)

(Бейлэ грузно опускается на стулъ, протяжно охаетъ и потираетъ ноги.)

Брохэ (садится). Пф... Ну, Отецъ небесный! Охъ... Ты правъ и Твой судъ правый!..

Гершъ (усаживается на прежнемъ мѣстѣ. Распластавъ локти чуть ли не по обоимъ концамъ стола, слегка приподнимаетъ вверхъ рукава сюртука и беретъ въ руки табакерку. По выраженію смуглаго лица и подвижныхъ глазъ видно, что ему предстоитъ важная работа). Значитъ, мы вернемся къ нашему разговору. Вы, конечно, понимаете, что я это дѣлаю не во имя угожденія Его святому имени, а просто хочу заработать нѣсколько рублей. Это же моя профессія. Хотя, между нами говоря, отъ всѣхъ моихъ профессій я имѣю „лихорадку", но... какъ говорится, человѣкъ же долженъ что-нибудь дѣлать! Еврею же нужно жить! Короче говоря, я могу здѣсь заработать хорошихъ нѣсколько рублей. Но выгодно ли это мнѣ или нѣтъ, васъ, понятно, не интересуетъ. Намъ только нужно хорошенько обдумать, выгодно ли это вашему Исроэлю. Какъ я уже вамъ сказалъ, это золото, э... золото, не дѣвушка! Э... Божье благословеніе!

Бейлэ (раздраженно). А! Скажите же уже, кто она!

Гершъ (хладнокровно). Вы ея не знаете. Она недавно только пріѣхала. Курсы учила. Вы понимаете? Учила курсы!

Брохэ. Ай, ребъ Гершъ. Вы таки можете душу вытянуть своими разговорами! Скажите, кто отецъ, кто мать. Они же здѣшніе, нѣтъ?

Гершъ. Вы хотите знать, кто родители? Я вамъ скажу, кто родители. Это мнѣ стоитъ деньги, что? (Торжественно.) Отецъ ея—самъ ребъ Менахемъ Виленскій! Вы же знаете, всѣ сыновья у него... пс!.. доктора. А онъ самъ? Развѣ есть въ городѣ еще одинъ такой талмудистъ, какъ онъ? Онъ же раввина, самого раввина нашего за поясъ заткнетъ! Шутка сказать,

ребъ Ме-на-хемъ Ви-лен-скій, хе! Онъ же первый подрядчикъ на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ. Э, шутка сказать!

Брохэ. У него таки славныя дѣти.

Гершъ. Еще нужно говорить? Хе... Всѣ доктора! А дѣвушка? Я вамъ говорю—золото, золото, не дѣвушка.

Бейлэ. Между нами говоря, они сами васъ послали или вы это такъ... отъ себя?

Гершъ (азартно приподнявъ рукава). О! объ этомъ я таки хочу поговорить. (Хватаетъ бороду въ лѣвую руку, правой жестикулируетъ.) Вы же знаете нашихъ евреевъ: и хотятъ, душа ажъ выскакиваетъ, и дѣлаютъ видъ, что ничего не знаютъ... Евреи уже, слава Богу, съ давнихъ поръ привыкли, чтобъ другіе за нихъ все дѣлали. Сами же ни съ мѣста!—Съ этими докторами и главнымъ подрядчикомъ Менахемомъ Виленскимъ тоже такъ. Хочется имъ вашего сына имѣть зятемъ такъ, какъ э... э... мнѣ хочется быть Ротшильдомъ... такъ хочется имъ имѣть вашего сына. Такъ скоты!—не къ вамъ говоря. Позовите Герша и говорите съ нимъ слово въ слово собственнымъ ртомъ: „Ребъ Ге-ершъ, мы хоти-имъ то-то и то-то“... Такъ нѣтъ. Евреямъ дѣлать дѣло прямо—неудобно. Еврей долженъ покрутить и туда и сюда... вы же знаете! Но вернемся къ нашему дѣлу. Что же дѣлаетъ ребъ Менахемъ Виленскій, этотъ большой талмудистъ и главный подрядчикъ, и его сыновья доктора? Они будутъ говорить съ Гершемъ старьевщикомъ? Фэ! Такъ евреи себѣ находятъ способъ... на то же они евреи... У нихъ, понимаете, есть бѣдная родственница. Эта родственница живетъ со мною въ одномъ

дворѣ. О вашемъ сынѣ звенитъ весь городъ. Это понятно. Но нашъ дворъ кипитъ! Я вамъ говорю, кипитъ вашимъ сыномъ. Почему же это только нашъ дворъ? Очень просто. Я, понимаете, не перестаю разсказывать о всѣхъ этихъ офицерахъ, полковникахъ, генералахъ, которые сняты съ вашимъ сыномъ, э... словомъ, дворъ кипитъ. Теперь вы уже понимаете, что всѣ мои разговоры о вашемъ сынѣ попадали самому Менахему Виленскому и его сыновьямъ докторамъ прямо въ уши... Значитъ, дѣло началось такъ: я говорилъ во дворѣ, она—имъ, они—ей, она—мнѣ, я—вамъ, и такъ, понимаете (вертитъ табакерку), крутится нашъ свѣтъ. (Онъ втягиваетъ сильную дозу табаку, чихаетъ три раза, утирается платкомъ и продолжаетъ.) Когда она мнѣ это сказала, такъ я ей прямо заявилъ: скажите имъ, говорю я, что дѣло это не легкое. Онъ таки, говорю я, сынъ такого же старьевщика, какъ и я, но онъ, говорю я, не портной, не сапожникъ, не докторъ и даже, говорю я, не подрядчикъ, а офицеръ! Онъ снимается, говорю я, съ офице-ерами, съ полковниками, съ генералами и, какъ я слыхалъ, говорю, скоро будетъ сниматься съ министрами тоже... (Хихикая, вставляетъ.) При такомъ дѣлѣ, понимаете, не мѣшаетъ немножечко напугать, хе-хе-хе... Потомъ, говорю я, не надо забывать, что у него чинъ „его высокоблагородіе“, что у него сабля, кокарда, золотыя пуговицы... все это, говорю я, стоитъ теперь большихъ денегъ, а другимъ, говорю я, не только большихъ денегъ, но и всего еврейства... Развѣ мало у насъ крещеныхъ изъ-за всѣхъ этихъ вещей? Короче говоря...

(Дверь съ шумомъ раскрывается, и Шейидлъ, пышно-грубо разодѣ-

тая въ широкой шляпѣ съ красными перьями, входитъ. Лицо накрашенное, возбужденное, искривленное злой улыбкой.)

Шейндлъ (развязно). Добрый вечеръ, Бейлэню! А, ребъ Гершъ! Ой, какъ темно... Такое торжество—и темно! ха-ха... Ну, поздравляю васъ, поздравляю васъ, Бейлэню! А мнѣ пряниковъ вы не оставили, а? Я тоже хочу веселиться, ха-ха-ха...

Бейлэ (дрогнувъ). Господь съ вами, Шейндлъ! Что такое? какое торжество? что за пряники? что вы такъ смѣетесь?

Гершъ (къ Брохэ). Я боюсь... дѣвушка, кажется, не въ своемъ умѣ...

Шейндлъ. Не въ своемъ умѣ? О, нѣтъ, ребъ Гершъ! Ха-ха-ха...—Такъ вы еще не знаете? Нехорошій сынъ у васъ, нехорошій... Чтобъ мать не знала, что сынъ женился? ха-ха...

Гершъ (вскочивъ). Ч-что-о?

Брохэ. Что она говоритъ, а?

Бейлэ (дрожа и блѣднѣя). Шейндлъ... перестаньте строить мнѣ комедію. Говорите ясно. Какой сынъ? Кто женился?

Шейндлъ. Какой сынъ? Онъ, о-фи-церъ! Высокій, красивый... Въ полетахъ, въ шпагѣ... Ха-ха-ха...

Бейлэ (задыхаясь). Шейнделе, что случилось? Сейчасъ, сейчасъ говорите! Что, что случилось?

Шейндлъ. Онъ женился, да! Не вѣрите? Такъ нате читайте! (Вынимаетъ изъ ридикюля лоскутъ почтовой бумаги, исписанный еврейскими буквами.) Читайте, ребъ Гершъ, на концѣ, на концѣ читайте! Ха-ха-ха...

Гершъ (прерывающимся голосомъ читаетъ). „Можешь передать твоей прежней хозяйкѣ „мазл-товъ“ [1]. Вчера

[1] Поздравленіе (въ обыденной жизни).

въ большомъ соборѣ было вѣнчаніе ея сына капельмейстера на дочери отставного полковника...“

Бейлэ (дико). А-а!.. (Ее охватываетъ сильнѣйшая конвульсія, не можетъ говорить; взоръ, дико расширенный, застылъ.)

Брохэ (поддерживая ее, стонетъ и причитываетъ). Ой, громъ!.. ой, громъ!..

Шейндлъ (вдругъ разражается истеричнымъ плачемъ и падаетъ Бейлэ на шею). Бей-лэню... Я же его лю-би-ла... Бей-лэню...

(Берлъ издаетъ страшный крикъ, голова его опрокидывается, онъ судорожно протягиваетъ ноги и застываетъ; лицо деревенѣетъ, вѣки полуопускаются, грудь перестаетъ вздыматься.)

Гершъ (быстро подходитъ къ кровати, смотритъ съ минуту и опускаетъ голову). Такъ.—Такъ.—Такъ.—Такъ крутится свѣтъ. Такъ живутъ евреи. Такъ надѣются. Такъ и умираютъ... Ну, Господи... Boruch daion aemes... [1] (Опускаетъ низко голову.)

(Двери шумно растворяются, и Беньемэнъ съ рабочимъ вбѣгаютъ.)

Рабочій (еще въ коридорѣ). Ее сюда несли, домой. Я видѣлъ.

Беньемэнъ (весь въ пыли, безъ фуражки, волосы взъерошены, мундиръ разодранъ). М-мирлъ дома? А? Что? Вы плачете? Убита? Убита? Гдѣ? Гдѣ она? (Бросается въ спальню. Рабочій за нимъ.)

Бейлэ (замогильнымъ голосомъ). Убиты. Убиты.

Беньемэнъ (выбѣгаетъ, въ глазахъ застывшій ужасъ). Нѣтъ ея! Гдѣ она? Тетенька! маменька! ребъ Гершъ! отвѣчайте или я съ ума сойду!

(Брохэ и Шейндлъ стонутъ, усаживая обезсиленную Бейлэ.)

(Въ сѣняхъ слышенъ шумъ голосовъ: „Открывайте же двери!“—„Держите, держите голову!“—„Осторожно!“)

---

[1]) Благословенъ Правдивый Судія.

(Велвлъ и еще нѣсколько товарищей вносятъ на рукахъ тяжело раненую Мирлъ. Лицо ея мертвенно-блѣдно, правое плечо забинтовано и въ крови. Ее кладутъ на диванъ.)

Беньемэнъ. А!.. Убита! Убита! (Припадаетъ къ Мирлъ.)

Велвлъ (обнимаетъ Беньемэна). Жива. Жива она... Только ранена. За докторомъ, товарищи! (Быстро уходятъ.)

Бейлэ (дико смотритъ въ сторону Мирлъ, вздрагиваетъ и издаетъ пронзительный крикъ). А!.. А!.. Спас... (Челюсти судорожно сжимаются, и слышно глухое мычаніе, сливающееся съ глухими рыданіями Брохэ и Шейндлъ, которыя поддерживаютъ ее.)

Бейлэ (медленно обводитъ безумными глазами комнату, идетъ къ кровати, упорно смотритъ въ лицо мертвеца Берла). Торжество... Свадьба... Вставай, Берлъ! Заря занимается. Свѣтаетъ... (Третъ виски; платокъ слѣзаетъ на плечи; волосы совершенно посѣдѣли.) Чего вы держите меня? Видишь, Брохэ? Кровь..! (Направляется къ дивану.) Это солнце. Красное солнце. Восходитъ... (Смотритъ упорно въ лицо Мирлъ.) Спитъ... Спитъ... Не будите ея... Она приведетъ Мойшіаха. Дайте ей отдохнуть. Отдохнуть...

(Страхъ, ужасъ на лицахъ вокругъ. Бейлэ застыла въ безуміи. Съ минуту могильная тишина.)

(Издалека доносится дикій гулъ голосовъ. Онъ все приближается, приближается... Явственно слышится пьяный смѣхъ, свистъ, голоса: „Бей!“—„Демократы-христопродавцы!“—„У-у...“—„Пархатые!“)

Велвлъ (и его сотоварищи мертвенно-блѣдные вбѣгаютъ). Держите двери! Запирайте! Спасайтесь! Казаки! Погромъ!!!..

Всѣ въ ужасѣ, словно пригвожденные, застыли на своихъ мѣстахъ.)

Давидъ Бенарье.

Изъ жаргонной литературы.

Пролетарскія пѣсни

Морриса Розенфельда [1].

I.

Мой мальчикъ.

Есть милый мальчикъ у меня.
Когда приду домой,
его увижу—мнится мнѣ,
весь міръ какъ будто мой.
Но рѣдко, рѣдко вижу я
малютку за игрой:
онъ спитъ, когда я прихожу,
онъ спитъ, ребенокъ мой...

---

[1] Моррисъ Розенфельдъ родился 28 декабря 1862 г. въ деревнѣ Бокшѣ, Сувалкской губ. Онъ былъ еще ребенкомъ, когда родители его переѣхали на жительство въ Варшаву. Семья жила въ большой бѣдности; образованіе Морриса не пошло поэтому дальше хедера, т.-е. начальной еврейской школы. Въ 1882 году, увлеченный эмиграціонной волной, поднятой тогдашними погромами, Розенфельдъ уѣхалъ въ Америку. Черезъ нѣсколько времени онъ возвращается обратно на родину, но вскорѣ окончательно оставляетъ ее. Нѣсколько лѣтъ онъ прожилъ въ Лондонѣ, работая въ портновскихъ „потогонныхъ“ мастерскихъ (Sweat-shop). Жизнь въ Лондонѣ, несмотря на адскій трудъ, была полна лишеній, и Розенфельдъ рѣшается попы-

Чуть свѣтъ—меня ужъ гонитъ трудъ,
темно—иду назадъ...
Они украли у меня,
дитя мое, твой взглядъ!..
Иду назадъ и прихожу—
мнѣ тяжело. Жена,
мой блѣдный другъ, разскажетъ мнѣ,
какъ сынъ игралъ до сна,
что онъ сказалъ, какъ онъ спросилъ:
„Гдѣ папа? Онъ придетъ?
Когда же, мамочка, скажи!
И пенни принесетъ?“
Я слушаю... я весь горю...
я слушать не могу...
Да, да, онъ спитъ... Но я къ нему
сейчасъ, сейчасъ бѣгу...
У колыбели я стою
безмолвно. Тихій сонъ...
Чу! губки дрогнули во снѣ:

тать счастья въ Нью-Іоркѣ. Но и здѣсь въ теченіе еще долгихъ лѣтъ единственнымъ его средствомъ къ существованію остается все та же работа на швейной машинѣ. За жаргонные стихи (Розенфельдъ началъ писать ихъ еще въ Лондонѣ) денегъ никто не платилъ, и поэту оставалось довольствоваться тѣмъ, что его пѣсни, которыми могла бы гордиться любая литература, печатались въ дешевыхъ уличныхъ листкахъ. Извѣстность Розенфельда въ христіанскомъ литературномъ мірѣ начинается со времени изданія его стихотвореній въ англійскомъ переводѣ („Songs from the Ghetto“) профессоромъ говардскаго университета Лео Винеромъ (въ 1898 г.). Книга произвела сенсацію. Вскорѣ появились переводы произведеній Розенфельда на нѣмецкомъ, французскомъ и чешскомъ языкахъ.

Изъ помѣщенныхъ здѣсь стихотвореній первое („Мой мальчикъ“) переведено І. Файншмидтомъ, остальныя—Д. Гликманомъ.

Ред.

„Мой папа? гдѣ же онъ?..“
И къ синимъ глазкамъ я прильнулъ...
Онъ смотритъ..?! О, мой сынъ!
ты видѣлъ, видѣлъ ты меня
хоть мигъ, хоть мигъ одинъ!
Ты спишь... Но я... я здѣсь съ тобой...
Вотъ пенни, милый... вотъ!..
Чу! губки дрогнули во снѣ:
„Когда же онъ придетъ?“
И я стою... я весь разбитъ...
Дитя! измученъ я...
Когда-нибудь проснешься ты,
но... не найдешь меня...

II.

Мой пріютъ.

Не тамъ ищи меня, малютка,
гдѣ мирты пышные цвѣтутъ;
гдѣ жизни вянутъ за станками—
тамъ мой пріютъ!..

—

Не тамъ ищи меня, родная,
гдѣ птицы радостно поютъ;
гдѣ слышенъ лязгъ цѣпей унылый—
тамъ мой пріютъ!

—

Не тамъ, гдѣ искрятся фонтаны,
о дорогая, мой пріютъ:

онъ тамъ, гдѣ стонъ, и вопль, и скрежетъ,
гдѣ слезы горькія текутъ!

—

И если истинной любовью
меня ты любишь—приходи,
и мой пріютъ, какъ ночь угрюмый,
своей любовью услади!..

III.

Куда?

Куда, дитя мое, куда?
Міръ спитъ еще безпечно;
смотри, безмолвно все кругомъ:
до утра все объято сномъ...
Куда, дитя мое, куда?
Поутру сонъ такъ сладокъ...
Цвѣты безшумно спятъ... Смотри,
и птицы дремлютъ до зари...
Дитя! какая и куда
влечетъ тебя забота?
— Работа!..

Куда, дитя мое, куда?..
такъ поздно, въ ночь глухую
одна по улицѣ пустой..?
Все спитъ кругомъ... Вездѣ покой...
Куда, дитя мое, куда?..
Ты не найдешь дороги!..
День обманулъ—умчался прочь;

что дастъ тебѣ глухая ночь?
Куда, дитя мое, куда?..
Ты вся полна заботы..?
— Съ работы...

IV.

Бей ихъ, каналій!

Бей ихъ каналій! Цѣлься! Мѣть!
Пуль не жалѣй! Вѣдь—рѣшено—
своею смертью умереть
имъ не придется все равно!
Что стоитъ жалкій рудокопъ?
Не нынче-завтра быть концу:
ему и шахта—тотъ же гробъ,—
вы шлете пули мертвецу!..

—

Что рудокопу мракъ ночной?
Что ясный день? Что солнца свѣтъ?..
Тому, кто вѣчно подъ землей,
и въ ясномъ днѣ отрады нѣтъ!
Ему не страшенъ смертный часъ:
изъ мрака каменныхъ громадъ
пришелъ онъ... Пусть идетъ назадъ!
Ему нѣтъ мѣста среди насъ!..

—

Жильцу могилъ чего желать?
Чего рабы отъ жизни ждутъ?
Сытнѣе ѣсть? Спокойнѣй спать?
Иль платы почестнѣй за трудъ?

Зачѣмъ? Стрѣляйте безъ тревогъ!
Вѣкъ рудокопа—лишній вѣкъ:
ему не внемлетъ человѣкъ,
ему—помочь не можетъ Богъ!..

V.

Пѣсня машинъ.

Подъ грохотъ машинъ поспѣваетъ работа...
Здѣсь груды сокровищъ растутъ...
И плата намъ—горе, и прибыль—забота,
и голодъ—награда за трудъ!..
Грохочутъ колеса, бѣгутъ подъ руками...
Мы чахнемъ подъ вѣчнымъ трудомъ...
Обманъ и нажива здѣсь властвуютъ нами,
и доля намъ—пасть подъ ярмомъ...
Подъ пѣсню дружнѣе работа спорится:
работнику пѣсня нужна...
поемъ мы про потъ, что съ рабочихъ катится,
про кровь, что съ одежды рабочей сочится, —
и пѣсня—проклятій полна!..
Наемники роскоши—старый и юный—
чужое довольство растимъ мы трудомъ
и съ пѣснею-стономъ, подъ грохотъ машины
потонемъ во мракѣ ночномъ!..

Благочестивый котъ.

Сказка I. Переца.

Три пѣвчихъ птички перебывали въ домѣ, и всѣхъ ихъ, одну за другой, прикончилъ котъ.

Это былъ не простой, не заурядный котъ. Онъ имѣлъ возвышенную, богобоязненную душу, ходилъ въ бѣленькой шубкѣ, и въ глазахъ его отсвѣчивало само голубое небо.

Это былъ поистинѣ благочестивый котъ. Десять разъ на день совершалъ онъ омовенія, а трапезы свои онъ справлялъ скромненько и тихо, гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, въ уголку...

Въ теченіе дня онъ перекусывалъ что попадалось, довольствовался чѣмъ-нибудь молочнымъ. И только когда наступала ночь, онъ разрѣшалъ себѣ мясную пищу—кусочекъ мышинаго мяса.

Ѣлъ онъ не торопясь, безъ жадности, не такъ, какъ ѣдятъ обжоры. Онъ ѣлъ медленно, скромненько, почти играючи. Онъ не спѣшилъ. Пусть себѣ мышенокъ поживетъ еще секунду, еще секунду, пусть себѣ еще побѣгаетъ, потрепещетъ, пусть исповѣдуется въ грѣхахъ. Благочестивый котъ никогда не спѣшитъ.

Когда принесли въ домъ первую пѣвчую птичку, котъ тотчасъ же проникся къ ней глубокой жалостью.

— Такая красивая, милая, крошечная пташка, и не удостоится царствія небеснаго!—стоналъ онъ.

Да и какъ можетъ она удостоиться царствія небеснаго?

Во-первыхъ, она совершаетъ обрядъ омовенія по-нѣмецки, по-новомодному, купаясь всѣмъ тѣльцемъ въ чашкѣ съ водой.

Во-вторыхъ, какъ только ее посадили въ клѣтку, она тотчасъ же взъерепенилась... Хоть она и юная и нѣжная, а навѣрное уже больше думаетъ о динамитѣ, чѣмъ о религіозно-нравственномъ чтеніи.

И наконецъ это пѣніе, это дерзкое, разгульное пѣніе, да еще съ присвистываньемъ. А эти смѣлые, открытые взгляды прямо въ небо; эти бунтовщическія попытки вырваться изъ клѣтки; эти порывы къ грѣшному міру, къ вольному воздуху, къ открытому окну!

Случалось ли хоть когда-нибудь, чтобы кота сажали въ клѣтку? Слышалъ ли кто, чтобы котъ когда-нибудь насвистывалъ пѣсню, да еще такъ дерзко, такъ безшабашно!

— А жалко, — плачетъ благочестивое сердце въ груди благочестиваго кота. — Вѣдь все-таки живое существо, надѣленное душой, божественной искрой!

У кота набѣгаютъ слезы на глаза.

„И все несчастье въ томъ,—размышляетъ онъ,—что грѣшное тѣльце такъ прекрасно. Поэтому для птички мірскія удовольствія такъ притягательны, поэтому и духъ зла въ ея сердцѣ такъ силенъ.

„Да и какъ можетъ устоять противъ ужаснаго и

сильнаго духа зла такая крошечная, такая пріятная пташечка?

„И чѣмъ дольше она живетъ на свѣтѣ, тѣмъ больше она грѣшитъ, тѣмъ страшнѣе наказаніе, которое ждетъ ее на томъ свѣтѣ...“

А-а-à!

Въ душѣ благочестиваго кота сразу вспыхнулъ священный огонь. Котъ вскочилъ на столъ, гдѣ стояла клѣтка съ птичкой, и...

По комнатѣ уже летятъ перышки.

Кота побили... Побои онъ принялъ смиренно. Онъ набожно простоналъ, плаксиво промяукалъ исповѣдь...

Больше грѣшить онъ уже не будетъ.

Котъ понялъ, за что его побили. Побили его за то, что онъ засорилъ комнату перьями и оставилъ на скатерти кровавыя пятна.

Да, подобные приговоры надо выполнять чисто, тихо и благочестиво, такъ, чтобы ни одно перышко никуда не залетѣло, чтобы ни одна капля крови не была пролита.

И когда купили и принесли въ домъ вторую пѣвчую птичку, котъ задушилъ ее уже тихо и осторожно и проглотилъ вмѣстѣ съ перьями.

Кота сѣкли.

И только теперь котъ наконецъ понялъ, что главная суть не въ раскиданныхъ перьяхъ и не въ кровавыхъ пятнахъ на скатерти, а въ чемъ-то совершенно другомъ.

Тайна заключается въ томъ,—понялъ котъ,—что нельзя убивать, что слѣдуетъ любить и прощать, что

не казнями и мученіями можно исправить грѣшныя души.

Надо обращать на путь истинный, поучать, говорить къ сердцу.

Покаявшаяся канарейка можетъ достигнуть такихъ высокихъ ступеней благочестія, до которыхъ не добраться самому благочестивѣйшему коту...

И чувствуетъ котъ, что въ его груди сердце трепещетъ отъ радости. Покончено со старыми жестокими временами! Покончено съ кровопролитіемъ!

Милосердія, милосердія и еще разъ милосердія!

И съ чувствомъ глубокой жалости и милосердія приблизился котъ къ третьей канарейкѣ.

„Не бойся меня, — говорилъ онъ ей такимъ мягкимъ голосомъ, какой врядъ ли исходилъ еще когда-нибудь изъ кошачьяго горла.—Ты грѣшна, но я не причиню тебѣ никакого зла, потому что я жалѣю тебя.

„Я даже клѣтки твоей не открою, даже не прикоснусь къ тебѣ.

„Ты молчишь? Хорошо, пташечка. Чѣмъ пѣть разгульныя пѣсни, лучше молчать.

„Ты трепещешь? Еще лучше. Трепещи, трепещи, дитя мое, но не предо мною, а передъ Всевышнимъ.

„И если бы ты осталась таковою навѣки—молчаливой, скромной и трепещущей!..

„Я помогу тебѣ трепетать. Я дохну на тебя смиреніемъ и благочестіемъ. И съ моимъ дыханіемъ пусть проникнетъ вѣра въ твою душу, богобоязнь во все твое существо, покаяніе въ сердечко твое...“

И чувствуетъ котъ, какъ хорошо, какъ пріятно прощать, какъ хорошо и радостно дышать на другого своимъ благочестіемъ.

И растетъ и ширится благочестивѣйшее сердце въ груди благочестивѣйшаго кота.

...Но канарейка не можетъ жить въ атмосферѣ кошачьяго дыханія.

Она—задохлась...

Перев. **С. Ан—скій.**

Годелъ.

Совершенно новая исторія молочника Тевьи, приключившаяся съ нимъ въ самое послѣднее время и пересказанная дословно

Шолемъ-Алейхемомъ.

Вы удивляетесь, пане Шолемъ-Алейхемъ, что долго такъ не видать было Тевьи? Сильно, говорите, измѣнился, посѣдѣлъ? Эхъ-эхъ-эхъ! Кабы вы знали да вѣдали, какое горе, какую боль этотъ Тевье носитъ у себя въ душѣ, такъ вы и сами сказали бы, что я изъ желѣза. Можете судить: если я цѣлое лѣто съ вами ни разу не повидался—это одно ужъ на многое указываетъ, потому что мы съ вами вѣдь свои люди, старые, какъ говорится, пріятели. Я и то знаю, пане Шолемъ-Алейхемъ, что̀ вы думали. Вы, вѣрно, полагали: разбогатѣлъ, должно быть, Тевье, забылъ старыхъ друзей. Это только доказываетъ, что вы не знаете Тевьи. Потому что, во-первыхъ, онъ не такой человѣкъ, чтобы чваниться деньгами, и во-вторыхъ, оно вообще далеко отъ истины; въ чужихъ глазахъ, знаете, кусокъ великъ. Такъ себѣ, слава Богу: у меня вмѣстѣ съ Бродскимъ найдется, говорятъ, милліоновъ сорокъ, и то вы должны будете сюда при-

считать всю мою худобу, лошадку съ телѣгой и остальной скарбъ... Почему же въ такомъ случаѣ мы такое долгое время не видались? спросите вы. Цѣлая, говорю вамъ, исторія, и какая исторія! И съ кѣмъ она должна приключиться? Съ Тевьей! Гдѣ только горе, несчастье и напасть—меня это не минетъ... И почему это, скажите на милость? Потому, быть можетъ, что я всякому готовъ вѣрить на слово. Но что я съ собой сдѣлаю, когда у меня ужъ натура такая? Вы вѣдь знаете, я всегда надѣюсь на Бога и жаловаться на Него не люблю. Да и то сказать, попробуйте жаловаться! Разъ мы молимся: „Душа Твоя и тѣло Твое...“ [1],—такъ что же послѣ этого значитъ человѣкъ и какая его сила? И я всегда говорю ей—старухѣ, значитъ, моей: „Голда, говорю, ты грѣшишь! У насъ въ мидрашѣ сказано...“—говорю я такимъ манеромъ, хочу, значитъ, ей втолковать такъ, какъ я это умѣю,—такъ она и слушать не хочетъ. „Извѣстно, говоритъ, что ты человѣкъ ученый, да вѣдь ученость тутъ твоя не поможетъ, когда надо дочь выдавать замужъ, а за ней, не сглазить, слѣдуютъ еще двѣ дочери, а за ними еще три дочери!“— „Э, говорю, это все глупости. Мудрецы наши и на этотъ счетъ подумали, ибо хорошо у нихъ сказано...“— такъ она отворачивается. „Взрослыя дочери, говоритъ,—это тоже хорошо сказано“... Пойди тутъ, толкуй съ бабой.

---

[1] Тевье очень часто цитируетъ Священное Писаніе и древнихъ мудрецовъ. Въ подлинникѣ эти цитаты превосходно дополняютъ яркій образъ добродушнаго разсказчика, но въ переводѣ онѣ теряютъ свою прелесть и даже мѣшаютъ изложенію. Мы вынуждены были поэтому значительно ихъ сократить. *Ред.*

Коротко сказать, товаръ у меня имѣется на выборъ, и не дурной товаръ: одна красивѣе другой. Не годится мнѣ самому хвалить своихъ дѣтей, но я вѣдь слышу, что люди говорятъ:—красавицы! А лучше всѣхъ—старшая, Го́дель зовутъ ее, вторая послѣ Цейтли, той самой, что влюбилась, если вы помните, въ портного Мотеля Камзола. Живетъ она съ нимъ, Цейтель значитъ, очень недурно, т.-е. на хлѣбъ еле хватаетъ, и то лѣтомъ во время дачнаго сезона въ Бойберкѣ, зимой же—скверно, концы съ концами не сводятъ. А поговорите съ нею, съ Цейтлей, такъ ей лучшаго и не надо, она счастлива! Въ чемъ дѣло? Любятъ, говоритъ, другъ друга—онъ ее, она его. Блаженствуютъ!.. Такъ вотъ, такъ она хороша, вторая-то дочь моя, Годель, значитъ... ну, какъ вамъ сказать?—сіяетъ какъ слитокъ золота, и на бѣду еще съ головой: пишетъ и читаетъ по-еврейски и по-русски. А книжки, книжки глотаетъ что твои галушки! И не разъ я ей говорю: къ чему тебѣ, дочь моя, эти книжки? Не про насъ писаны; для богатыхъ онѣ, говорю, для тѣхъ, что сидятъ въ Бойберкѣ на дачахъ и имъ приносятъ все готовое въ домъ; ихъ, говорю, Богъ избралъ, чтобы они получали всякое удовольствіе, а также и отъ книжекъ. Такъ я ей говорю, нравоученіе читаю. Молчитъ она что твоя стѣна. Такой нынче, прости Господи, свѣтъ сталъ, что Тевьины дочери тоже читаютъ „грамматики“. И кто всему причиной? Нынѣшніе молодчики, учителишки эти, у которыхъ, простите, штановъ нѣтъ на тѣлѣ, а учиться хотятъ во что бы то ни стало. Всѣмъ охота учеными быть... Зачѣмъ? на какой предметъ? Неизвѣстно! Вѣдь ихъ никуда и не

принимаютъ, какъ говорится: брысь молъ, кошка, не про тебя сливки. И посмотрѣли бы вы тѣмъ не менѣе, какъ учатся! И кто? Дѣти портныхъ и сапожниковъ! Уѣзжаютъ въ Іегупецъ или въ Одессу, валяются на чердакахъ, жуютъ собственный языкъ и закусываютъ латынью, забыли, что̀ есть кусокъ мяса, сложатся шесть человѣкъ на одинъ арбузъ съ хлѣбомъ—и гуляй, веселись голь перекатная.

Короче говоря, затесался такой молодчикъ въ нашу глушь; не издалека пріѣхалъ, зналъ я отца его—папиросникъ былъ и бѣднякъ, не дай Господи. Но не въ томъ дѣло: если ребъ Іохананъ Гасандлеръ [1] не стѣснялся шить сапоги, то нашему молодцу не грѣхъ имѣть отца папиросника. Одно только мнѣ досадно: зачѣмъ бѣдняку учиться? Правда, чортъ его не взялъ—голова у него хороша, способностями Богъ его не обидѣлъ. Перчикъ фамилія его, а мы ему дали прозвище Феферль. И знаете, видъ у него соотвѣтственно фамиліи: маленькій, черненькій, щупленькій; а голова, смотрите, полна свѣдѣній, все тебѣ знаетъ и въ еврейскомъ не профанъ. А спросите, гдѣ онъ это получилъ? У отца своего папиросника, да проститъ онъ мнѣ на томъ свѣтѣ!

Вотъ однажды ѣду я домой изъ Бойберка, товаръ свой сбылъ, цѣлый транспортъ—творогъ, масло, сметана и всякая всячина. Сижу я на телѣгѣ, задумался по обыкновенію о высокихъ матеріяхъ—о солнцѣ, о планетахъ, о іегупецкихъ богачахъ, которымъ такъ везетъ, не сглазить, и о горѣ-молочникѣ Тевьѣ съ его лошадкой, которые всю жизнь мытарствуютъ, и

[1] Извѣстный танаитъ, ученый.

еще о многомъ подобномъ. Лѣто, солнце жаритъ, мухи кусаютъ, а великій міръ кругомъ широко разстилается—подняться бы и полетѣть!

Смотрю я, между тѣмъ паренекъ издали пѣхтурой жаритъ по песку, подъ мышкой узелокъ. Подъѣзжаю ближе; вижу—весь въ поту человѣкъ: не легко по такой жарѣ пѣшкомъ-то! „Куда, говорю, направляетъ свои стопы, молодой человѣкъ? Садись, говорю, подвезу,—все равно порожнемъ ѣду". Такъ я говорю, а мой парень не жеманится, сейчасъ же и сѣлъ. „А откуда, говорю, ѣдетъ, молодецъ?"—„Изъ Іегупеца".—„А по какому дѣльцу обрѣтается такой паренекъ, какъ ты, въ Іегупецѣ?"—„Такой паренекъ, какъ я, говоритъ, въ Іегупецѣ экзаменъ сдаетъ".—„А на кого учится, примѣрно, такой паренекъ, какъ ты?"—„Такой, говоритъ, паренекъ, какъ я, самъ еще не знаетъ, на кого онъ учится".—„Зачѣмъ же такой паренекъ, какъ ты, напрасно морочитъ себѣ голову?"—„Не безпокойтесь, ребъ Тевье, говоритъ, про это позвольте ужъ знать такому пареньку, какъ я". Каковъ язычокъ! И это Перчикъ, папиросника сынокъ! Сильную имѣлъ я охоту „показать ему дорогу", однако подумалъ я себѣ: бѣднякъ, солнце жаритъ, а я ѣду порожнемъ,—чортъ съ нимъ, пусть сидитъ! „А чѣмъ мы, примѣрно, живемъ?" говорю. „Ѣдой, говоритъ, живу".—„А что ты ѣшь?"—„Все, что даютъ".—„Вижу, говорю, что ты парень не простакъ и языкъ у тебя подвѣшенъ какъ слѣдуетъ; а если у тебя будетъ охота и время, такъ можешь, говорю, сегодня вечеромъ завернуть ко мнѣ, потолкуемъ съ тобой; кстати же ты съ нами и поужинаешь".

Не далъ себя парень долго упрашивать и въ тотъ

же вечеръ пришелъ ко мнѣ, какъ разъ во-время, когда борщъ стоялъ на столѣ и молочные кныши еще жарились въ печкѣ. „Счастливая, говорю, твоя звѣзда. Можешь, говорю, совершить омовеніе, а то и безъ омовенія сядь къ столу: я у Бога стряпчимъ не нанимался, и меня за тебя на томъ свѣтѣ сѣчь не станутъ“. Такъ я съ нимъ разговариваю и чувствую, знаете, что тянетъ меня къ этому человѣку, и онъ съ своей стороны ко мнѣ также со всякимъ вниманіемъ. Сталъ онъ захаживать чаще и чаще; сидитъ бывало, разговариваетъ о земныхъ дѣлахъ и о высокихъ матеріяхъ, и такъ себѣ болтаемъ. „Вы знаете, ребъ Тевье,—говоритъ онъ мнѣ однажды, сидя со мною на завалинкѣ,—хорошія у васъ, ребъ Тевье, дочки, славныя!“—„Спасибо, говорю; уродиться имъ есть въ кого“.—„А одна изъ нихъ, говоритъ, старшая,—та съ большимъ понятіемъ, полный человѣкъ“.—„Я безъ тебя, говорю, это знаю; яблоко, говорю, отъ яблони не далеко падаетъ“. Говорю такъ, а сердце, натурально, отъ радости такъ ширится, растетъ, потому что, вы знаете, отцу оно лестно слышать. И гдѣ тутъ, скажите, было догадаться, что эти похвалы кончатся любовью, свадьбой и Богъ знаетъ чѣмъ!..

Коротко говоря, пробылъ онъ у насъ въ мѣстечкѣ лѣто цѣлое и зиму, самъ прилежно учился и другихъ училъ—уроки давалъ. Ужъ и уроки, прости Господи! У насъ и состоятельный-то хозяинъ больше шести злотыхъ за урокъ платить не привыкъ, и то чтобъ ему учитель адреса писалъ и депеши читалъ и сходить куда нужно не отказался. Впрочемъ, столовался онъ у меня, и за это занимался съ дочерьми моими. Такимъ вотъ манеромъ сдѣлался онъ у насъ

въ домѣ своимъ человѣкомъ. Дѣти, бывало, подносятъ ему стаканъ молока, а старуха моя присматривала, чтобы рубаха на немъ цѣла была. Тогда-то мы и прозвали его Феферль, съ русскаго, значитъ, передѣлали. И, знаете, полюбили мы его всѣ какъ родного, потому что характеромъ онъ собственно хорошій парень, простой такой, мое—твое, твое—мое, все ни по чемъ.

За одно только не любилъ я его: вдругъ исчезнетъ куда-то, и нѣтъ его, нѣтъ и нѣтъ. „Гдѣ ты пропадалъ, птичка моя пѣвчая?“ Не отвѣчаетъ, молчитъ какъ рыба... Не знаю, какъ вы, а я не люблю людей съ секретами; я люблю, чтобы все на чистоту. Зато, съ другой стороны, какъ пойдетъ говорить, такъ ужъ безъ удержу, такъ тебѣ и рѣжетъ, такъ и рѣжетъ. И все съ планами такими дикими, все на выворотъ, вверхъ ногами. Богачъ, скажемъ, по его сумасшедшему разумѣнію, достоинъ всякой хулы и поношенія, бѣднякъ же, напротивъ, у него въ авантажѣ, а человѣкъ рабочій—ужъ и говорить нечего—этотъ всего дороже, потому что, говоритъ, жить трудами рукъ своихъ—это главное. „Однако, говорю, деньги—вещь хорошая“. А онъ какъ распалится, какъ разъярится! Старается доказать мнѣ, что деньги это для людей первая пагуба; вся ложь, говоритъ, вся пакость отъ денегъ; и все, что дѣлается на свѣтѣ, все не по правдѣ. И тутъ приводитъ мнѣ тысячу доказательствъ, сравненій, примѣровъ... „Такъ по твоему сумасшедшему разуму, говорю, выходитъ, что то, что моя корова даетъ молоко, а лошадь моя работаетъ на меня, также не по правдѣ?“ — и еще подобныя возраженія дѣлаю я ему и на каждомъ

шагу останавливаю его, какъ Тевье это умѣетъ: языкъ у меня тоже слава Богу уздечкой не притянутъ. Да какая польза отъ ума? Не въ немъ дѣло,—счастье надо имѣть, а у меня, что касается дѣтей, нѣтъ счастья, да проститъ меня Богъ за мои слова. Раньше —тотъ портнишка, Мотель Камзолъ, а теперь этотъ несчастный Феферль, — прямо напасть да и только! Вы вотъ послушайте внимательно, что дальше-то будетъ.

Вотъ ѣду я однажды въ предвечернюю пору на телѣгѣ своей по дачамъ въ Бойберкѣ, слышу, окликаетъ меня кто-то. Смотрю—Эфроимъ-шадхонъ [1]. А Эфроимъ этотъ—еврей, въ спеціальности своей опытный—трется всюду, гдѣ подходящій для него товаръ имѣется; между прочимъ онъ и ко мнѣ иногда зайдетъ въ домъ, знаетъ моихъ дочерей. Вотъ встрѣчаетъ меня въ Бойберкѣ и останавливаетъ. „Извините, говоритъ, ребъ Тевье, мнѣ надо вамъ кое-что сообщить“. — „Пожалуйста, говорю, лишь бы хорошее“, и останавливаю свою лошадку. „У васъ, говоритъ, ребъ Тевье, есть дочь.“ — „У меня, говорю, семеро дочерей, да будутъ онѣ здоровы“.— „Знаю, говоритъ, что у васъ семеро, у меня ихъ столько же“.—„Итого, говорю, четырнадцать“.—„Однако, говоритъ, шутки въ сторону. Я, говоритъ, имѣю въ виду ту, вторую послѣ старшей; она у васъ, говоритъ, не сглазить, очень удачная“.—„Онѣ у меня, говорю, всѣ удачны, у меня неудачныхъ сроду, говорю, не бывало“.—„То-то, говоритъ, и есть. Ну такъ вотъ, дѣло въ слѣдующемъ: вы вѣдь знаете, что я

---

[1] Шадхонъ—сватъ.

шадхонъ, — такъ есть у меня для васъ женихъ, женихъ, понимаете, н-н-ну, первый сортъ".—„А позвольте, говорю, полюбопытствовать, что у васъ называется женихъ первый сортъ? Если портной, или сапожникъ, или меламедъ, такъ не тратьте даромъ словъ, потому что ничего изъ дѣла не выйдетъ, а я свою ровню найду въ другомъ мѣстѣ, какъ въ мидрашѣ сказано..."—„Э, говоритъ, ребъ Тевье, вы уже начинаете со своими ссылками на мидрашъ—съ вами говорить надо хорошенько подпоясаться, вы наводняете міръ своей торой. Нѣтъ, вы вотъ посмотрите, какую партію вамъ предлагаетъ Эфроимъ-шадхонъ. Слушайте только и молчите". И пошелъ тутъ онъ выкладывать реестрикъ,—дѣйствительно что-то замѣчательное. Прежде всего — семья очень хорошая, а это у меня главное, потому что я самъ не изъ простыхъ; даже, говоритъ, женихъ самъ человѣкъ не невѣжественный, а это у меня играетъ первую роль, потому что невѣжду я терпѣть не могу, для меня невѣжда хуже нечестивца. Вы можете ходить безъ шапки и даже внизъ головой и вверхъ ногами, но разъ вы знаете, что „Раши [1] говоритъ", вы ужъ мой человѣкъ... Таковъ Тевье! Далѣе, говоритъ, онъ страшно богатъ, выѣзжаетъ въ каретѣ съ парой огненныхъ рысаковъ — пыль столбомъ... Ну, думаю, оно весьма не вредно, ужъ лучше богатый, чѣмъ бѣдный; какъ сказано—самъ Богъ не любитъ бѣдняковъ; доказательство: если бы Богъ любилъ ихъ, они бы вѣдь бѣдными не были... Словомъ, со всѣхъ сторонъ ладно, слишкомъ ужъ хорошо...

---

[1] Раши—знаменитый ученый, комментаторъ Библіи и Талмуда.

„Однако, говорю, есть одно обстоятельство, которое меня нѣсколько безпокоитъ, а именно, захочетъ ли тотъ меня?“ — „Въ томъ-то, говоритъ, и штука вся, что тотъ васъ очень и очень хочетъ, помираетъ прямо“. — „Ну, ужъ будто и помираетъ? Что же онъ во мнѣ такого нашелъ, что ему такъ приспичило?“—„Да вѣдь не въ васъ, говоритъ, суть-то, а въ дочери вашей! Онъ, видите ли, ищетъ пригожую дѣвушку, пусть она будетъ дочь извозчика, лишь бы красива была,—тогда онъ беретъ ее какъ она „стоитъ и ходитъ“, да еще отцу приплатитъ“... Такъ онъ разсказываетъ мнѣ и проситъ, чтобъ я со своей Годель съѣздилъ въ Бойберкъ, потому что, говоритъ, женихъ живетъ какъ разъ здѣсь въ Бойберкѣ на дачѣ. „Я, говоритъ, ужъ говорилъ ему, что у васъ дочь красавица, такъ ему охота посмотрѣть ее“.—„А женихъ, говорю, кто такой? холостой? вдовецъ?“—„Холостой, говоритъ, пожилой уже правда, но холостой“.—„А какъ, говорю, его святое имя?“ Ни за что не хочетъ сказать. „Вы, говоритъ, приведите ее, а потомъ я вамъ скажу“.— „Какъ это, говорю, привести ее? Приводятъ, говорю, лошадь или корову на базаръ продавать“. Коротко говоря, вы вѣдь знаете, что эти шадхоны способны „уговорить стѣну“. Согласились мы, чтобъ я послѣ субботы привезъ ее въ Бойберкъ. Вотъ ѣду я домой и разныя мысли приходятъ мнѣ въ голову, и представляю я себѣ свою Годель, какъ она ѣдетъ въ каретѣ, запряженной парой огненныхъ рысаковъ, и весь свѣтъ мнѣ завидуетъ, и не за карету и огненныхъ рысаковъ завидуютъ мнѣ люди, а за благодѣянія, которыя я оказываю людямъ черезъ свою

богатую дочь, поддерживая павшаго: тому даю взаймы пятьдесятъ, тому сто рублей... Такимъ вотъ манеромъ фантазирую я, ѣдучи предъ вечеромъ домой, лошадку свою постегиваю и разговариваю съ нею на лошадиномъ нарѣчіи: „Вье-е, говорю, кобылка моя вѣрная, понатужься, голубушка, пошевеливайся-ка,— получишь свою порцію овса, ибо писано у насъ: не помажешь, не поѣдешь“. Бесѣдую я такъ съ лошадкой моей, смотрю, изъ лѣса вырисовывается парочка — мужчина и женщина, идутъ тѣсно другъ возлѣ друга, о чемъ-то разговоръ ведутъ съ большимъ жаромъ. „Кто вдругъ такіе?“ думаю и всматриваюсь сквозь косые лучи солнца. Поклясться могу, что Феферль! Но съ кѣмъ это онъ идетъ такъ поздно? Заслонился я рукой отъ солнца и еще сильнѣе всматриваюсь, кто эта женщина. Кажется, Годель?.. Она, какъ я еврей, она!.. Вотъ тебѣ, Тевье, и кареты съ огненными рысаками! говорю я себѣ, и на душѣ у меня такъ... какъ бы вамъ сказать, примѣрно?.. словно кто оскорбилъ меня, грубымъ словомъ обругалъ или далъ мнѣ пощечину среди синагоги. Помилуйте, на что похоже, вдругъ ни съ того, ни съ сего, среди лѣса!.. „Такъ вотъ почему такъ прилежно изучали грамматику! Какой же ты, Тевье, простофиля послѣ этого!“ Такъ я думаю... Однако ничего, надо повременить, узнать толкомъ, въ чемъ дѣло. „Тпррру! кобылка моя вѣрная!“ говорю я своей лошадкѣ. Сталъ и обращаюсь къ милымъ своимъ гостямъ: „Добрый вечеръ! Что дома слышно? Какъ вы попали сюда? Кого здѣсь поджидаете? Не вчерашняго ли дня?“ Услышавъ такое привѣтствіе, остановились мои молодцы—какъ говорится, ни туда

ни сюда,—смѣшались, покраснѣли... Постоявъ такъ съ минуту молча, опустили глаза въ землю, потомъ стали смотрѣть на меня, я на нихъ, оба они другъ на друга.

„Ну, говорю, что вы смотрите на меня, словно вы меня годы цѣлые не видали? Кажется, я тотъ же Тевье, что и раньше былъ, ни на волосъ, говорю, не измѣнился". Такъ я говорю полущутя, полудосадливо. Отвѣчаетъ мнѣ дочь моя, Годель значитъ, и при этомъ еще больше краснѣетъ: „Поздравьте насъ, папаша". Услышалъ я такое слово, оборвалось у меня сердце. „Какъ теперь, братецъ Тевье, будетъ касательно кареты и огненныхъ рысаковъ?" думаю я; однако собрался съ духомъ и говорю: „Поздравить недолго, да нельзя ли узнать съ чѣмъ? Кладъ нашли въ лѣсу? Или отъ великихъ опасностей избавились?"— „Нѣтъ, — говоритъ Феферль,—мы женихъ и невѣста".—„Какъ это, говорю, вы женихъ и невѣста?"— „А оно, говоритъ, такъ и выходитъ, что я ея женихъ, а она моя невѣста". Такъ отвѣчаетъ мнѣ Феферль и смотритъ мнѣ прямо въ глаза; но и я не спускаю съ него глазъ и говорю: „А когда у васъ помолвка была? и почему вы и меня на торжество не пригласили? Вѣдь я, кажется, прихожусь нѣсколько сродни?" Вы понимаете—шутишь, а сердце кровью обливается. Однако ничего, надо молчать; да Тевье же и не баба: надо выслушать дѣло до конца. „Не понимаю, говорю, сватовства безъ свата".—„А къ чему намъ,— говоритъ Феферль,—сватъ? Мы и безъ него обойдемся, мы ужъ давно женихъ и невѣста".—„А почему вы до сихъ поръ молчали?"—„А зачѣмъ намъ, говоритъ, кричать? Мы бы и сегодня вамъ не сказали, но какъ

мы скоро должны разлучиться, то у насъ рѣшено раньше повѣнчаться“...

Тутъ меня ужъ взорвало окончательно. Влюбились—хорошо, женихъ и невѣста—пусть такъ, но вѣнчаться! Что это за слова? И что значитъ—перевѣнчаться и сейчасъ уѣхать! Мой женишокъ, повидимому, понялъ, что я тутъ ничего не понимаю и что во мнѣ все пришло въ разстройство. „Понимаете, говоритъ, ребъ Тевье, дѣло въ томъ, что я долженъ отсюда уѣхать“.—„Когда ты ѣдешь?“—„Скоро“.—„А куда, примѣрно?“ „Этого я вамъ сказать не могу,—секретъ“. Слышите? Секретъ! Какъ вамъ это нравится? Приходитъ Феферль—маленькій, черненькій, кругленькій,—представляется женихомъ, вѣнчаться хочетъ и тутъ же уѣзжаетъ, а куда — не говоритъ! Да вѣдь лопнуть можно съ досады! „Пусть такъ, говорю, секретъ такъ секретъ. У тебя вѣдь все секреты... Однако ты мнѣ вотъ что растолкуй: ты вѣдь все о совѣсти хлопочешь и съ головой ушелъ въ правду, человѣчность и всякую такую штуку, — какъ же это ты вдругъ позволяешь себѣ забрать у Тевьи дочь и потомъ бросить ее навсегда? Вотъ это по-твоему совѣсть называется? человѣчность? Спасибо, что ты не обокралъ меня или не поджегъ“... Кольнулъ я его такимъ манеромъ, яду, знаете, подпустилъ. Тевье небось, когда нужно, въ самую точку попадетъ!.. Такъ вы, вѣрно, полагаете, что слова мои задѣли ихъ? Ни крошечки! Да еще хохотать пошли, да такъ хохотать, что, на нихъ глядя, самъ я сталъ смѣяться... „Ты, папаша,—говоритъ Годель,—и вообразить не можешь, какъ мы счастливы, что все тебѣ разсказали; камень, говоритъ, съ плечъ свалился. Поцѣлуемся, папочка!“

И, не долго думая, обняли они меня оба, она съ одной стороны, онъ съ другой, и ну цѣловать—они меня, я ихъ; въ суматохѣ они также не позабыли надѣлить и другъ друга поцѣлуями! Прямо комедія съ ними! „А не довольно ли будетъ, говорю, цѣловаться? Не пора ли о существенномъ потолковать?“— „О чемъ такомъ существенномъ?“—„О приданомъ, говорю, гардеробѣ и разныхъ другихъ статьяхъ“.— „Да намъ, говорятъ, не надобно ни приданаго, ни гардероба, ни другихъ статей“.—„А что вамъ надо?“— „Да ничего, говорятъ, не надо, кромѣ того, чтобъ повѣнчаться“.

Слышите?

Не стану я вамъ долго разсказывать — ничего я не могъ подѣлать... Сыграли свадьбу. Не такую, разумѣется, какъ подобаетъ Тевьѣ, но что станешь дѣлать, когда они отъ всего отказываются, ничего имъ не нужно! Махнулъ я рукой: дѣлайте, какъ знаете.

Но зато со старухой своей натерпѣлся я горя. Жить не даетъ, плачетъ, скажи ей да скажи, отчего такая спѣшка. Поди объясни бабѣ, что „горитъ“! И долженъ былъ я сочинить цѣлую исторію съ наслѣдствомъ, съ богатой тетей въ Іегупецѣ, съ разными подробностями. Отстала она отъ меня, слава Богу. И вы думаете, они остались довольны, что я такъ ловко оборудовалъ это дѣльце съ наслѣдствомъ? „Охота вамъ,—говоритъ мнѣ мудрецъ Феферль,—охота вамъ выдумывать такую грубую ложь! Нельзя развѣ безъ этого?“ — „Повремени, говорю, дитя мое. Вотъ, дастъ Богъ, поженишься, ты и поймешь, что съ женой иначе нельзя“.

Часа два послѣ вѣнца запрягъ я свою кобылку, сѣли мы втроемъ: я, онъ и дочь, поѣхали на вокзалъ. Старуху оставили мы дома; сочинилъ я тутъ свѣжую исторію, что ѣдетъ онъ всего на недѣлю въ Іегупецъ насчетъ наслѣдства. А онъ, батюшка мой, слушаетъ, въ лицѣ мѣняется: претитъ ему, видно не нравится. „Опять вы все сочиняете,—говоритъ онъ, сидя со мною на возу.—Какъ это нехорошо!“—„По-твоему, говорю, нехорошо, а по-моему ради мира и соврать не грѣшно. По-твоему повѣнчаться съ дочерью Тевьи и въ тотъ же день подняться и уѣхать—хорошо, когда же я совралъ своей собственной женѣ, чтобы отвести ей глаза, ты смущаешься и краснѣешь“...

Такъ я бесѣдую съ дорогимъ зятюшкой и всю дорогу не перестаю донимать ихъ словами. Тевье, небось, умѣетъ досаждать, когда хочетъ! А они, молодые-то, и въ усъ не дуютъ: сидятъ, прижавшись, какъ двѣ голубки, смотрятъ другъ другу въ глаза, а въ глазахъ у нихъ какой-то странный огонь, и лица горятъ...

Сижу я, гляжу будто въ сторону, но то и дѣло посматриваю на парочку мою и думаю: „Какъ великъ Божій міръ и какъ удивительно въ немъ все устроено! И какія странныя созданія бываютъ на свѣтѣ! Вотъ извольте, сидитъ молодая парочка, только что изъ-подъ иголочки; онъ уѣзжаетъ Богъ знаетъ куда, а она остается здѣсь—и хоть бы слезу проронили, для виду хотя бы!“ „Будешь ты, говорю, писать намъ, по крайней мѣрѣ? Смотри, какъ бы ты адресъ нашъ не забылъ... запиши въ книжечкѣ“. Говорю и смотрю на нихъ,—ни малѣйшаго волненія

на лицѣ. То же и на вокзалѣ при прощаньѣ я ничего не могъ замѣтить. Поцѣловались, пожали другъ другу руку, смотрятъ прямо другъ другу въ глаза,— хоть бы тебѣ что!

Пара молодцовъ — бѣдняки съ вытоптанными подошвами — пришли на вокзалъ проводить мою пѣвчую птичку. Одинъ былъ одѣтъ парнемъ — рубашка на выпускъ, сѣмечки щелкаетъ и все съ моимъ шушукается. „Смотри, Тевье, думаю, не попалъ ли ты въ компанію конокрадовъ или карманниковъ!“

На обратномъ пути домой не могъ я удержаться и высказалъ Годель свои опасенія совершенно откровенно.

Вспыхнула она, вся залилась краской, потомъ засмѣялась и стала меня увѣрять, что всѣ они—благороднѣйшіе, честнѣйшіе люди, которые думаютъ будто только о благѣ другихъ, а о себѣ совершенно не заботятся... А тотъ, говоритъ, что въ рубахѣ на выпускъ, изъ очень хорошей семьи, у него богатые родители въ Іегупецѣ, но онъ оставилъ ихъ и теперь ничего отъ нихъ не беретъ. „Такъ! говорю. Чудеса Господни. Чѣмъ же онъ живетъ? Сѣмечками? Славный молодчикъ, что и говорить! Если бы къ рубахѣ на выпускъ и къ длиннымъ волосамъ прибавить гармонику или если бы еще собака бѣжала за нимъ сзади, то это было бы одно великолѣпіе!“

Отчитываю я ее такимъ манеромъ, изливаю на нее, бѣдную, всю горечь моей души, а она ни слова, словно воды въ ротъ набрала. „Молчишь?—говорю я.—Вы видно условились ничего не говорить. Надо полагать, говорю, что вы правы: такой отецъ, какъ Тевье, заслужилъ конечно, чтобъ отъ него скрывали.

Не иначе!"—„Папочка милый, говоритъ, не спрашивай лучше, ты самъ въ свое время обо всемъ узнаешь, и дастъ Богъ, дождешься отъ него великой радости".— „Аминь, говорю, да услышитъ тебя Господь. Но пока что, говорю, мнѣ горько. Думаю что, на старости лѣтъ дождусь радости"...

Разговариваю я такъ будто съ собой, нравоученіе ей читаю. По части нравоученій, должны вы знать, я—большой мастеръ; не перебивайте меня только,— такъ оно идетъ у меня какъ по маслу. Очень сожалѣю, что меня не учили въ дѣтствѣ, далеко бъ я пошелъ...

Такъ вотъ, говорю я такимъ манеромъ, гляжу на дочь—сидитъ, плачетъ какъ береза. „Богъ съ тобой, говорю, не плачь, не надо плакать!" говорю, а душа болитъ: свое дитя! Посердишься, побранишь, и самъ же пожалѣешь... И вышло точно то же, что и со старшей съ моей, съ Цейтлей, когда она полюбила своего портнишку! И дьяволъ ихъ возьми, дочерей моихъ! Когда полюбятъ кого, такъ тѣломъ, и душой, и сердцемъ, и помыслами! Несчастье съ ними!

Прошла недѣля, другая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая—ни письма, ни вѣсточки. „Пропалъ, говорю, Феферль, какъ въ воду канулъ. Прости-прощай, поминай какъ звали!" говорю, а самъ на Годель посматриваю—ни кровинки въ лицѣ, все мечется, кидается отъ одной работы къ другой: забыться, знать, хочетъ, но молчитъ, ни звука! И не обмолвится ни разу о суженомъ своемъ, словно никогда его и не было. Хорошо еще, что домашніе мои иногда вспомянутъ о немъ, особенно же, нату-

рально, старуха моя. Она не понимаетъ, что́ здѣсь такое происходитъ. Отъ нея, очевидно, что-то скрываютъ, ее морочатъ, не иначе. „И дура же ты, жена моя дорогая, на диво,—говорю я.—Ты вѣрно полагаешь, что наслѣдство это въ родѣ дойницы или печного горшка“...—„Да замолчи ты, говоритъ, министръ мой! Подумаешь, всѣ кругомъ дураки, одинъ онъ мудрецъ живетъ“. Такъ мы бесѣдуемъ со старухой, а Годель бѣдная молча страдаетъ. Вижу я, какъ свѣчка таетъ, а молчитъ, ни слова! Въ жизнь свою не видалъ я такой упорной души!..

Вотъ однажды пріѣзжаю я домой, вижу—Годель ходитъ заплаканная, глаза вспухли. Сталъ я у своихъ узнавать, въ чемъ дѣло; разсказываютъ мнѣ, что здѣсь былъ какой-то молодчикъ въ рубахѣ на выпускъ, въ длинныхъ волосахъ. „А, думаю, это тотъ самый, что отца, мать покинулъ въ Іегупецѣ и пріѣхалъ въ Бойберкъ сѣмечки щелкать“. Не долго думая, вызвалъ я Годель во дворъ и прямо спрашиваю: „Скажи, дитя мое, получила ты о немъ вѣсти какія?“—„Получила“.—„Гдѣ онъ, твой суженый?“—„Далеко“.—„А что онъ тамъ дѣлаетъ?“—„Сидитъ“.—„Сидитъ?“—„Сидитъ“...

Сталъ я допрашивать, въ чемъ дѣло, по какой причинѣ. Ничего не отвѣчаетъ. Добромъ просилъ, пробовалъ сердиться—молчитъ. Одного только я добился: поклялась она мнѣ, что онъ не воръ, не промышляетъ фальшивыми монетами и не поддѣлываетъ подписей. „Такъ кто же онъ такой? говорю. Не воръ и не мошенникъ, за что же онъ сидитъ? за какія добродѣтели?“ Молчитъ! Думаю я: не хочешь сказать, какъ хочешь, твое же горе, не мое,—жи-

вите, какъ знаете! Но душа все же болитъ: вѣдь отецъ я... Какъ сказано у насъ: „отецъ не то, что дѣти“. Отецъ—отецъ, а дѣти—враги родителямъ, къ родителямъ сожалѣнія не имѣютъ! И дѣйствительно, послушайте конецъ исторіи, такъ вы на себѣ волосы будете рвать.

Было это вечеромъ. Дѣло праздничное, отдохновеніе отъ работъ. Кстати же и дѣла никакого нѣтъ въ Бойберкѣ въ это время: какъ только „протрубятъ въ рогъ“, сейчасъ изъ Бойберка всѣ дачники разбѣгаются, словно мыши въ голодный годъ. И какъ разъ въ это время я люблю сидѣть у себя дома на завалинкѣ. Солнце не жаритъ больше, а мягко и ласково гладитъ и нѣжитъ своими лучами. Лѣсъ еще зеленъ, сосны пахнутъ смолой, и кажется мнѣ, что лѣсъ глядитъ празднично, какъ suko [1] самого Господа Бога. Вотъ тутъ, думаю, Богъ проводитъ свой праздникъ „Кущи“, тутъ, а не въ городѣ, гдѣ шумъ, стукъ и грохотъ, гдѣ люди мечутся какъ угорѣлые, гоняясь за кускомъ хлѣба, и только и слышишь: деньги, деньги и деньги!..

Особенно же хорошо тогда вечеромъ, примѣрно: кругомъ тишина, темно-голубое небо мигаетъ милліардами звѣздъ, время отъ времени звѣздочка стрѣлой полетитъ въ бездну, оставляя по себѣ на секунду синій слѣдъ, — это закатилась чья-нибудь звѣзда, чье-нибудь счастье... „Не моя ли это несчастная звѣзда закатилась“, думаю я, и мнѣ приходитъ въ

---

[1] Куща, шалашъ изъ вѣтвей. „Кущи“—праздникъ, установленный въ память 40-лѣтняго странствованія евреевъ въ пустынѣ; на время этого праздника евреи поселяются въ кущахъ, т.-е. въ шалашахъ.

голову Годель. Ужъ нѣсколько дней, какъ она выглядитъ будто бодрѣе, живѣе, лицо свѣжѣе стало,— кто-то ей принесъ письмо, должно быть отъ него. И хочется мнѣ знать, что онъ ей пишетъ, да спрашивать не хочу; молчитъ она, молчу и я. Тевье не баба, Тевье можетъ повременить. Сижу я такъ и думаю о Годель; подходитъ она сама, садится возлѣ меня на завалинкѣ, оглядывается во всѣ стороны, обращается ко мнѣ тихо, чуть слышно: „Слушай, папочка, я хочу тебѣ что-то сказать. Мы сегодня попрощаемся съ тобою... навсегда“...

Такъ она говоритъ чуть слышно и смотритъ на меня какими-то странными глазами... Никогда мнѣ не забыть ея взгляда въ эту минуту! И у меня въ головѣ мелькнула мысль: утопиться хочетъ... И подумалъ я такъ потому, что случилась недавно исторія: дѣвушка одна, еврейка, полюбила деревенскаго парня и ради него... вы догадались, въ чемъ дѣло. Мать съ горя заболѣла и умерла, а отецъ истратилъ все состояніе, обнищалъ; парень же подумалъ и женился на другой; вотъ пошла она, дѣвушка значитъ, къ рѣкѣ, кинулась въ воду и утонула. „Что значитъ, ты прощаешься со мной навсегда?“ говорю я и смотрю въ землю, чтобъ она не видѣла, какъ я помертвѣлъ. „А значитъ, говоритъ, что я уѣзжаю завтра, говоритъ, раннимъ утромъ. Никогда мы больше не увидимся... никогда“.

Отлегло у меня отъ сердца. Слава Богу и за это, думаю, могло бы быть хуже... „А можно узнать, куда ты собираешься?“ спрашиваю. „Къ нему ѣду“.— „Къ нему? говорю. А гдѣ онъ теперь?“—„Пока, говоритъ, онъ сидитъ еще, но вскорѣ его сошлютъ“.—

„Такъ ты ѣдешь прощаться съ нимъ?“ говорю я, будто не понимаю. „Нѣтъ я съ нимъ тамъ жить буду“.

„Тамъ? говорю. Да гдѣ же это тамъ? Какъ то мѣсто называется?“—„Неизвѣстно, говоритъ, какое мѣсто, но очень далеко и холодно тамъ крѣпко“. И хотя я сижу, опустивъ голову и закрывши глаза, но мнѣ кажется, что я вижу ея бѣлое, какъ мѣлъ, лицо, и голосъ ея, кажется мнѣ, сдавленъ и дрожитъ... Кинуться бы мнѣ ей на шею, просить, умолять, чтобъ не ѣхала,—такъ я вѣдь знаю, что не поможетъ ничего! Ахъ, дьяволъ ихъ возьми, дочерей моихъ! Полюбятъ онѣ кого, такъ тѣломъ, и душой, и сердцемъ, и помыслами—безъ остатка!..

Просидѣли мы съ ней на завалинкѣ всю ночь, больше молчали, чѣмъ говорили, и говорили-то полусловами. Она говорила, и я говорилъ... И спрашивалъ я только объ одномъ: какъ это дѣвушка рѣшается выйти замужъ только для того, чтобы слѣдовать за мужемъ чортъ знаетъ куда? Такъ она на это отвѣчаетъ, что за „нимъ“ стоитъ итти даже чортъ знаетъ куда. Натурально, сталъ я ей доказывать, что это глупо, она же съ своей стороны стала доказывать, что мнѣ такихъ вещей не понять. Тогда я ей привелъ примѣръ съ насѣдкой, которая высидѣла утятъ, и какъ только утки стали на ножки, онѣ кинулись къ водѣ и поплыли, а насѣдка стоитъ и кудахчетъ. „Что ты скажешь на это, дочь моя?“—„А что я, говоритъ, могу сказать? Жаль, конечно, насѣдку, да ужели же утятамъ изъ-за того не плавать, что насѣдка кудахчетъ?“ Каковы рѣчи!

Время между тѣмъ идетъ, день уже занимается. Старуха въ домѣ ворчитъ, ужъ нѣсколько разъ по-

сылала она сказать, что пора итти спать, и наконецъ сама высунула голову въ окно съ обычнымъ привѣтствіемъ: „Тевье, ты что себѣ думаешь?“—„Помолчи, говорю, Голда. Ты забыла, что у насъ hoschano rabo [1], когда подписывается на небѣ судьба на цѣлый годъ. Въ такую ночь спать грѣшно. А ты, Голда, послушайся меня, поставь ты самоварчикъ и приготовь намъ чай, а я пока пойду запрягать,—мы ѣдемъ съ Годель на станцію“. И тутъ же, по обыкновенію, сочинилъ совершенно новую исторію о томъ, что Годель ѣдетъ въ Іегупецъ, оттуда дальше,—все насчетъ того дѣла съ наслѣдствомъ; можетъ случиться, говорю, что она тамъ останется всю зиму, а то и лѣто все и слѣдующую зиму, а потому, говорю, надо ей дать бѣлья, платья, пару подушекъ и тому подобное.

Распорядился я такимъ образомъ и приказываю, чтобъ не плакали у меня, потому что сегодня hoschano rabo, а въ hoschano rabo, говорю, плакать грѣшно.

Какъ вы думаете, очень меня послушались? Плачутъ!.. А когда дошло до прощанья, поднялся ревъ... Всѣ ревутъ—мать, дѣти и она сама, Годель значитъ. И за всѣмъ тѣмъ, когда дѣло дошло до старшей дочери моей, Цейтли (на праздники она пріѣзжаетъ ко мнѣ съ суженымъ своимъ), кинулись сестры другъ другу на шею... Ахъ, ты Господи Боже мой!

Одинъ я крѣпился... Въ душѣ, натурально, адъ, но снаружи—ничего... Тевье вѣдь не баба...

Всю дорогу на станцію болтали мы съ ней о по-

---

[1] Hoschano (Осанна) rabo (много разъ)—такъ называется седьмой день праздниковъ „Кущи“.

сторонних вещахъ... Закинулъ я также пару словъ о „немъ“: хочется мнѣ знать за что, про что; что онъ тамъ натворилъ, несчастный человѣкъ. Такъ она клянется всѣми клятвами, что онъ чистъ, какъ ангелъ, что это такой человѣкъ, который о себѣ не хлопочетъ нисколько, и вся его работа только ради другихъ, ради общаго блага, особенно же ради трудящагося народа. Поди тутъ разбери, что оно значитъ! „Такъ онъ, стало быть, заботится о другихъ... Почему же другіе о немъ не думаютъ? Почему онъ безъ сапогъ ходитъ?“ — „Папочка дорогой, говоритъ, я тебѣ сколько разъ говорила, что тебѣ этого не понять“, и тутъ какъ кинется на шею, какъ зарыдаетъ: „прощай, отецъ мой, говоритъ, не увидѣться намъ никогда!..“ Не выдержалъ тутъ и я... Вспомнилъ я, понимаете, эту самую Годель, когда она крошкой была... дитя малое... носилъ ее на рукахъ... на рукахъ носилъ... Извините, пане Шолемъ-Алейхемъ, что я... совсѣмъ какъ баба... Кабы вы знали, что это за Годель!.. Почитали бы письма ея... Вотъ тутъ она вотъ у меня... глубоко, глубоко... Не могу я вамъ выразить . . . . . .

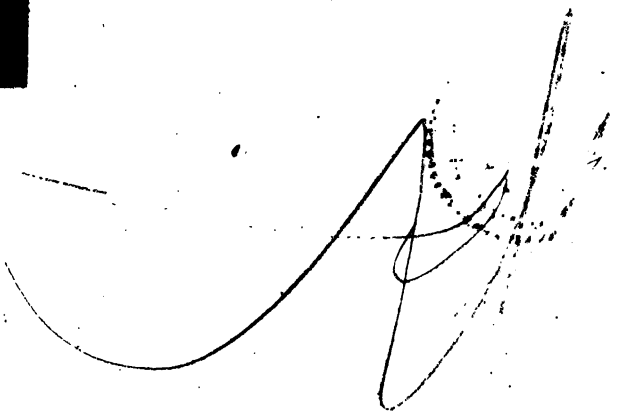
. . . . . .

Перев. **А. М.**

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Шми. Предисловіе I
Д. Айзманъ. Союзники; разсказъ 1
К. Бархинъ. Въ сторонѣ; эскизъ 32
Н. Осиповичъ. Повѣрилъ; разсказъ 42
— Охота (погромный эскизъ, съ натуры) 65
— Фейгелэ (погромный эскизъ, легенда) 72
— Борисъ Беккеръ (съ натуры) 80
С. Ан—скій. Въ новомъ руслѣ; повѣсть 88
Д. Бенарье. Пасынки жизни; пьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ . . . 287

Изъ жаргонной литературы.

М. Розенфельдъ. Пролетарскія пѣсни:
I. Мой мальчикъ 389
II. Мой пріютъ 391
III. Куда? 392
IV. Бей ихъ, каналій! 393
V. Пѣсня машинъ 394
І. Перецъ. Благочестивый котъ; сказка 395
Шолемъ-Алейхемъ. Гдель; разсказъ 400